Вера Панова

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиографическая повесть «О моей жизни, книгах и читателях» публикуется в новой, уточненной и дополненной (авторской) редакции, без произвольных купюр и изъятий в тексте, имевшихся в двух посмертных изданиях этой книги (Л.: Лениздат, 1975 и Л.: Сов. писатель, 1980).

- Вера Федоровна Панова
  - 1. Мне четыре года
  - 2. Вид из окна
  - 3. Черный креп
  - 4. Моя няня Марья Алексеевна
  - 5. Барышни Троизи
  - 6. Грибановы
  - 7. Отец
  - 8. Дом тети Лили
  - 9. Водовоз
  - 10. Переселение на 1-ю линию
  - 11. Тетя Лиля
  - 12. Наши вечеринки
  - 13. Мои учительницы
  - 14. Гимназия Любимовой
  - 15. Еще о нашей семье
  - 16. Наши родственники и знакомые
  - 17. Еще о моих гимназических годах
  - 18. «Поклардаш»
  - 19. Как у нас говорили
  - 20. Володя Филов
  - 21. Мне четырнадцать лет
  - 22. Трудная зима
  - 23. Первые заработки
  - 24. «Трудовой Дон» и «Ленинские внучата»
  - 25. Мое первое замужество. Рождение дочери
  - 26. Лучезарное видение моей жизни
  - 27. Зима 1934/35 года
  - 28. Крах
  - 29. Свидание
  - 30. Зима 1936/1937 года
  - 31. Шишаки
  - 32. Первые два года в деревне
  - 33. Я отправляюсь за синей птицей
  - 34. Домик против лицейского сквера

- 35. Целую вечность тебя не видела
- 36. Война
- 37. Этого письма я ждала и дождалась
- 38. В оккупации
- 39. Пермь
- 40. Мой дебют в литературе
- 41. «Спутники»
- 42. Как складывают из кубиков
- 43. «Ясный берег»
- 44. Рассказы «Валя» и «Володя»
- 45. «Евдокия»
- 46. Очень трудная работа
- 47. Что недописано в «Сентиментальном романе»
- 48. Исторические повести
- 49. Пьесы
- 50. Рассказ «Трое мальчишек у ворот»
- 51. «Сестры»
- 52. «Конспект романа»
- 53. Общение с читателями
- 54. Вместо послесловия
- А. Нинов. «О МОЕЙ ЖИЗНИ, КНИГАХ И ЧИТАТЕЛЯХ»

- notes
  - 1

Вера Федоровна Панова
О моей жизни, книгах и читателях

Уходим. За спиной
Стеною лес недвижный,
Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно…

Б. Пастернак

1. Мне четыре года

Мне четыре года, у меня круглое лицо, курносый нос, две тугие русые косички свешиваются из-за ушей. На мне шерстяное платье серыми и коричневыми квадратами и передник из холста покроя, изобретенного бабушкой Надеждой Николаевной, к переднику сзади прикреплен на пуговках круглый воротник. Бабушка Надежда Николаевна меня обшивает, она же учит, как делать реверанс, как держать при ходьбе руки (сложенные у талии коробочкой, ни в коем случае не размахивать ими, как поступают невоспитанные люди), как здороваться, даже — как писать адрес на конверте…

Суровое кружевце, которым обшит мой передник, бабушка Надежда Николаевна связала сама. Она его вязала стальным крючком — быстрыми взмахами двигалась ее худая желтоватая рука в шерстяном лиловом напульснике (чтоб не зябла).

В клетчатом платье и холщовом переднике я сижу в нашей маленькой столовой у стола, накрытого к обеду. Над столом висит керосиновая лампа под матово-белым стеклянным колпаком, к лампе привешен дробовой груз. Во главе стола сидит моя мама Вера Леонидовна, а у стены, напротив меня, сидят рядом отец Федор Иванович и кот Зайка.

Почти все коты, встречавшиеся мне на моем жизненном пути, назывались Зайками, уж не знаю, почему так вышло. Этот Зайка был первым — кажется, он появился в доме вскоре после моего рождения, во всяком случае, я его помню всегда, как только мне удается оглянуться на годы раннего детства.

Он сидит около папы, притворяясь, что у него нет никаких желаний. Но долго не выдерживает. Вот он поднял лапу и положил ее на стол. Посреди стола стоит большое блюдо с вареной говядиной — душистый пар высоко поднимается над блюдом. В конце обеда мама отрежет кусок говядины и накрошит в Зайкину миску, но Зайке было бы куда приятней самому дотянуться до говядины и хотя бы на миг запустить когти в душистый сочный кусок, для того он и тянет лапу. Но раздается короткий окрик отца: «Зайка!» — и кот беспрекословно убирает лапу и снова сидит на стуле кувшинчиком олицетворение чинности и безынициативности.

Обед наш скромен: суп да говядина, без вареной говядины отцу обед не обед. Он долго и вкусно обгрызает и обсасывает кости, запивая пивом из высокой серой кружки, которую он привез из Германии. На кружке изображены охотники и собаки с узкими недобрыми мордами. После отца много лет жила в доме

эта кружка, служа вазой для цветов, пива из нее уже не пили…

Еще за столом сидят несколько старых женщин.

Вот бабушка моя Надежда Николаевна Реньери, урожденная Троизи, прямая, с черными бровями и орлиным носом, очень напудренная, с прической валиком, с белым рюшем у ворота темного платья, с большими руками — ими она великолепно играет на рояле. На рояле играет и мама, но больше по слуху, и ручки у мамы маленькие и мягкие, и еще мягче волосы, тоже причесанные гнездышком, по моде, и видно, что все это очень нравится папе, потому что он часто подходит к маме и целует то руку ее, то волосы, то розовую щеку.

Кроме бабушки Надежды Николаевны за столом сидят: прабабушка Ольга Ивановна Троизи, крошечная старушка с детским лицом, такая же крохотная мамина няня в черном кружевном чепчике и некая Надежда Абрамовна, очень большая и толстая, она появилась у нас недавно, мне сказали, что она акушерка, а что это значит, я не знаю. На носу у нее очки, с этим предметом я тоже познакомилась недавно, обе мои бабушки носят пенсне.

Моя няня Марья Алексеевна, повязанная белым платочком, вносит из кухни большой супник и ставит перед мамой, и мама разливает большой ложкой суп и каждому передает тарелку. Первая тарелка наливается для папы, последняя — для меня. Скатерть на столе зеленая, и посуда с широкой зеленой каймой, она куплена в магазине Великанова, это лучший посудный магазин в Ростове-на-Дону, как лучшим мебельным магазином был магазин моего прадедушки Грибанова. Мой папа Федор Иванович должен был жениться на одной из дочерей Великанова и таким образом соединить две цветущие купеческие семьи, два капитала, два преуспевания. На это рассчитывала его семья, уже успевшая промотать почти все грибановское наследство, заключавшееся в магазине, доходных домах и брильянтах бабушки Александры Ильиничны. Но отец обманул надежды своей матери и сестер, он женился не на богачке Великановой, а на дочери бедной учительницы музыки, квартировавшей в одном из наследственных доходных домов, на скромной гимназисточке в коричневом платьице. Этого отцовская семья никогда не могла простить моей маме, и я всегда чувствовала, что бабушка Александра Ильинична и тетки относятся к нам не так, как к детям дяди Сережи и тети Лили, что мы выделены в какую-то особую группу, что мы — второй сорт. В детстве такие вещи чувствуются особенно остро и воспринимаются болезненно.

В столовой, где мы обедаем, три двери: одна в кухню, откуда няня Марья Алексеевна приносит кушанья, другая — в детскую,

где стоит моя железная голубая кроватка и где в углу перед иконами горят две лампадки красная и зеленая, третья — в гостиную, где на полу разостланы отцовские чертежи. Отец служит в банке помощником бухгалтера, по утрам я вместе с мамой смотрю из окна, как он идет по улице и скрывается за углом, а вернувшись со службы, он садится чертить разные лодки, и наша гостиная всегда устлана чертежами, по которым лихо проносится, шурша бумагой и стуча лапами, кот Зайка.

2. Вид из окна

В нашей гостиной три окна. Они выходят на Георгиевскую улицу. Георгиевской она зовется потому, что в одном ее конце, там, где выгон и мусорная свалка и где весной бывает ярмарка с качелями и каруселью, находится церковь св. Георгия. Эта церковь — армянская, мы живем в пригороде Ростова-на-Дону, так называемом Нахичеване-на-Дону, этот пригород густо заселен армянами. Когда мы ходим с няней гулять по Садовой улице, нам встречаются румяные усатые армянские мальчики в гимназической форме и девочки с синеватым отливом волос и с ресницами густыми, как щеточки…

Домик, где мы живем, принадлежит папиной сестре Антонине Ивановне Пановой, целое подворье принадлежит ей, много маленьких кирпичных домишек и деревянных лачуг, населенных самым что ни на есть бедным людом. Земля между лачугами заросла бурьяном, но кое-где среди бурьяна что-то цветет, но не настоящие красивые цветы, а дикие и полудикие — повилика с маленькими розовыми граммофончиками, горьковато пахнущими, белесая кашка и дикий цикорий — его голубые звездочки открываются утром, а уже к полудню становятся серыми, мятыми, какими-то клейкими — умирают. Еще цвела на пустыре красноватая зорька и повитель — на Украине она зовется крученый паныч — цветок милый, который люблю всю жизнь.

Там и сям над бурьяном были протянуты веревки с бельем, и этот вид болтающегося тряпья, и запахи детских пеленок, пригорелой каши и водки, несущиеся из всех выходивших во двор окошек, — эти виды и запахи нищеты окружали меня с детства.

Наша семья жила иначе, в нашей квартирке было чисто, водки у нас не пили, папа пил только пиво, да иногда пили вишневую наливку, бутылки с вишней, засыпанной сахаром, всегда стояли между оконными рамами. Бабушка Надежда Николаевна не любила, чтобы я играла во дворе с детьми, кликала домой или посылала гулять с няней.

Из крайнего окна нашей гостиной была видна большая лавка, куда ходили за разной снедью, и кирпичная водокачка, куда ходили по воду, перед водокачкой всегда стояли в очереди женщины с ведрами на коромыслах.

Весь день под окнами раздавались выкрики:

— Вы-шан! Вы-шан! — Это с двумя корзинами на коромысле кричали в летний день бабы, продававшие вишни, их руки выше локтя были в вишневом соку.

— Угольков, уголько-о-ов! — кричал с воза мужик,

торговавший древесным углем.

Печи у нас топили углем каменным, древесный шел для самовара, покупали его много.

— Бубликаф! Бубликаф! — кричала бубличница.

— Стары вещи покупать! Стары вещи покупать! — скупщик старья.

— Кваску! Кваску!

— Верочка, квасник пошел, — говорила маме бабушка Надежда Николаевна, любившая квас. Я тоже его любила, но мне не давали, как не давали вволю и вишен, и черешен, которыми был в то время завален Ростов. Мама больше всего боялась, чтоб у нас с братом Леничкой не испортился желудок, а что детям в первую очередь нужны фрукты, а уж потом — говядина, бублики и прочее, этого тогда еще не знали, может быть, именно поэтому мы, несмотря на обильную и добротную пищу, росли не очень здоровыми, вялыми и бледными.

У этого крайнего окна гостиной я себя помню на руках у тети Лили (другая папина сестра) в какую-то ночь. Улица за окном странно освещена, такого освещения я еще не видела, и небо странное, все красное. Тетя Лиля уговаривает меня, но мне становится страшно, я кричу. Прибегает мама, отнимает меня у тети Лили, уносит. Лежа в своей кроватке, я слышу какую-то ссору. Потом, не скоро, я узнала, что мама сердилась, выговаривала тете Лиле, зачем та потащила меня смотреть на зарево пожара и испугала, а тетя Лиля, вспыльчивая до горячности, как все Пановы, обиделась на маму и, в сущности, никогда ей до конца не простила этого выговора, и навсегда между ними остался холодок, которого обе не умели скрыть.

И еще помню себя у этого окна с няней. Мы стоим и смотрим на нашу Георгиевскую улицу, а по улице много людей несут длинный металлический, словно серебряный, гроб. За гробом едут извозчики. В пролетках сидят мужчины в черных котелках. Они придерживают венки, стоящие у их ног: железные, ярко раскрашенные венки и венки из живых цветов. У некоторых лошадей головы украшены белыми султанами. Няня положила руку мне на голову и говорит:

— Скажи, Верочка: «Упокой, господи, моего папу».

Я произношу это, и хотя мне еще не рассказали все подробно, как рассказали позже, но я уже в полной мере чувствую боль и непоправимость происшедшего.

3. Черный креп

Над этой порой моего детства вьется черный креп маминой вдовьей вуали. Надолго это черное полотнище взвилось тогда над маминой сединой, над ее свежим, несмотря ни на что, лицом, над всей нашей сиротской жизнью. До сих пор вижу, как эта мрачная ткань спускается с маминых плеч и как концы ее приподнимаются на ветру. До сих пор все мои пять чувств помнят эту вуаль. Помнят пальцы, как она была плотна и шершава на ощупь. Помнят глаза, что этот черный цвет, как ни был он глубок и глух, был все же не сплошной: если поглядеть на свет, он как бы слоился, его чернота усажена была маленькими частыми просветами в виде продолговатых зерен. По временам ткань издавала звук вроде тихого шуршанья. И она имела запах: особенный, густой, печальный, нежилой, странная смесь аптеки и склепа — так пахло вдовство.

4. Моя няня Марья Алексеевна

Няня Марья Алексеевна Колесникова, белевская мещанка (я писала под ее диктовку письма в город Белев, Тульской губернии, к некоей Александре Васильевне Музалевской — видимо, родственнице или соседке — в собственный дом), была человеком самым религиозным в нашей семье, вернее, единственно религиозным, так как и мама, и бабушка Надежда Николаевна веровали, как я поняла, подросши, из приличия и на всякий случай, к богу они обращались по земным, практическим поводам, в ведении же няни состояло царство («царствие», как она произносила) небесное — жизнь тамошняя, загробная, о той потусторонней жизни она помнила ежеминутно, только о ней радела, во имя ее вечно постилась, как монашка, изнуряя себя и доводя до болезни (и довела), во имя этой жизни учила меня (увы, не научила) бояться греха, блюсти божьи заповеди.

Все досконально она об этом царствии знала: как веселятся там души праведных, и как мучаются грешные, и какой святой в каком там почете (на первом месте из святых мужчин числился, помню, Алексей человек божий, из святых женщин — великомученица Екатерина). Не от хорошей жизни няня покинула свой родной Белев и приехала в чужой ей Ростов, где не было ни лесов с грибами и ягодами (как она о них вкусно рассказывала, как любила даже картинки, где изображались грибы или ягоды), ни ее духовника протоиерея Михаила, о котором она говорила, как о святом, приехала в чужую семью, где все, по ее понятиям, было неправильно и греховно.

У няни была горькая жизнь: муж — пьяница, двое, как я теперь понимаю, не очень-то удачных детей, сын, тоже пьяница, и некрасивая, недобрая, болезненная дочь замужем за пьяницей. И всю эту свою жизнь няня понимала как приуготовление к той другой жизни, куда она готовилась отойти ежечасно и где ожидала найти покой, и справедливость, и награду за все.

У нее был сундучок с накопленным (о, за сколько лет и трудов!) «добром». В сундучке лежали (казавшиеся роскошными мне, да наверняка и ей) отрезы подкладочной материи, блестящей, с цветными кромками; лежала черная плюшевая жакетка, в которой няня ходила в церковь, черный кружевной шарф. И всевозможные платки и полушалки — в ярких розах или в крапинках. Отдельно, завернутый в чистую простыню и заколотый булавками, лежал заветный наряд, который няня приготовила себе для погребения: белая кофточка с рюшем, белая косынка с кружевцем, белые чулки, белые туфли с тесемками.

Няня вынимала булавки, доставала этот наряд и показывала нам, детям, не обращая внимания на то, что нам жутко, что мы не хотим на эти вещи глядеть.

— Верка, Ленька, — завещала она нам, — вы уж тогда присмотрите, чтоб Шурка (ее сын) сюда не лазил и не трогал ничего. Я припасала, а ему пропить ничего не стоит.

Увы, когда она умерла (летом 1926 года), я, ожидавшая тогда моего первого ребенка, мою Наташу, и брат Леонид были в отъезде и не снаряжали ее в царствие небесное. Сделали это ее дочь и ее сестры, тоже набожные. Не сомневаюсь, что они снарядили нашу нянечку так, как она того хотела.

Гулять няня водила нас главным образом на кладбище.

Все-то я вспоминаю нас с нею среди могил. По большей части могилы были безымянные, без плит, просто растрескавшиеся земляные холмики, над каждым холмиком белый крест, из земляных трещин выскакивают большие муравьи, рыжие и черные, я их боюсь.

Чаще всего гуляли на Армянском кладбище, к нему надо было идти по 14-й линии, там было много красивых памятников из мрамора и между ними один запомнившийся мне — на мраморной площадке стоймя железная дверца с большим висячим замком, а перед дверцей, положив руку на замок, словно желая его сорвать, стоял на коленях нагой человек, отлитый из чугуна. Мы часто сидели перед этим памятником, и однажды к нам подсела хорошенькая черноглазая старушка в черной бархатной шапочке и рассказала нам, что тут похоронены жених и невеста. Они были молодые и красивые, и любили друг друга, и собирались пожениться, но незадолго до свадьбы невеста умерла, а жених от горя застрелился, и их схоронили вместе и поставили им этот памятник.

Так я впервые услыхала о том, что на свете бывает любовь, такая сильная любовь, что от нее можно застрелиться, а также о том, что вообще можно застрелиться, то есть прекратить жизнь по собственному желанию.

О браке я до тех пор имела лишь то понятие, что это непременный счастливый конец всякой сказки. Формула счастья, тоже из сказок, была готовая: «Стали жить-поживать и добра наживать». «Добро» — были блестящие отрезы и полушалки с розами, уложенные в нянином сундучке, к этому добавлялся еще, пожалуй, супник с супом, а что тут бывает еще какая-то любовь, об этом я узнала от черноглазой старушки. Любить, говорила няня, надо маму и папу, бабушек и теток. Та любовь, из-за которой стреляются, явно была другая, особенная. Она не вела к хорошему — няня осудила жениха за самоубийство и определила,

что невеста находится среди праведных, а жениху царствия небесного не видать за его самоуправство и гордыню, а стало быть, не видать и своей невесты, а стало быть, грех свой он совершил понапрасну. И мне было горько смотреть на коленопреклоненного чугунного человека, ухватившегося за висячий замок.

Помню, что вскоре после того я узнала, все от няни, что любовь в самом деле бывает и что она — тоже грех.

Иногда мы ходили в общественный сад, так называемый Александровский. Он был довольно велик и содержался в чистоте. Кроме широкой главной аллеи были в нем и уютные тропочки, и площадки для игр, и зеленые лужайки, осыпанные одуванчиками, и даже овраг, и даже что-то вроде пересохшего ручейка на дне оврага, и даже искусственный грот с терракотовыми карликами в островерхих колпаках.

Карлики меня немного пугали, но по дорожкам весело было бегать, весело было сбегать в сыроватый зеленый овраг, и там я однажды испытала настоящее счастье, впервые в жизни увидев грибы. Я их узнала по картинкам, отломила один, большой и тяжелый, с серой шляпкой, и побежала к няне с криком: «Няня, смотри, гриб!» Няня, сидевшая на скамеечке, взглянула и сказала: «Нешто это гриб, это шампиньон». Впрочем, пошла за мною в овраг и собрала все грибы, какие там были. Когда мы принесли их домой, мама подтвердила, что это шампиньоны, и сказала, что это очень вкусно. Она сама их зажарила в сметане, и все ели, кроме няни, которая все твердила, что это не настоящие грибы и есть их добрым людям не годится.

В этом Александровском саду по вечерам играла музыка и была эстрада для представления. На представления нас не водили, мы только слыхали от кого-то, что там бывают и клоуны, и всякие артисты. Днем на пустой эстраде оставались какие-то следы этих вечерних представлений — приборы для гимнастики, коньки на колесиках; однажды на серых досках эстрады мы видели диковинные розовые туфельки со срезанными носками, а в другой раз золотую шаль, переброшенную через спинку грубого деревянного стула.

А однажды средь бела дня мы увидели на этой эстраде необыкновенную женщину и необыкновенного мальчика. Мальчик сидел на стуле, а женщина стояла позади него. Он глядел вверх — на нее, а она вниз — на него, и, как ни была я мала, меня поразила необычность, жгучесть этого взгляда. У обоих у них было надето на ногах что-то вроде очень длинных розовых чулок, а на плечи наброшены коротенькие розовые пелеринки, фасоном совершенно как та пелеринка из козьего пуха, какую носила

бабушка Надежда Николаевна, но только эти были из розового газа и осыпаны блестками. Я замерла перед этим зрелищем, зажмурившись. Няня, однако, не дала мне долго глазеть.

— Ну, чего стала, иди! — сказала она, подтолкнув меня в спину.

Как раз в это время женщина, нагнувшись, поцеловала мальчика в голову, а он протянул руку назад и взял ее за локоть.

— Бесстыжие! — сказала няня. — Ишшо и целуются.

— Няня, кто это?

— А кто же как не актеры, — сказала няня. — Какой же хороший человек будет такими делами заниматься? Любишь — ну и люби себе потихоньку, а эти, видишь, на самое видное место вылезли.

— Они — жених и невеста, няня?

— Ну да, как же! — сказала няня. — Какие там жених и невеста, один грех: любовь.

— А это грех?

— Самый страшный, — сказала няня. Но я не поверила, я в сердце своем унесла этих двух людей в красивой розовой одежде, на самом видном месте потянувшихся друг к другу.

Вот такой в первый раз мне предстала любовь: неприкаянной, розовой, сурово осужденной.

Иногда — это бывало не часто — мы с няней садились в трамвай и долго, с пересадками, ехали через весь город на Старое кладбище, «к папе».

Там был наш склеп, пановский и грибановский (у истоков нашего рода стояли Грибановы, Пановы явились уж позже). Небольшая гробница была огорожена решеткой, на гробнице с трех сторон высечены надписи, извещавшие, кто лежит в склепе. Лежал там прадедушка Илья Михайлович Грибанов, лежала прабабушка Олимпиада Григорьевна Грибанова и лежал наш папа Федор Иванович Панов, утонувший в Дону, когда мне было пять лет, а брату Леничке год, при обстоятельствах туманных и даже загадочных, как говорит семейное предание. Трое погребенных — три надписи. Четвертую сторону гробницы оставила для себя бабушка Александра Ильинична, мать моего отца. (Ей не пришлось там лежать, она умерла в Ленинграде в 1941 году, незадолго до войны. По всей стране разбросаны пановские и грибановские могилы.)

На наклонной железной двери склепа висел огромный, как пудовая гиря, замок. Звякал ключ, няня распахивала железные створки, в лицо ударял погребной холод. Мы с братишкой, взявшись за руки, спускались по каменным ступеням в сырую глубину.

Прадедушка и прабабушка покоились в глубине склепа, в левом заднем его углу: две одинаковые могилы, всегда обложенные очень чистым песком. Справа, как бы поперек склепа, стояла папина гробница, сложенная из кирпича и выбеленная мелом, на гробнице всегда были свежие цветы, их привозила мама. В гробнице было длинное продольное окно со стеклом, сквозь стекло виден цинковый гроб, в нем лежали отцовские останки. Не надо бы нам, маленьким, показывать это все, отсюда родились многие мои детские страхи. Хоть я и не видела, и не могла видеть, отцовских останков, но Пушкина уже читала, и воображение уже работало вовсю. «И в распухнувшее тело раки черные впились» приходилось кстати, и ужасало, и отталкивало, а воспоминание об отце (любое!) не должно отталкивать. На фотографиях, которые мама свято берегла, папа был кудрявый, веселый, окруженный веселыми приятелями, за его плечом белели веселые треугольные паруса, черные же раки порождали трудные мысли о том, что все равно как жить, конец один, будешь ли ты поститься, как няня, или погрязать в грехах, как, по няниному мнению, погрязала бабушка Надежда Николаевна.

Что бабушка была учительницей музыки и в доме вечно звучали гаммы, это няня прощала и одобряла: это увеличивало доходы нашей семьи. Но в часы, свободные от уроков, бабушка Надежда Николаевна садилась за рояль и играла до позднего вечера — это уже был грех. «Лучше б молилась», говорила няня.

А по воскресеньям к бабушке приходила ее приятельница Татьяна Николаевна, тоже учительница музыки, и они играли в четыре руки. («Лучше б молились».)

Как живых их вижу, этих чистеньких старушек в темных платьях с белыми кружевными галстучками, с серебрящимися волосами, уложенными валиком надо лбом. Руки, уже морщинистые, с темно-синими, почти черными жилами, неутомимо летают над клавишами, я завидую легкости и силе этих рук, меня тоже учат играть на рояле, но я никогда так не научусь, я сама слышала, как бабушка сказала маме: «Странно, у Верочки совсем нет моторной памяти, ей даже легкие упражнения даются с трудом». Странным это им казалось оттого, что способность к музыке была у нас фамильной, бабушка Надежда Николаевна играла как профессиональная пианистка, мама хорошо играла по слуху и пела, так же хорошо играл и пел ее брат Владимир Леонидович, дядя Володя. У него был бас, и, вероятно, это в свое время толкнуло бабушку Надежду Николаевну на безумную авантюру — отправить обожаемого сына учиться в Италию. Помню, нам говорили, что вот дядя Володя приедет из Италии и будет таким же знаменитым, как Шаляпин, и

тогда конец нашей бедности. Помогала этому безумному предприятию бабушкина сестра Вера Николаевна, бывшая замужем за очень богатым человеком, шахтовладельцем И. С. Кошкиным, она же дала денег (800 рублей) на приданое моей маме, когда та выходила за папу.

Из итальянской авантюры, как водится, ничего не вышло. Проучившись сколько-то лет в Милане, дядя Володя простудился и потерял голос. Он приехал после этого к нам и сидел в гостиной, разговаривая с бабушкой, и вдруг оба заплакали, а меня позвала мама: «Иди в детскую, непременно тебе смотреть». Впервые я тогда увидела, как плачет громадный толстый мужчина, и была поражена как-то очень горько, хотя не понимала (и мне не объяснили) объема катастрофы.

Жить с нами дядя Володя не остался, уехал в Петербург, и бабушка сказала нам, что он там служит в «департаменте» (слово хоть и знакомое уже по Гоголю, но впервые возымевшее отношение к нашей семье), до сих пор у нас были только папин «банк» и мамина «контора» (после гибели папы мама поступила конторщицей в аптекарскую фирму «Лемме и компания»), да иногда еще мелькал в разговорах прадедовский «магазин». По словам бабушки, дядя в этом департаменте может дослужиться до большого чина (опять Гоголь!). Няня же уверяла, что ни до чего этот грешник не дослужится и что кошкинские деньги ухлопаны на глупость, «лучше б о сиротах подумали, хотя б одели, а то ни одного чулка нет без дырок».

5. Барышни Троизи (Дагерротип)

Когда-то семья Троизи была вполне благополучной и устроенной. Отец моей бабушки был коммерсант. Не знаю, чем он занимался, но по дагерротипам, сохранившимся у бабушки, видно было, что жили хорошо: ножки стульев отражались в начищенном паркете, прабабушка Ольга Ивановна была в кринолинах и кружевах, все четыре дочки тоже были расфранчены. Старшую дочку звали Любовью, вторую — бабушку мою — Надеждой, третью — Верой, четвертую — Софьей.

«Нас было четыре барышни, — говорила бабушка, — и все мы были очень музыкальны». Иногда она добавляла: «И красивы», но, в сущности, красива была только Вера Николаевна, обладавшая к тому же прекрасным голосом, даже на моей памяти она была еще красива и хорошо пела. По-настоящему играла на рояле только бабушка Надежда Николаевна; Любовь Николаевна и Софья Николаевна бренчали кое-как.

Из этих бабушкиных рассказов больше всего запомнился мне один — как их, четверых музыкальных барышень, впервые повезли слушать Чайковского. То был «Евгений Онегин». «И мы так смеялись», — рассказывала бабушка. «Чему же вы смеялись?» — «Ну как же! Ведь совершенно ни на что не похоже, мы совсем к другой оперной музыке привыкли». В то время, которое я сейчас вспоминаю, в семье уже никто не посмеялся бы над Чайковским, перед ним благоговели, спорили иногда лишь о том, какая из его опер лучше, мама пела его романсы своим серебристым сопрано, мне внушали, что нет музыки лучше, чем «Пиковая дама», и когда впоследствии я слышала, как осуждают что-нибудь в искусстве за то, что оно «не похоже», я всякий раз вспоминала бабушкину историю о четырех барышнях, и меня тянуло заступиться за осуждаемое.

Судьба этих барышень сложилась по-разному. Надежда Николаевна и Софья Николаевна вышли замуж за совсем мелких коммерсантов, что-то вроде хлебных маклеров, много бедовали и рано овдовели. Красивая Вера Николаевна вышла за богатого человека и помогала бедным сестрам. Любовь Николаевна в отрочестве чем-то болела, что отразилось, видимо, на ее умственном развитии: в зрелых годах она была нетверда памятью, отличалась странностями, и сестры, друг к другу неизменно корректные, небрежно называли ее Любочкой. Впрочем, может быть, это состояние ума было наследственное, так как большими

странностями отличалась в старости и мать ее Ольга Ивановна Троизи. Между прочим, у старушки была слабость отрезывать пуговицы от всякой одежды, какая попадалась ей под руку. Однажды ночью она пробралась в спальню моих родителей и срезала все пуговицы с костюма отца. Любовь Николаевна очень любила ходить в гости и вечно убегала из дома, что, по словам ее сестер, очень отражалось на хозяйстве и вызывало большое неудовольствие ее мужа, скромного учителя словесности в одной из ростовских гимназий. Помню, что, когда мы к ним приходили, Любовь Николаевна всегда стояла на крылечке флигеля, где они квартировали, босая и в рубашке, с растрепанными седыми волосами, и, поздоровавшись и одевшись наскоро, уходила в гости или в кинематограф, и по этому поводу родственники качали головами и говорили: «Бедная». В их домике было почему-то много охотничьих собак — кажется, на охоту ходил их сын Миша, да, конечно, потому что году в 1930-м он пал жертвой этой страсти, его нечаянно подстрелил на охоте какой-то товарищ. Эти собаки вечно лежали на каких-то неподходящих местах — на диване и даже на письменном столе, и я их ужасно боялась.

Муж Любови Николаевны, дядя Сеня, приходил к нам по воскресеньям завтракать. К его приходу стол обычно накрывался по-праздничному, готовилось что-нибудь вкусное и ставилась водочка. Приходил и наш священник отец Алексей, завтракал вместе с дядей Сеней, а потом они с мамой садились играть в преферанс. Я это очень любила и, наблюдая за их игрой, сама научилась играть. Каким-то краем сознания я понимала, что радушным приемом мама и бабушка стараются развлечь дядю Сеню и утешить в его домашнем неустройстве, и мне это нравилось. Скажу здесь несколько слов и о старушке в черном кружевном чепчике — маминой няне. Как и прабабушка Троизи, она доживала свой век на покое у моей мамы. Она была очень тихая и незаметная, я даже не заметила, как она исчезла из дома. Мне сказали сначала, что она ушла в богадельню, а потом — что она умерла от холеры. Холера бушевала у нас в 1910 году и унесла много стариков, живших в богадельне. Это была вторая смерть, с которой я повстречалась, — в том же 1910 году погиб мой отец.

6. Грибановы

Но сначала хочу вспомнить ту ночь, когда родился мой брат Леонид, в ожидании которого, как я узнала потом, и жила у нас акушерка Надежда Абрамовна, ночевавшая на диванчике в гостиной у двери маминой спальни. Конечно, я ничего не знала об этом ожидании, не могла знать и значения того шума и беготни, которые поднялись в доме в ту далекую январскую ночь 1909 года. После беготни стало тихо и в детскую вдруг вошел папа. Никогда прежде не бывало, чтобы он входил ночью, а тут вдруг вошел. Горели две лампадки перед иконами. Я поднялась, стояла в кроватке. Папа подошел ко мне и сказал:

— Верочка! У тебя родился брат. Родился брат, и мама здорова. Скажи: «Слава богу».

Я сказала и поцеловала его, потому что он поцеловал меня, но опять ровно ничего не поняла, от непонимания было страшно. Пришла няня Марья Алексеевна, велела мне стать в кроватке на колени и прочитать «Богородицу» и «Спаси, господи, папу и маму». Я повторяла за нею знакомые слова, и мне стало спокойнее. Потом няня сказала:

— Ну спи, уже поздно, уже даже армянин погасил огонь.

Против окна детской была какая-то лавчонка, где, по словам няни, торговал армянин и где в окне до глубокой ночи горел огонь. В моем детском мире это окно называлось «армянин с огнем». Склоняя по-своему слово «огонь», я произносила «с огонем», меня передразнивали и сами стали так произносить.

Няня Марья Алексеевна была не прочь позлословить насчет наших семейных дел. Она посвящала меня в них. Она рассказала мне, что мы бедные, а тетки мои и бабушка Александра Ильинична — богатые, и не столько из ее слов, сколько по тону и выражению лица ее я сообразила, что мы в чем-то виноваты перед богатой родней. Дом, где мы живем, рассказала няня, принадлежит тете Тоне, все подворье принадлежит тете Тоне, и скоро на этом подворье тетя Лиля и дядя Саша построят себе новый богатый дом. И правда, вскоре постройка началась, во двор стали свозить разные материалы, кирпич и всякие плитки, и дядя Саша, муж тети Лили, который был архитектор и построил в Ростове много домов, командовал рабочими. Перед домом они решили устроить сад и цветник и огородили эту часть подворья кирпичным забором, и няня говорила, что в отгороженных домиках стало очень темно и душно. Няня говорила, что богатые о бедных никогда не думают и что это большой грех. Особенно осуждала она тетю Тоню. «Ведь сама убогая, говорила няня, —

должна бы подумать, каково им в темноте да духоте». Тетя Тоня, Антонина Ивановна Панова, была горбатенькая, носила, чтобы скрыть горб, очень широкие складчатые платья, я очень, очень ее жалела и не могла осуждать ее с такой решительностью, как няня. И меня очень радовало, когда няня говорила, что бог милостив, прощает грешников, если они раскаются и станут творить людям добро. Мне даже иногда хотелось сказать тете Тоне, чтобы она так и поступила для собственной пользы. Но я не смела — я ее боялась. У нее были черные строгие глаза, и недобрая складка у тонких бледных губ, и выражение, которому я нашла название, став взрослой, — то было ожесточение несчастья.

В семье нашей было два типа, два склада наружности — я говорю о семье отца. Бабушка Александра Ильинична, отец, тетя Тоня, дядя Сережа и я обладали чертами тяжелыми и неуклюжими: толстоватые носы, грубые скулы, глаза небольшие, в глубоких глазницах. Такие же черты были на портрете прадедушки Ильи Михайловича Грибанова. Тетя Лиля и дядя Илюша пошли в своего отца Ивана Михайловича Панова. От него у них были более тонкие и правильные черты, мягкие карие глаза, красивые руки, особенно у тети Лили. Пановская кровь влилась в наши жилы позже, первоначально никаких Пановых не было, были Грибановы. Прадед Грибанов и его супруга Олимпиада Григорьевна, крепостные крестьяне Московской губернии, в 1861 году получили вольную и приехали в теплый и богатый Ростов-на-Дону. Няня показала мне их домик на Софийской улице. Этот домик-крошечка в три окошечка принадлежал, по ее словам, старикам Грибановым. Тут они жили, тут была мастерская прадеда. Он был столяр-краснодеревец и спервоначалу стал ремонтировать старую мебель — либо у себя в мастерской, либо на дому у заказчиков. Но потом дух богатого города захватил его, он решил переломить свою судьбу. Он поехал в Москву и попросил кредита у тамошних богатых мебельщиков. Московские мебельщики навели справки. Ростовчане отозвались, что Илья Грибанов — человек обстоятельный и честный. Прадед получил в кредит дорогую новомодную мебель и открыл магазин. По одним сведениям, магазин этот находился на Московской улице, по другим — на Старопочтовой. Та и другая были центром ростовской торговли. О тамошних вывесках еще в детстве и отрочестве моем ходили анекдоты. Говорили, например, будто над какой-то кроватной мастерской была нарисована люлька, в люльке младенец, и написано: «Сих дел мастер». Не думаю, чтобы это была правда. Ростовчане не грешили гаерством. Их образ жизни, их уровень культуры лучше всего описаны у Чехова. Это, конечно, не ахти

что. Но все-таки ведь не самое уродливое и невежественное, что бывало в те времена. Чехов, правда, жил в Таганроге. Но далеко ли Таганрог от Ростова и на карте, и в культурно-историческом ряду?

Итак, старики Грибановы вышли в купечество, вступили в гильдию и стали богатеть. Родилась наследница, дочка Сашенька, бабка моя Александра Ильинична. Купили несколько доходных домов. Купили всякие цацки Сашеньке в приданое. Торговое дело процветало. Стало прадеду трудненько одному управляться с делами. Взял он себе в помощники старшего приказчика Ивана Михайловича Панова.

По тогдашним неписаным законам старший приказчик, если он оправдал хозяйское доверие, самим господом был предназначен в мужья дочери. Панов оправдал доверие, был к тому же собой недурен, не пил, большой родни в семью не вводил. Чего еще? Выдали наследницу Сашеньку за Панова.

Брак этот был благословен обильным потомством. Родился сын Федор, потом одно за другим еще трое чад: Антонина, Илья, Олимпиада. Но затем умерли старики Грибановы. Сашенька получила наследство. И тут развернулся ее характер.

Начала с того, что прогнала мужа своего Ивана Михайловича. Не знаю, почему она не прибегла к разводу, если пожелала избавиться от мужа: потому ли, что развод был слишком хлопотливым делом, или потому, что он казался ей большим скандалом, нежели изгнание из своего дома законного супруга, отца своих детей. На снимках тех лет бабушка Александра Ильинична выглядела тучной женщиной немолодых уже лет, с грубыми чертами мясистого лица, в платье со шлейфом, усаженным цветами и бантами. Судя по внешности, этой женщине более свойственно было самодурствовать, нежели добиваться своих целей законными путями. Впрочем, ни за что не хочу произносить над нею окончательный приговор. Она осталась в моей памяти как человек ярких дарований. Полуграмотная, до конца жизни не умевшая правильно писать, она знала наизусть Некрасова, от нее первой я услышала «Генерала Топтыгина», «Мороз, Красный нос» и «Русских женщин», и как она читала! Как она выговаривала гениальные строчки: «А сверху мне муж по-французски сказал: „Увидимся, Маша, в остроге“», — с таким пониманием, словно она сама жила в те времена и в той среде и сама перенесла все это. Несомненно, в нашем роду, где играли, пели и имели кое-какое образование, эта необразованная бабка была наиболее одарена духовными возможностями.

Между прочим, я уверена, что в ней пропала замечательная комическая актриса. Она до тонкости умела изобразить любого

человека, его лицо, походку, манеру говорить. Чем проще был человек, тем это получалось у нее лучше. Когда она бывала в ударе, она любила просверкать этим своим талантом, особенно перед старинной своей приятельницей Полиной Федоровной Тимоновой, с которой у нее были какие-то доисторические женские счеты.

Прогнав дедушку Ивана Михайловича, она вдруг как-то странно и дико закутила на удивление всему городу и прежде всего своим детям. Жившая при своих стариках в строгости, всему городу известная как дочь почтенных родителей, она вдруг окружила себя бог весть какими проходимцами картежниками, выпивохами, никчемными людьми, преимущественно из тех кавказских красавцев, которых всегда так много было в Ростове. В два-три года в их руках оказались все ее деньги и доходные дома и все нажитое прадедом Грибановым. Дочерям Антонине и Олимпиаде осталось кое-что: первой — небогатое подворье на углу 7-й линии и Георгиевской улицы, второй — приобретенные Грибановыми бриллианты. Сыновьям не досталось ничего. Дядя Илья кончал в Москве медицинский факультет, перебиваясь уроками в тех купеческих семействах, где помнили Илью Грибанова. Дядя Сергей, кажется, и гимназию кончал, содержа себя собственными силами. Отцу моему тоже не досталось ничего.

7. Отец

Старшего своего внука Грибановы готовили в руководители большого торгового предприятия. Он окончил в Москве академию коммерческих наук, где учили не только банковскому делу, но и языкам и откуда выходили со званием личного почетного гражданина. Кроме этой академии отец успел еще до полного банкротства семьи побывать за границей, где, во исполнение плана Ильи Михайловича Грибанова, усовершенствовался в знании трех европейских языков. Все это дало ему возможность, вернувшись из-за границы, устроиться помощником бухгалтера в ростовский банк Общества взаимного кредита. Видимо, это был способный человек. Не только мама, обожавшая его, отзывалась о нем так, но и дядя Илья, вовсе не склонный приукрашать своих братьев и сестер, не раз говорил мне: «Федор у нас был — золотая голова».

Тогда же, по возвращении, он женился на маме, отвергнув невесту из великановского дома. Из-за этого рассорился со своей матерью и сестрами. Было это в начале века. В 1905 году родилась я. Отец пожелал, чтобы я была названа Верой. Это было имя моей матери. Отец его любил и говорил, что сколько бы у него ни было дочерей, он всех назовет этим именем.

Работая в банке, он любил не банковское дело, а лодки, речной спорт то была подлинная его страсть, подлинное призвание. Для себя и своих приятелей, разделявших эту страсть, он основал в Ростове яхт-клуб. Первоначально яхт-клуб помещался в станице Гниловской, немного ниже Ростова по течению Дона. Любители собирались там строить речные суда и кататься на них. Но очень скоро к неведомому ранее развлечению прихлынули толпы людей, не имеющих к речному спорту ни отношения, ни расположения. Стали приезжать на извозчиках и на баркасах — с шампанским, музыкой, певичками. Тогда отец и его товарищи бросили это место и построили новый яхт-клуб выше по течению, против 39-й линии, близ деревянного моста.

Собственными руками отец построил себе яхту и назвал ее «Вера». Он отлично управлял ею и иногда устраивал на ней настоящие представления перед мамой, сидевшей на террасе яхт-клуба: нарочно опрокидывал яхту и, спасаясь от «кораблекрушения», приплывал к пристани. Плавал он отлично, сердце было безупречное, и вот 28 мая 1910 года он, устроив такое «кораблекрушение», не выплыл, исчез в Дону на маминых глазах.

В тот день с ним на яхте были два человека — больной

старик и молодой человек, не умевший плавать. Сейчас же от яхт-клуба отчалила гичка, спасли и старика, и молодого, не нашли только папу. А на другой день утром матрос, служивший в яхт-клубе сторожем, выйдя на пристань, увидел прибившееся к ней тело отца. При вскрытии врачи обнаружили то, что называлось тогда разрывом сердца, но это не объясняло ничего, и многие годы гибель отца была темной загадкой, тяготевшей над нашей осиротелой семьей.

Что знаю обо всем этом я? Что в том 1910 году была видна комета Галлея. Явление ее, говорят, сопровождалось внезапными резкими переменами погоды. В одну такую перемену, говорили, и налетел ветер, враз опрокинувший яхту, отец не успел приготовиться к катастрофе. Существовало, впрочем, и другое объяснение. Когда отец учился в академии коммерческих наук, рассказывали мне, к нему на подмосковной даче подошла цыганка, попросила «посеребрить ручку» и нагадала ему, что, когда ему будет 30 лет, он в день своих именин утонет. Он утонул, когда ему было 30 лет, в день своих именин.

Мой отец, человек образованный и веселый, не веривший, по всеобщим отзывам, ни в бога ни в черта, почему-то часто вспоминал об этом предсказании. Накануне злосчастного дня они с мамой были в гостях, и за ужином он, рассказывала мама, вдруг сказал: «Да, господа, завтра я должен утонуть». И все, рассказывала мама, были поражены тем, что он сказал это так серьезно. И вот некоторые предполагали, что он вспомнил об этом предсказании, когда опрокинулась яхта, и у него не хватило сил выплыть может быть, от волнения у него остановилось сердце.

Так или иначе, его не стало с нами, и тогда-то и появились мамина траурная вуаль и ее серебряные волосы (она поседела за одну ночь).

Меня не взяли на похороны, но няня поднесла меня к окну гостиной, и я видела погребальную процессию — большой цинковый гроб и за ним маму, которую вели под руки, а дальше шли родственники, а затем ехали извозчики.

8. Дом тети Лили

Дядя Саша построил дом из тех кирпичей и плиток, что горами были навезены во двор. Все говорили, что такого дома еще не было в Нахичевани. Полукруглое каменное крыльцо вело с улицы к резной полированной двери, украшенной вверху цветными стеклами. И чего-чего не было внутри: и колонны, и лепные потолки с позолотой, и тропические растения, и громадный аквариум с золотыми рыбками, лучшая грибановская мебель.

Тетя Лиля сказала, что белые занавески — мещанство, и она сама вымачивала белый тюль в крепком чае, чтобы придать ему, как она говорила, благородный вид. Она была большая рукодельница, поэтому в доме было очень уютно.

«Наконец-то я поживу как следует», — сказала она, и действительно, они с дядей Сашей зажили на славу. Он строил дома богатым ростовчанам, а тетя Лиля рукодельничала или читала романы Марлитт. Она очень любила эти романы и говорила, что по ним научаешься хорошей жизни.

Тетя Тоня и бабушка Александра Ильинична поселились с тетей Лилей и дядей Сашей и взяли на себя все заботы о хозяйстве, чтобы дать тете Лиле возможность заниматься только собою. Они даже стряпали, хоть в доме была кухарка.

Тетя Тоня, горбатенькая и некрасивая, с детства была безгранично предана старшей сестре и служила ей, как раба. При доме устроили богатый цветник с настоящими прекрасными цветами, и занималась цветником все та же тетя Тоня. Когда, бывало, ни придешь, всегда застанешь ее стоящей на коленях на какой-нибудь клумбе. Со своим горбом, торчащим к небу, с желтым больным лицом и худыми руками она казалась особенно жалкой среди этих роз, гвоздик и сирени.

То она поливала цветы, то подсаживала рассаду, то просеивала землю, то обрезала сухие листочки.

Меня она не любила, я была дочерью ее брата, обманувшего надежды семьи, и я ее не любила, но была связана с нею моей детской жалостью, о которой она никогда не узнала, но я уверена, что если кто и жалел ее от всей души, то это были мы, дети, и жалость моя была так остра, что ощущалась как пронзительная боль где-то в глубине.

9. Водовоз

На подворье тети Тони водопровода не было, как не было и электричества. Освещались керосиновыми лампами, вечно коптившими противной жирной копотью, а воду носили на коромыслах от водокачки и сливали в кадушку, стоявшую в кухне на лавке. Носить было тяжело, поэтому все радовались, когда во дворе появлялся водовоз.

Облезлая клячонка тянула громадную пузатую бочку, а водовоз шагал рядом. Он описан у Чехова, который вообще всю тогдашнюю нашу серенькую жизнь живописал со всеми ее подробностями. В рассказе «Бабье царство» среди прислуги, поздравляющей барыню с праздником, упомянут водовоз, заглянувший из сеней, но постеснявшийся войти.

Есть тут и точнейшая, как всегда у Чехова, деталь: у водовоза сосульки на бороде. Водовоз постеснялся войти, так как он стоял на самой нижней ступеньке общественной лестницы: он торговал товаром, дешевле которого уж ничего не было, — водой. Любая бубличница была выше него.

И сколько в моем детстве существовало такого мелкого люда, не знавшего ни хорошего обхождения, ни человеческой обстановки, ни грамоты, все эти водовозы, холодные сапожники, швеи, ходившие на поденную работу из дома в дом, приказчики и рассыльные в ничтожных лавчонках. Для них моя бедная мама с ее вдовьим крепом была барыня, а тетя Лиля и ее муж, построившие себе красивый дом, были в их глазах миллионерами, а детская игрушка в витрине магазина — роскошью, доступной только для богачей, а копейка была — деньги.

Помню, как однажды подошел к нам с няней в Александровском саду какой-то пьяненький и сказал: «Бабушка, я тебе дам четыре копейки, а ты мне — пять копеек, и господь тебя наградит».

Няня достала из узелка на платочке медную копейку и дала ему. «Нельзя не дать, — сказала она, словно оправдываясь, — не дать — он заболеть может, ему опохмелиться надо. И что копейка, ее все одно Шурка пропьет».

Помню, я задумалась о том, как странно высказал этот пьяный свою просьбу, обычно нищие просили: «Дайте копеечку». Потом поняла, что это он придумал из гордости, так ему легче просить: вроде бы просит об обмене, а не о милостыне. Он был в чьей-то чужой старой шляпе с оторванными полями и в калошах на босу ногу, но он был горд, и в награду за гордость моя няня,

скуповатенькая и не терпевшая пьяных, дала ему копейку.

10. Переселение на 1-ю линию

Не знаю, по каким причинам тетя Тоня в 1915 году отказала нам от квартиры. Мама аккуратно носила ей плату — может быть, тетя считала нас недостойными и на таких условиях жить в ее доме. Так или иначе, мама стала искать другую квартиру, и скоро мы переселились на 1-ю линию, в дом, где нам очень понравилось.

Это был очень славный кирпичный домик с зелеными жалюзи. Дворик там весь зарос веселой травкой, в глубине его, за сараями, росло несколько черешен, при доме была терраса, а главное — в доме были и водопровод, и впервые в моей жизни — электрическое освещение.

Так ново было и приятно повернуть выключатель и осветить комнату, не знать ни копоти, ни керосинового запаха, умываться не в тазу, а свежей проточной водой из-под крана.

Хозяин со своей семьей жил во флигеле, а домик, выходивший четырьмя окнами на улицу, заняли мы, перевезя все наше имущество с прежней квартиры.

Бабушка Надежда Николаевна, великая мастерица на всякое рукоделье, все очень уютно устроила.

Помню, между прочим, что она вырезывала из толстого английского ситца разные фигурки — цветы, китайцев, пагоды и делала абажуры для ламп и ширмочки для окон. Помню также наш музыкальный уголок, где стоял рояль, а над ним в овальных черных рамах висели портреты великих композиторов Бетховена, Моцарта, Гайдна, почему-то все в белых париках и в жабо, так что с тех пор все знаменитые композиторы представляются мне в таких же кружевах и буклях.

Жизнь наша, впрочем, на новой квартире почти не изменилась. Так же рано утром мама уходила в свою контору, а мы оставались с няней и с бабушкой Надеждой Николаевной. Последняя давала нам уроки музыки и читала нам вслух, а няня водила нас гулять, кормила, мыла, одевала. Мама приходила только вечером, к чаю. Приносила нам что-нибудь вкусное, иногда книгу или игрушку.

Помню, принесла она как-то металлический аэроплан. Надо было потянуть какую-то пружинку, и аэроплан летел через всю комнату. Я тоже захотела запустить его, и — о ужас! Он перелетел комнату и врезался в лоб брату Леничке, сидевшему с няней в кресле. Хлынула кровь, закричал Леничка, закричала и я, увидев свое преступление и осознав себя тяжко виновной, последней из людей.

Думаю, что это был самый тяжелый день моего детства и, несомненно, один из самых тяжелых во всей моей жизни.

Перед вечером, незадолго до маминого прихода, бабушка брала нас с Леничкой, и мы отправлялись на Садовую еще раз прогуляться и купить чего-нибудь к чаю.

Шли сначала в булочную Филиппова и покупали булочки для нас, детей, калачи для мамы и няни, какие-то тминные хлебцы для бабушки — каждому то, что он любил. Заходили в бакалею, как называли у нас тогда гастрономические магазины, и опять-таки каждому покупали то, что он любил, и с полной кошелкой возвращались домой пить чай.

11. Тетя Лиля

В детском моем мире было любимое и ненавидимое, прекрасное и безобразное, радости и ужасы.

Самое любимое были цветы. Всю жизнь они были для меня драгоценны, но в детстве особенно. Теперь я знаю почему: потому что я была к ним ближе. Вербена и флоксы были одного роста со мной. Став рядом, я словно бы шепталась с ними. За ромашками приходилось лишь чуточку нагнуться. Нагибаться низко нужно было только к тем, что цвели у самой земли, — к маргариткам, к анютиным глазкам.

Со всеми этими цветами я познакомилась в цветнике тети Лили.

Кстати сказать, тетя Лиля была, в сущности, тетя Липа, звали ее Олимпиадой, как ее бабку Грибанову, но тетя Лиля терпеть не могла свое простонародное имя и велела звать себя Лилей. «Наша Липка корчила из себя герцогиню», — сказал мне как-то дядя Илюша через много лет, когда мы с ним подружились. Видимо, новый дом окончательно укрепил эти ее претензии, потому что он действительно был необыкновенно наряден и комфортабелен для Ростова.

По кушеткам, креслам и столикам тети Лилиного дома были разбросаны альбомы. В альбомах были собраны портреты знаменитых красавиц — Лины Кавальери, Клео де Мерод и других, уже не помню их имен. Заглянув в эти альбомы и книжки (читать я выучилась очень рано и как-то сама), я поняла, по каким образцам тетя Лиля устраивает свою жизнь. Она же, заметив, должно быть, что я читаю ее книжки, вдруг меня осчастливила. Однажды, придя к ней, я увидела на одном из кресел несколько книг в одинаковых серых переплетах. Тетя Лиля сказала:

— Вот, посмотри эти картинки.

Первая картинка, которую я обнаружила, изображала египетскую пирамиду, вторая — глиняный кувшин. То была «Детская энциклопедия», прекрасное издание, из него я узнала много нового — до сих пор помню, как лепят глиняную посуду, как делают сахар из тростника и свеклы, и еще много всякой всячины. Не знаю, почему тетя Лиля вдруг решила помочь моему воспитанию, но была ей очень благодарна, благодарна и сейчас.

В этом богатом доме, как и в нашей бедной квартирке, никто никогда не сидел сложа руки. Дядя Саша чертил в своей чертежной, бабушка Александра Ильинична помогала тете Тоне хозяйничать, тетя Лиля вышивала, выжигала по бархату, штопала.

Однажды я застала ее сидящей на низенькой скамеечке в гостиной посреди ковра. У ног ее стояло блюдечко с водой и ящичек с красками. Кисточкой тетя Лиля набирала немного краски и подкрашивала выцветшие узоры ковра.

— Мой дедушка, — сказала она, — которому мы всем обязаны, никогда не сидел без дела и нам не велел.

Речь шла об Илье Михайловиче Грибанове, краснодеревце, о нем всегда в семье говорили с великим уважением. Бабушка Александра Ильинична рассказывала:

— Если бы я слушалась папу, я бы имела образование, как мои дети имеют. А я слушалась маму, она говорила, что, если я буду учиться, у меня голова будет болеть.

И через много лет дядя Илюша, указывая на портрет Ильи Михайловича, сказал мне:

— Вспоминай, Вера, этого старика, благодаря ему мы с тобой принадлежим к интеллигенции.

Из этих обрывочных частных разговоров делаю вывод, что уже очень давно русская провинция тяготела к образованию, стремилась выйти из провинциальной серости.

12. Наши вечеринки

Когда отец умер, нас осталось у мамы двое: я и брат Леня, на четыре года моложе меня. Мне было пять лет, Лене — год.

Фирма «Лемме и компания», куда поступила на службу мама, внесла в наш быт и наши игры хорошенькие коробочки с пилюлями и капсулами, уложенными старательно, как конфеты, крошечные флакончики с духами и японские шелковые веера с черными лакированными ручками — их дарили служащим приезжие коммивояжеры разных фирм.

Помню также бесчисленные проспекты этих фирм с названиями кремов, духов и пудры. Помню, как мама подарила мне в полную собственность флакон одеколона, в котором стоймя плавала веточка ландыша с бубенчиками, похожими на жемчужинки.

Мама была человеком очень общительным. Особенно любила принимать у себя приятных ей людей, и раза два в месяц, как ни скромно мы жили, у нас происходили вечеринки.

С утра мама начинала хлопотать, самолично готовя закуску. Непременно приготовлялись салат из картофеля, огурцов, помидоров и лука, заправленный подсолнечным маслом и уксусом, и селедка под майонезом, которую мама тоже делала сама. Покупалась еще колбаса и раскладывалась звездочками на тарелках. Покупались сардины либо шпроты, а иногда мама сама готовила очень вкусные кильки: она вымачивала соленую камсу в крепком чае, пересыпала зернистым перцем, перекладывала лавровым листом, и кильки получались гораздо вкуснее тех, что продавались в магазине.

Большой раздвижной стол накрывался нарядной зеленой скатертью, в центре ставилась громадная миска с салатом, вокруг нее — тарелки с разной закуской, по краям стола — горки нарезанного хлеба.

Расставлялись большие и маленькие тарелки с широкими зелеными каймами (из великановского магазина), графинчики с водкой, настоенной на апельсинной корке, и стол был готов. Казалось — мы живем в роскоши.

Бабушка Надежда Николаевна спрашивала у мамы: «А что ты будешь петь?» — и приготовляла ноты, и вот начинались звонки и постепенно сходились гости.

Приходил дядя Сережа со своей женой. Приходили мамины крестницы красивые девушки-гречанки. Приходили две дочери маминого начальника Миллера, управляющего ростовской конторой Лемме, Елена Генриховна и Дэзи, обе белокурые и

румяные, как булки. Приходили мамины сослуживицы и сослуживцы. Один приносил свою скрипку, другой виолончель, бабушка Надежда Николаевна садилась за рояль, начинались музыка и пение. Потом ужинали, пили чай с домашним печеньем, на которое мама тоже была мастерица, она даже мятные пряники отлично делала сама, а после ужина продолжались пение и игры, иногда очень веселые. Помню, например, как дядя Сережа устроил «бой быков». Он изображал быка, а другой гость был тореадором, они даже какие-то костюмы себе соорудили из разного тряпья и очень всех развеселили. Нынче уж так не играют, стесняются, а тогда вполне взрослые и серьезные люди нисколько не стеснялись смеяться и смешить других.

Такие вечеринки происходили у нас много лет.

13. Мои учительницы

Вопрос о нашем образовании — моем и брата Леонида — угнетал мою бедную маму не меньше, чем вопрос о том, как нас прокормить. Средства наши после гибели отца были крайне скудны. Банк, в котором служил отец, назначил брату Леониду маленькую пенсию вплоть до его совершеннолетия, это была единственно весомая статья в нашем бюджете. Мама получала в конторе тридцать рублей в месяц, почти все эти деньги шли на уплату за квартиру. Какие-то гроши приносили еще уроки, которые давала бабушка Надежда Николаевна, так что когда мама говорила: «Ничего не поделаешь, пора уже детям купить новые ботинки», — мы, дети, понимали, что это дело не шуточное.

И для мамы, помню, было большим облегчением, когда одна знакомая старушка высказала желание учить меня бесплатно. Старушка эта, мать папиного сослуживца, Анна Фадеевна Прозоровская, в молодости была учительницей. Она тоже, как покойная моя прабабушка Ольга Ивановна Троизи, носила черный кружевной чепчик и такую же ситцевую кофточку навыпуск, какую носила няня Марья Алексеевна. Помню, как я в первый раз пришла к ней заниматься. Она сидела в кресле в маленькой своей комнате, где весь угол был сплошь убран искусственными цветами, эти цветы меня восхитили, на уроках я не уставала рассматривать их. Кроме этих цветов и живых, на подоконнике, в комнатке было много книг. Анна Фадеевна достала одну из них, раскрыла передо мной и сказала:

— Почитай мне вслух.

То был Гончаров, «Фрегат „Паллада“». Я стала читать, а Анна Фадеевна объясняла мне прочитанное. И в первый же день я узнала множество разных вещей — и о кругосветных путешествиях, и всякие географические термины, и названия портов и городов. Так что мы, можно сказать, географию начинали изучать по «Фрегату „Паллада“».

Далее тем же способом по романам Загоскина мы проходили историю. Читали «Аскольдову могилу», и Анна Фадеевна рассказывала мне о Византии, об Олеге, Святославе, Владимире, Ольге. Или, достав с полки Пушкина, прекрасно читала «Песнь о вещем Олеге». Конечно, она первая забросила в меня интерес к истории, который потом так разросся. На ее же примере я поняла, как драгоценна духовная жизнь человека, как украшают его познания, как облагораживает труд. Ее сын создал ей спокойную старость. Ни в чем она не нуждалась и тем не менее постоянно

трудилась — писала мемуары, отвечала на письма, репетировала каких-то гимназистов, читала книги и газеты.

Ни одному педагогу за всю мою последующую жизнь я не старалась так угодить, как Анне Фадеевне, хотя она никогда не повышала на меня голос и даже не делала замечаний. Я воображала, что боюсь ее, но это было только мое восхищение ею, мое благоговение перед ее духовностью. Да и наружностью она была прелестна, эта маленькая старушка с ее всегдашним благообразием и какой-то лучезарной приветливостью, с чинно сложенными руками, в окружении книг и цветов.

Я шла к ней на урок, как на праздник. И мне казалось, что так будет бог весть как долго, годы и годы.

Помню мое удивление, мою растерянность, когда позвонила однажды у знакомой двери и мне долго не отворяли, а когда отворили, сказали: «Анна Фадеевна умерла». И потом панихида, и мы с мамой стоим у гроба, а в гробу — маленькое лицо среди веток жасмина и сирени.

И стала меня учить Евгения Станиславовна, существо настолько же не похожее на Анну Фадеевну, насколько не была похожа я сама.

Уже тогда, в детстве, чувства мои были чрезвычайно прямолинейны. Я либо любила, и тогда в человеке мне все нравилось, либо не любила, тогда мне с человеком было тягостно. Причем любовь была — прежде всего восхищение, любование. Ведь вот — жалела же я нашу бедную тетю Тоню, но не было любования, значит, не было и сердечности, я не могла заставить себя подойти, заговорить, приласкаться.

Еще меньше восхищения могла возбудить Евгения Станиславовна, которая была моей второй учительницей. Это была старая девица или вдова, уж не помню, не столько старая, сколько поблекшая до серо-желтого цвета, неопрятная, дошедшая в тоске женского одиночества до полного пренебрежения к своей наружности.

Тяжелее всего я переносила ее рот. Спереди у нее не хватало нескольких зубов, и пустые места были залеплены воском. Мне казалось это таким ужасным, что я старалась туда не смотреть.

Я уже отлично понимала, что это нехорошо, грешно, но ничего не могла с собой поделать.

Это замученное жизнью существо в буквальном смысле слова снискивало себе пропитание, целый день мотаясь по урокам: в семье какого-то ученика Евгения Станиславовна завтракала, у нас обедала, еще где-то ужинала, своего хозяйства у нее не было. Не было также никакой родни, она никогда не рассказывала о близких и друзьях, рассказывала только о кошках, которых у нее

было пять и которые носили слащавые имена вроде Бижу и Жужу.

Кошки всегда водились и у нас, но впервые я видела такую привязанность человека к этим животным, похоже было, что Евгения Станиславовна и думать ни о чем не может, кроме Бижу и Жужу, это тоже, на мой взгляд, ее не украшало.

Что касается занятий, то мы ринулись главным образом в грамматику и таблицу умножения, оставив в покое историю и поэзию, которые, по мнению моей новой учительницы, такой маленькой девочке были ни к чему.

У нее не было своего метода, как у Анны Фадеевны, она учила прямолинейно, без фантазий и отклонений, строго по программе. Ее просили подготовить меня в гимназию. Была выбрана гимназия Любимовой, слывшая очень хорошей. В этой гимназии было три приготовительных класса: младший, средний и старший, и мы с Евгенией Станиславовной прошли программу всех трех.

Без фантазий и отклонений! Я писала по прописям, закон божий учила наизусть, географию проходила по учебнику Крубера, а не по Гончарову. Появились задачи с бассейнами и встречными поездами, появились — сразу языки французский и немецкий, очень много времени мы уделяли диктанту.

Сейчас вспоминаю, как для того, чтобы поступить в 1-й класс, уже порядочно нужно было знать. В частности, как много нужно было пройти по языкам — уметь считать, рассказывать содержание разных картинок, вести простейший диалог. То, что я знаю в области французского и немецкого языков, я вынесла из гимназии, а еще раньше — из уроков не особенно-то культурной учительницы Евгении Станиславовны.

У нее были ученицы из любимовской гимназии, и со слов этих учениц она рассказывала мне об учителях, у которых мне предстояло учиться. Так, я узнала, что «география» — Александра Александровна — какая-то причудница и капризница, у которой никогда нельзя знать, какую она поставит тебе отметку. Что Василий Лаврентьевич — «арифметика» — самый добрый, но «требует, чтобы соображали головой». Но самая причудница Нина Матвеевна «русский язык», — она только одного требует, чтобы ученицы заучивали «хорошенькие стишки» и читали ей, а больше ничего. Что основательница и начальница гимназии Софья Яковлевна Любимова и ее сестра Варвара Яковлевна — старые девы, живут вместе при гимназии.

Этих двух сестер-начальниц я видела раньше, чем пришла в гимназию, по вечерам они гуляли по Садовой улице. В одинаковых темно-синих платьях с белыми воротничками, они были самые типичные учительницы, каких описывают в книгах.

Обе они учительствовали всю жизнь, скопили деньжат и открыли свою гимназию. Они гуляли очень чинно, сложив коробочкой руки у талии. Мне нравилось, что они гуляют так дружно.

Потом я поступила в гимназию Любимовой и там воочию познакомилась и с Александрой Александровной, и с добрым Василием Лаврентьевичем, и с Ниной Матвеевной.

Нина Матвеевна была белой вороной среди учительниц и классных дам, одетых в синее и черное. Нина Матвеевна носила яркие блузки, рыжую лисицу на плечах и рыжий парик на голове. Она ходила не по-учительски весело и свободно; поговаривали девочки, что иногда ее после уроков дожидается возле гимназии какой-то офицер. Все это делало ее менее официальной, более доступной нашему пониманию, а потому любимой.

Неправда, будто она ничего не требовала, кроме стихов. Если я всю жизнь пишу правильно, я этим обязана ей. И диктовки мы писали, и сочинения, и речь нашу она поправляла педантично, и грамматические правила заставляла зубрить. Но действительно стихи были ее страстью, и урок она начинала с вопроса:

— Ну, кто мне выучил какой-нибудь хорошенький стишок?

Что она разумела под словом «хорошенький», я вскоре поняла: «хорошенькие стишки» были — Надсон («Христианка», «Иуда»), Фет («Сияла ночь…»), «Летний бал» Гофмана, кое-когда Блок, но в незначительных дозах. Если стихи были выучены нетвердо, Нина Матвеевна сердилась. Если кто-нибудь читал нечто, чего она не знала, она хвалила. Наибольшую похвалу снискала Зина Стасенкова, принесшая однажды «Запад гаснет в дали бледно-розовой…» Алексея Толстого. «Очень хорошенький стишок», — сказала Нина Матвеевна. Я переплюнула Зину Стасенкову количественно, выучив до середины пушкинскую «Полтаву». «Ты можешь учить больше, — сказала Нина Матвеевна, — раз у тебя такая память». Да, в те годы память была такая.

Я с нежностью вспоминаю этих милых сумасбродок, непохожих на всех учительниц, вкладывавших в нас, во всяком случае стремившихся вложить что-то от самих себя, от своих пристрастий и симпатий. Они считали, что это дельное помещение капитала, — уже за это им спасибо. Благодаря Нине Матвеевне я пристрастилась к стихам — разве это мало?

Сначала мне нравилось их заучивать и тем щеголять перед Ниной Матвеевной и перед классом. Потом я полюбила их читать. Потом я стала их писать.

О чем были те детские стихи? Не забудьте, я была мещанская девочка из Нахичевани, пригорода Ростова-на-Дону. Я получала журнал «Задушевное слово». Меня водили в церковь. У меня была

тетя Лиля, а у тети Лили альбомы с Линой Кавальери и романы Марлитт.

Вот тот эстетический и словарный круг, которым я была очерчена. Кроме того, я читала Метерлинка. В моих стихах были феи, снежинки, принцессы, розы, могилы, грехи, голубки, душа, разлука, смерть. Были, увы, и луна, и чудные звуки, и вьюги, и много всякой всячины, так остроумно перечисленной Толстым в его книге «Что такое искусство», которую я прочла много позже.

14. Гимназия Любимовой

В конце лета 1915 года я держала экзамены (их было довольно много) и поступила в 1-й класс частной гимназии Любимовой.

Помню экзамены: закон божий, русский (диктант), арифметика, география, языки французский и немецкий. По последним двум у меня были четверки, по остальным же предметам — пятерки.

Теперь по утрам я стала уходить раньше мамы, ей надо было в свою контору к десяти часам, а мне — к половине девятого.

В половине девятого нянечки переставали пускать учениц в раздевалку, а в пальто на урок не явишься.

Я помню свой номер в раздевалке — 383. Мы сами вешали свои пальтишки на вешалку и сами брали их оттуда, когда кончались занятия.

Классы были как в теперешних школах, коридоры тоже. Только во втором этаже был большой зал, и в нем большая, во всю стену, картина — Христос, благословляющий детей. Каждое утро ученицы выстраивались шеренгами перед этой картиной-образом и пели молитвы. Хор был довольно слаженный, и петь нам нравилось. Пели мы «Царю небесный», «Спаси, Господи, люди твоя», еще что-то — я уж не помню.

Однажды во время этого стояния и пения у меня закружилась голова, я ухватилась за девочку, стоявшую рядом, но не удержалась и упала. Очнулась в кабинете начальницы, Софьи Яковлевны Любимовой. Оказалось, что у меня был обморок, и меня туда перенесли и уложили на диван. Девочки стояли кругом и серьезно смотрели на меня. Потом пришла сама Софья Яковлевна, спросила, в чем дело, и сказала, чтобы я больше не ходила на утреннюю молитву.

Помню, однажды и в церкви мне сделалось худо от долгого стояния, и няня вынесла меня на паперть, на свежий воздух. Я, видимо, была слаба с детства, хотя болела не так уж часто. У меня не было ни скарлатины, ни даже кори, которая так редко минует детей. Бывали какие-то незначительные заболевания — ангина, коклюш, свинка. В 1920 году, в эпидемию, я переболела «испанкой» — была такая разновидность гриппа. От всех болезней лечил меня и братишку доктор Левентон. Я не любила его за то, что он лез ложкой в рот и заставлял дышать глубоко, от чего у меня кружилась голова.

Учиться в гимназии мне и нравилось, и не нравилось. Нравилось, что учителя ко мне хорошо относились, что учение

давалось легко, без надрыва. Нравился класс, он был хороший, дружный, без ябедничества, без ссор. Очень запомнились некоторые девочки: милая тихая Зина Стасенкова, хорошенькая смуглянка Мартьянова, красивая блондинка со странной фамилией Ладоня (она, впрочем, была классом или двумя постарше). Классную даму нашу Анну Аполлоновну мы не очень любили — за сухость и ворчливость, но, в общем, я шла в гимназию с охотой.

Мне давали утром пятнадцать копеек на завтрак, из этой суммы я копеек пять тратила еще по пути в гимназию на лакомство. На этом пути тут и там сидели торговцы с лотками. На копейку можно было купить либо три больших леденца, завернутых в папиросную бумагу (один такой леденец можно было сосать до вечера), либо порядочный кусок халвы, а за пятачок — целую шоколадку с начинкой из крема, в цветной бумажке с двумя язычками: потянешь за один язычок — на картинке выскакивает злобное лицо Вильгельма II, тогдашнего нашего врага, дернешь другой язычок — появляется чубатая голова героя тогдашней войны казака Козьмы Крючкова, прославившегося многими подвигами в битвах с германцами, как тогда называли немцев.

Запасшись таким образом лакомствами, я приходила в гимназию, вешала свое пальто на колышек под № 383, запихивала в рукава кашне и шапку (у нас были пребезобразные форменные зимние шапки из грубого черного плюша), внизу ставила калоши, в подкладку которых тоже были наглухо вделаны медные цифры 383, и бежала в зал на молитву.

На большой же перемене надо было позаботиться собственно о завтраке. В том же зале, где мы по утрам пели молитвы, был буфет, где за несколько копеек можно было купить либо пирожок, либо бутерброд с колбасой, либо горячую котлетку. Стакан сладкого чая стоил копейку. Так что на мои 15 копеек я кормилась отлично и была сыта вплоть до того момента, когда, придя домой, садилась обедать.

Мне очень нравилась эта самостоятельность — сама иду в гимназию и обратно, покупаю, что хочу, не захочу — совсем не буду завтракать, прокормлюсь шоколадками с Вильгельмом и Козьмой Крючковым, — и все-таки гимназия мне мешала. Она мешала мне читать. Я тогда уже глотала множество книг, и мне не нравилось, что приходится откладывать интересное чтение для того, чтобы зубрить названия каких-то городов или решать задачу о путешественниках, идущих друг другу навстречу. Попросту говоря, я стала лениться. И не огорчилась, а была рада, когда мое гимназическое учение прекратилось.

Насколько скудны были наши средства, видно хотя бы из того, что мне даже не смогли сшить летнее форменное платье. Зимняя форма была у меня с самого начала — коричневое шерстяное платье и черный шерстяной передник. Но на лето ученицам любимовской гимназии полагалось платье из голубого сатина, белый передник и белые ленты в косы. Мне очень хотелось иметь эту форму, но бедной маме так и не удалось выкроить на это деньжат. И без того все время возникали в связи с обучением в гимназии все новые и новые расходы.

Первоначально все было просто. На Садовой улице был писчебумажный магазин Иосифа Покорного. Надо было прийти туда и сказать: «Гимназия Любимовой, первый класс». И отлично вымуштрованный приказчик сооружал пакет, в котором были собраны все нужные учебники, тетради, даже набор акварельных красок, требуемых в 1-м классе гимназии Любимовой, для уроков рисования, даже кисточки нужных номеров, и перья, и резинки, и пенал там был, и дневник, и решительно все, что могли потребовать учителя; только ранец или сумку (у меня была сумка) надо было покупать отдельно. И я отправилась на первые уроки в горделивом сознании, что оснащена решительно всем, вооружена, так сказать, с головы до ног. Но потом оказалось, что кроме гимназических правил существуют еще гимназические традиции. А на них-то у мамы не было денег. Оказалось, что кроме учебников, тетрадей и тому подобного гимназистка должна иметь альбом для стихов и картинок, что розовая промокашка, вложенная в тетради, считается признаком безвкусицы и почти что нищеты, а надо покупать клякспапир других цветов и прикреплять его к тетрадям лентами с пышными бантами, и вот всей этой дребедени у меня не было, и я видела, что девочки с обидным сочувствием косятся на мои розовые промокашки без бантов и на мой более чем скромный альбом в переплете из коричневой клеенки, и горечью наполняло меня их сочувствие.

Много понадобилось лет, усилий и настоящих горестей, чтобы из моей души вытравилось это мелкое, гадостное чувство.

И из каких дрянных мелочей складывается это чувство обездоленности! Ведь вот никогда не ущемляла меня красота Ладони или смуглянки Мартьяновой. Никогда не позавидовала Зине Стасенковой, которая приезжала в гимназию в собственном экипаже. А вот дурацкие промокашки с бантами отравляли жизнь, подумать только!..

Если не считать этих ничтожных лишений, жили мы, как и прежде, вполне нормально. Все были сыты, одеты, обуты. В именины бывали пироги и торты, на рождество — елка, в день 22 марта — жаворонки с изюминами на месте глаз, на пасху столы

ломились от куличей. В буфете стояли банки с вареньем, между оконными рамами — бутылки с вишнями, засыпанными сахарным песком. Вишни бродили, сок их употреблялся как наливка, а самые вишни они назывались «пьяными» — шли на гарнир к жаркому.

Иногда, очень редко, нас с братишкой возили в цирк или в театр.

Из театральных зрелищ мне запомнился только «Потонувший колокол» Герхарда Гауптмана, все остальное было столь низкого уровня, что не сохранилось в памяти. В цирке меня прельщали газовые юбочки наездниц, осыпанные блестками, да еще запомнилась какая-то ученая обезьянка, остальное тоже, мелькнув, ушло навеки. Раза два водили нас в кино (тогда оно называлось «электробиограф», или просто «биограф»), смотрели мы там какие-то виды Швейцарии, новые парижские моды, какой-то военный парад кажется, в Вене, да еще одну или две комедии с бесконечными потасовками. Все это не доставляло нам, детям, ни малейшего удовольствия и мы радовались, когда нас уводили домой.

15. Еще о нашей семье

Я уже описывала наружность моего отца, которую знаю и по живым моим впечатлениям, и по оставшимся фотографиям. Эту наружность он унаследовал от своей матери Александры Ильиничны, а через нее — от Ильи Михайловича Грибанова. Думаю, от них же он получил свои способности и свойства характера. Мама рассказывала о чудовищной его вспыльчивости и горячности, когда он «невесть чего наговорит человеку, на которого рассердится, а через минуту стоит на коленях и просит прощения и опять-таки бог знает что грозит над собой сделать, если его сейчас же не простят». Эта черта раздражаться до неистовства и сразу за вспышкой ярости так же необузданно каяться, — эта черта была у отца общая с его сестрой Олимпиадой Ивановной и перешла ко мне, и всю мою жизнь я вспыхиваю и невесть что говорю людям, а через мгновение ненавижу себя за это и молю о прощении и далеко не всегда его заслуживаю, а еще реже получаю — так уже сложилось… И эта несчастная черта характера отравила мне жизнь, и дорого бы я дала, чтобы ее не наследовать.

Почему я думаю, что свои способности, о которых вспоминала и мама, и все родные, отец унаследовал от бабушки Александры Ильиничны? Да потому, что она, несомненно, была ярко одаренным человеком и такою осталась в моей памяти, хотя жизнь не дала ей реализовать ни одной из ее возможностей.

У моей мамы Веры Леонидовны были очень черные, блестящие глаза под черными густыми бровями; белоснежные волосы красиво контрастировали с ними.

На моей памяти были у нее поклонники (няня называла их женихами), но она и слышать не хотела о новом замужестве и о том, чтобы дать нам, детям, отчима.

Поклонники приходили вместе с другими гостями, пили чай, слушали музыку и пение, играли в маленькие игры, принятые тогда («колечко», «мнения», «оракул», «фанты»), в именины приносили цветы и конфеты и исчезали, на короткое время обеспокоив меня, знавшую уже из «Давида Копперфильда», что отчим — это очень страшно.

Дети — эгоисты, теперь-то мне очень жаль, что мама не вышла вторично замуж, она была такая хорошая и так заслуживала любви и счастья. Подозреваю, что во многом была тут виновата бабушка Надежда Николаевна, я своими ушами слышала однажды, как она говорила маме, что, конечно, Илья Петрович хороший человек, но кто он такой, в сущности? Никто,

какой-то комми. И как посмотрят на такой брак Кошкины и Асмоловы? Кошкины и Асмоловы были богатой родней бабушки Надежды Николаевны, и она их явно побаивалась. В свое время она им угодила, выдав дочь за богатого купеческого сына, а теперь опасалась не угодить. И, в сущности, из-за этих бабушкиных причуд моя мама не согласилась выйти замуж.

Она нравилась, моя мама, несмотря на раннюю седину и морщинки, у нее были такие живые черные глаза, свежий цвет лица, маленькие руки и ноги, красивый голос. Помню, когда на террасе яхт-клуба она разливала чай (громадные самовары ставил и таскал матрос Федор, яхт-клубский сторож), в мамину честь внизу, под террасой, устраивались серенады, какой-нибудь мужской голос пел «Очи черные» и вставлял в слова романса куплеты собственного сочинения, вроде:

Моя звездочка, моя милая,
Моя ласточка сизокрылая.

А на громадную террасу с чайным столом и с собравшимися внизу участниками серенады светила большая луна, и ее свет столбом лежал поперек Дона, от берега к берегу.

Несправедливо, зря бабушка Надежда Николаевна корила тетю Лилю за ее «мещанские претензии», претензии тети Лили никого, в сущности, не сделали несчастными, претензии же самой бабушки Надежды Николаевны, не менее мещанские, думается мне, испортили жизнь моей мамы.

Эти Кошкины и Асмоловы, о которых постоянно, кстати и некстати, упоминала бабушка Надежда Николаевна, были ее гордостью, через них она приобщалась к тому кругу богато и широко живущих людей, который всегда ей импонировал. Иногда нас, детей, одевали с особенным тщанием и везли в гости к Кошкиным. Они жили в своем доме где-то поблизости от Старого собора, занимая целый этаж, там были комнаты, каких не было ни у нас, ни у тети Лили, одна комната, помню, называлась «будуар», другая «читальня», там стояла качалка, на которой я любила качаться, а на столе лежала Библия с иллюстрациями Г. Доре. Я уже знала Ветхий завет и рассматривала картинки с огромным удовольствием. Позже, когда в мои руки попало это издание, оно уже не доставило мне ни малейшей радости, равно как и мысль о том, что я могу его приобрести в полную собственность.

Библия с картинками, качалка, отличное богатое угощение как-то не примиряли нас, детей, с тем неприятным чувством, которое мы испытывали, посещая этот дом в качестве бедных

родственников. Помню, как мне было неприятно, даже тяжело видеть, когда бабушка Надежда Николаевна, которую все называли прекрасно воспитанной и гордой, старалась услужить своей младшей сестре Вере Николаевне. Не следовало нас делать свидетелями этого, дети ведь все прекрасно понимают, и я начала все меньше уважать бабушку Надежду Николаевну.

Однажды Кошкины пригласили ее с нами погостить у них летом на даче. Дача находилась под Ростовом, за Федоровским монастырем, на берегу речушки Темерник. Мы поехали туда на извозчике. Помню, заехали в монастырь, и монашки показывали нам, детям, свое хозяйство, в том числе плодовый сад и пасеку. У меня была книжечка «Пчелы, осы и термиты», я знала много о пчелах, но ульи видела впервые и впервые же ела сотовый мед, которым нас угостили монашки. Кроме меда на стол были поданы прекрасные сливы, темно-лиловые и янтарно-желтые, и, что бывало редко, нам разрешили их есть сколько угодно, и мы налакомились вволю.

Для пчел у монашек были специальные посевы. Небольшие поля гречихи и медуницы лежали среди зелени розовыми и синими платками, над ними гудели пчелы. Мы проехали также мимо болгарских огородов, необыкновенно красиво возделанных, их содержали болгары-огородники, они продавали свои чудесные овощи на ростовских базарах. Трудно даже поверить, что обыкновенные капустные гряды могут выглядеть так красиво.

Целая аллея белых лилий шла вдоль берега Темерника справа от деревянного мостика, перекинутого через речку. Мостик соединял дачу Кошкиных с дачей Асмоловых. Дочь Кошкиных Наталья Ивановна была замужем за «молодым Асмоловым», как его называли в своих разговорах мама и бабушка Надежда Николаевна. Старики же Асмоловы владели большой табачной фабрикой, впоследствии фабрикой имени Розы Люксембург, и принадлежали к первому ряду ростовских богачей, и я помню, как бабушка Надежда Николаевна возмущалась, что Наталья Ивановна, ее племянница, совсем не умеет пользоваться своим положением, ходит в кофтах навыпуск, не хочет носить брильянтов и вообще «опустилась так, что противно смотреть».

Считать, что бабушка Надежда Николаевна была глупа, я не могу. Она не только не была глупа, но для своего положения в обществе была даже довольно развита. В нашем доме она одна читала газету «Приазовский край» и вообще читала много. В передней стоял ее большой шкаф красного дерева, где в правом отделении висели платья, а в левом на полочках среди белья она прятала от меня свои книги. Увы, я проследила, куда бабушка прячет ключ, и слишком рано начиталась Вербицкой, Нагродской

и переводных романов, среди которых первое место занимали романы Локка. Бабушка Надежда Николаевна, а за нею и я читали, таким образом, «Ключи счастья», «Вавочку» и много других книг, насчет которых теперь я понимаю, что лучше бы мне их в детстве и не видеть вовсе.

С гостями бабушка часто заговаривала на политические темы, и за это, я заметила, гости ее уважали. В свое время много говорила она о деле Бейлиса, во время империалистической войны — о поражениях русской армии, а затем главной и любимой ее темой стал Распутин и диковинные дела, происходившие в царском семействе. Не стану вводить добрых людей в заблуждение, будто моя бабушка была передовых взглядов и в душе чуть ли не революционерка, как любят уверять иные мемуаристы. Нет, в нашей скромной семье не было революционеров, но в ней здраво судили о процессе Бейлиса, и недобро поминали Ходынку, и осуждали распутинщину за тот позор, который она навлекает на Россию. И, судя по запомнившимся мне разговорам гостей, это были мнения, свойственные тогда всей массе мелкой русской интеллигенции.

Об этой мелкой интеллигенции, иногда предельно убогой духовно, иногда же находящей в себе силы подняться над этим убожеством, писал Чехов, и не надо эту интеллигенцию вовсе скидывать со счетов, она была вовсе не худшее, что когда-либо бывало на Руси, отнюдь не худшее. Может быть, потому мне так рано стал доступен Чехов, что я вырастала в той же среде, что и он, в тех же нравах и заботах — в частности, до чего же мне понятны его слова, что он всю жизнь по капле выжимал из себя раба.

16. Наши родственники и знакомые

Мой дорогой дядя Сережа был женат на Юлии Дмитриевне Емолаки, греческого происхождения, и жил со своей семьей в милом кирпичном домике на 7-й линии, неподалеку от подворья тети Тони, где жили мы. При доме Емолаки был сад с богато цветущей сиренью и фонтаном, в бассейне которого плавали рыбки. Юлия Дмитриевна, тетя Юля, была строгого вида болезненная женщина, мы ее побаивались, особенно после того, как она однажды при нас больно наказала свою дочь Варю.

Она тоже очень много читала, у них с дядей Сережей было очень много книг, и они охотно позволяли мне рыться в этих книгах и советовали, что прочесть. (Так, помню, присоветовали Джека Лондона.)

Варя была ровесница нашего Ленички, и у нее тоже был братишка на несколько лет младше ее, Юра. Дядя Сережа часто надолго уезжал, но мы и без него приходили к тете Юле, бегали в саду, брали читать книги, рассматривали бабочек и жуков в ящиках по стенам, и часто, когда мы уходили домой, нам дарили большие букеты свежесрезанной сирени. В семье Емолаки был приемыш, его звали Мартын. Помню, однажды под его руководством мы хоронили возле фонтана мертвую рыбку, другой раз — дохлого воробья. Я вспоминала Мартына, когда писала мальчика Ваську в повести «Сережа».

Другой брат покойного отца, дядя Илья Иванович, уже тогда жил в Москве. Он стал хорошим зубным врачом и иногда, как и дядя Сережа, помогал моей маме деньгами. Женился он на женщине много старше годами, Александре Львовне, сыновей которой, гимназистов, он репетировал, еще будучи студентом.

Впоследствии, приехав в 1930 году в Москву, я эту Александру Львовну видела. Была она уже стара и совсем некрасива, причесывалась так же, как бабушка Александра Ильинична, свертывая седые волосы в маленький узелок на затылке. Дядя же Илья был тогда еще свеж и красив, но он очень любил свою жену и, когда она тяжело заболела, ходил за нею до последнего часа, а когда она умерла, очень горевал. После ее кончины он женился вторично, на этот раз на женщине много его моложе, Наталии Федоровне Любимовой.

Дядя Илья Иванович и ее так же горячо любил и уважал, хотя и мучил своим вспыльчивым и капризным характером — «пановским», как называла его покойная мама.

В 1912 году, в мае, у тети Лили родилась девочка. Ее назвали Ириной, и отныне вся семья посвятила себя этому ребенку. Нам,

старшим внукам, сразу стало ясно, что с появлением Ирочки мы больше не существуем для бабушки Александры Ильиничны. То и дело мы слышали: «Не трогай Ирочкины игрушки», «Вот ты пришла, а у тебя кашель, ты можешь заразить Ирочку». Даже Варю, которая была с нею особенно ласкова и которую она любила, бабушка стала ласкать гораздо меньше.

Заразы в этом доме боялись как-то преувеличенно, до смешного. Из передней одна дверь вела в кабинет дяди Саши. Не знаю, по каким причинам этот кабинет на некоторое время был превращен в Ирочкину детскую. Во все это время щели в двери были заделаны войлоком — «Чтобы микробы из передней не заползли в детскую», — говорила тетя Лиля.

Конечно, нас, детей, больно задевало такое предпочтение, отдаваемое Ирочке. Мы не могли еще понять, что любовь не раздается поровну, как конфеты, что она избирательна и зависит от множества причин. Нас обижало, что Ирочка и одета лучше нас, и все самое лакомое отдается ей, и лучшие игрушки с елки, и она живет в своем доме (так говорилось при нас), а мы с мамой в наемных квартирах.

Все это, увы, надолго занозило наши души и не содействовало развитию добрых чувств. Конечно, сама Ирочка нисколько в этом всем не повинна. Вряд ли это дитя могло тогда и заметить все это. Это было обыкновенное избалованное дитя, заласканное, задаренное, миловидное (она была похожа на тетю Лилю), и на нее обида наша нисколько не распространялась.

Тетя Лиля говорила, что Ирочка будет воспитана особенно, необыкновенно, что в ней не будет ничего грубого и вульгарного, а когда она вырастет, то выйдет замуж за графа или барона. Тут, несомненно, продолжала работать Евгения Марлитт. Приведу один образчик этого особенного воспитания.

Сидим за обедом: мы, все дети, тетя Лиля и тетя Тоня. Тетя Лиля говорит о ком-то:

— Тонечка, она опять не так положила салфетки.

Тетя Тоня отвечает:

— Лиличка, от нее ничего невозможно добиться, она форменная де-у-эр-а.

Я соображаю, что это «де-у-эр-а» означает «дура», и мотаю себе на ус, что слово «дура», как грубое, нельзя говорить при Ирочке, для нее и придуман заменитель. Тетя Лиля, должно быть, видит, что я намотала это себе на ус, и одобрительно кивает мне со своего хозяйского места. Никто не догадывается, что Ирочка тоже в состоянии кое-что намотать себе на ус. Обнаруживается это через несколько дней, когда при гостях этот ребенок ни с того ни с сего говорит тетке:

— Тонечка, ты форменная де-у-эр-а.

Плоды же всего этого я увидела через много лет, через много верст, когда уже стареющий дядя Саша жил под Ленинградом на даче с почти тридцатилетней Ирочкой и мы пошли купаться на озеро. С нами была и моя дочь Наташа.

Наташа, призовая пловчиха, нырнула в озеро, как рыбка. Я, преодолев боязнь холодной воды, окунулась тоже. И одна бедняжка Ирочка так и не решилась войти в воду, она топталась на берегу, теребила бретельки купального костюма и не поддавалась ни на чьи уговоры.

Дядя Саша глядел на это, сидя на берегу на скамейке.

Он сказал:

— Так уж воспитали, что все на свете страшно, всего надо бояться.

17. Еще о моих гимназических годах

В 1915 году, о котором я пишу, шла первая империалистическая война, и по вечерам взрослые говорили о неудачах русских на фронтах, о безобразиях распутинщины, о том, чем же все это, помилуй бог, кончится. Кончилось так, как в нашей скромной среде и не чаяли, но до этого было еще довольно далеко. Сперва были грозные слухи о том, что в Петербурге назревает голод, затем неведомо какими путями пришедшие в Ростов рассказы об убийстве Распутина и потом — известие, что царя уже нет, вместо него есть какое-то Временное правительство.

Вспоминается мне какой-то день, когда всем где-то раздавали билетики, и на этих билетиках каждый должен был написать цифру и куда-то этот билетик опустить.

Бабушка Надежда Николаевна и мама на своих билетиках написали цифру 5, что, как я потом узнала, означало партию кадетов, а няня принесла свой билетик мне и велела написать цифру 1, что означало партию социал-демократов. Моей голове эти цифры говорили так же мало, как и названия партий. Я не тянулась к политике, вероятно, потому, что в ней не таилось для детской души никаких поэтических, никаких эстетических очарований. В рассказах об убийстве Распутина был все же привкус романтики (Ну как же! Убили злодея, который срамил Россию, а значит, и нас с вами!), в писании же цифр на билетиках не было ровно ничего, кроме скуки, и скука отвращала…

Приходили письма от дяди Володи, что в Петербурге есть нечего, что они с тетей Аней собираются удирать в Витебск, где все-таки посытнее. Было еще от него письмо о том, что Петербург кишит крысами, что дядя Володя видел своими глазами чудовищное стадо крыс, шедших к Неве на водопой поблизости от Александро-Невской лавры. И будто какой-то болван извозчик бросил в это стадо кнут, и через пять минут не было ни извозчика, ни его лошади, ни его пролетки. Пришли Октябрьские события. О них я мало что помню, да и сведения о них были отрывочные и неясные.

Правила в городе Ростовская коммуна.

В 1917 году я перестала ходить в гимназию. Меня оттуда не забирали и не исключали, я ушла сама.

Во-первых, устала слушать, как трудно платить за учение, ведь сто рублей в год, где их взять? Хорошо, если дядя Илюша или дядя Сережа пришлют вовремя, а как не пришлют? И было стыдно, что я, такая дылда, туфли уже тот же номер, что у мамы, сижу у нее на шее.

Во-вторых, вдруг стало невыносимо скучно ходить в гимназию, а особенно делать дома уроки. Мне казалось, что гимназия не поможет мне стать писательницей (а я уже тогда мечтала стать ею), а только мешает мне читать то, что хочется. Скоро гимназия закрылась.

Затем наступил тот первый день, когда на нашей улице, за окнами с китайскими ширмочками, с утра по-комариному запели пули, и бабушка трагически сказала маме: «Ты не пойдешь на службу!» А та очень просто спросила в ответ: «Как же это можно?» — и пошла, надев свой рабочий костюм: черную юбку и белую блузку.

Няня вышла за нею и принесла известие, что юнкера восстали против коммуны (у нас в городе было юнкерское училище), окопались около Балобановской рощи и стреляют из пулеметов по чему попало. Я и Леничка пытались читать и играть, а пули за окнами все свистели.

Бабушка сидела посредине своего маленького диванчика, на котором она спала, подложив под себя полосатую перину и прикрывшись стареньким, от старости тонким, как марля, пледом тигровой расцветки. Она сидела посредине, мы с братом Леничкой жались к ней с обеих сторон, пули шлепались о кирпичную стену домика. Вдруг раздался звонок с парадного хода. Няня побежала отворять и впустила нашего хозяина дома — Федора Михайловича Зудина. Федор Михайлович, одетый в черный добротный пиджак старомодного покроя, с маленькой остроконечной серебряной бородкой, с серебряной часовой цепочкой по жилету, вежливо поздоровался с бабушкой и сказал:

— Я, извиняюсь, не сразу сообразил, что тут находятся только женщины и дети, но как сообразил, долгом счел самолично зайти и узнать, как вы и что. И видите, будто сердце чуяло, вы даже подушками не заложились.

Он пошел в смежные комнаты, собрал подушки и заботливо заложил ими оконные проемы.

— Теперь хоть в окно не влетит, — пояснил он. — В пухе застрянет.

— А Верочка на работу пошла, — пожаловалась бабушка на маму.

— Ну и правильно, — сказал Федор Михайлович. — Чего же дома зря сидеть? Зарабатывать надо, мой Федя (сын) тоже чем свет на завод побежал. И не сбережете вы свою Верочку ни за какими стенами, Николавна: такое начинается, что никому не уйти в свои стенки, всякий в этом деле примет участие по своей силе возможности, хоть ваша Верочка, хоть вы сами, хоть эти детки. Не пять и не десять лет мы, простой народ, этого ждали, и

пожалуйста — начинается! Они драки захотели — будет им драка такая, какой не бывало еще. Мы ведь тоже, дожидаючись, озлились, с обеих сторон быть крови, Николавна.

И, не обращая внимания на то, что у бедной бабушки от этих слов голова с волосяным валиком прически упала на плечо, Федор Михайлович простился и ушел. Ушел из домика, но не из памяти: тот первый для меня день — гражданской войны, когда откуда-то строчили из невидимых пулеметов какие-то невидимые и неведомые юнкера, когда сквозь их пули пошла в свою контору мама и сквозь пули пришел к нам строгий, добрый Федор Михайлович, чтобы забаррикадировать нам окна подушками, и то, как мы с Леничкой все время подбегали к окнам посмотреть, не застряла ли в пуху пуля, и обед того дня, съеденный нами с ощущением, что вот что-то рухнуло, а что-то началось, — весь этот день я вижу сквозь небольшой силуэт коренастого старика в старомодном пиджаке, таком старомодном, каких не носили уже ни мой отец, ни его братья. И, помимо бесчисленных книг на эти темы, навсегда мне запомнились его слова о том, что драки захотели они, стало быть, в грядущей крови повинны они, а не старый мастер Федор Михайлович и не его чахоточный сын Федя, ни свет ни заря побежавший на работу. Так бывает часто, что живое слово, вышедшее из теплых человеческих уст, врезывается в сердце острее и глубже самых умных книжных речений и самых убедительных примеров. И мне показалось в тот момент, что именно от него моя дорога пойдет теперь к узнаванию тех жизненных истин, когда я начну усваивать все, что до сих пор казалось мне столь непонятным и чего до сих пор не разумела моя душа, не понимавшая ни причин этой стрельбы, ни цифр, проставленных моей детской рукой в каких-то листах, ни мудреных иностранных слов, которые все чаще попадались в листках, расклеенных на заборах и тумбах: «коммуна», «совдеп», «пролетариат», «буржуазия». И предчувствия сбылись — так оно все и совершилось полусознательно в робеющей и пораженной множеством открытий девочке ростовской окраины. И как рыба на удочку, потянулись вдруг ко мне новые знакомые, девочки и мальчики, с новыми книгами, от «Тиля Уленшпигеля» до брошюрок о 1905 годе и о Парижской коммуне. Говорили, что юнкера много в тот день убили людей, в том числе и тех, кто сочувствовал их восстанию, но и рабочие Ростова дали им отпор, то и другое записано в Большую историю нашей страны, а я здесь пишу о моих, только моих ощущениях и воспоминаниях, кончающихся в тот день тем, как мы были счастливы, когда вечером (уже горели лампы) в окно постучала условным стуком дорогая маленькая рука в простенькой перчатке и появилась наша

мама с широко открытыми глазами, тяжело дышащая, но живая-здоровая и даже без единой царапины.

Мы ждали рассказов об ужасах, но их не последовало, был только подробный, пожалуй даже слишком, рассказ о том, кто из сослуживцев пришел на работу, а кто не пришел и что говорили в конторе о непришедших управляющий и бухгалтер, два Зевса конторского мирка. Впоследствии, не скоро, вспоминая об этом тихом дне из гудящего ада второй мировой войны, я думала, как с течением времени человеческие войны становятся все лютее и беспощаднее и из явлений хоть и очень несовершенного, но все же человеческого мира переходят в какую-то неподобающую человеку окаянную, инфернальную сферу. На голом поле, при свете небесных светил убил некогда, по преданию, Каин своего брата Авеля, и были они оба при этом, надо полагать, одеты в смиренную одежду тогдашних скотоводов и земледельцев, а нынешнее войско — это целый громадный зверь, оснащенный всякой всячиной ради того, чтоб убивать, и как можно мучительней.

Восстание юнкеров было подавлено, и жизнь потекла так, как до него, с «Цыпленком жареным», с чтением книг, с усиливавшейся дороговизной на базаре, только я уже не ходила в гимназию, а доставала разные учебники и старалась их читать так, чтобы побольше запомнить, так как где-то в глубине души меня все-таки грызло, как же я останусь совсем необразованной и неотесанной.

С тех пор читаю всю жизнь, кое-что с пользой, кое-что просто так, и уж рада-рада, что дети мои получили не только среднее, но и высшее образование.

Что я помню в последующие годы?

Что очень скудно стало с едой. На ужин чаще всего был ломтик черного хлеба, смазанный горчицей. Постепенно исчезало не только все лакомое, но и мало-мальски питательное.

Что в комнатах появились «буржуйки» — железные печурки, а топили не углем, а штыбом — угольной пылью, так как настоящего угля не стало.

Что в жизнь вошла и стала очень важным ее элементом «толкучка», «барахолка», «толчок» — это место называли по-разному.

Пенсию из папиного банка перестали выдавать. Маме стали платить жалованье натурой: как-то раз вместо денег выдали какое-то феноменальное количество пузырьков с валерьяновыми каплями, в другой — тоже что-то в этом роде. Жизненной опорой стала толкучка.

Так как мама стеснялась продавать на народе всякое старье,

да и получалось это у нее, бедняжки, как-то неудачно, неприбыльно, то выходить на толкучку стала я. Как сейчас помню этот пыльный выгон где-то за Сенной площадью, уставленный возами, на которых высоко, на мешках драгоценной муки и кадушках масла, сидели станичные бабы, а кругом кишмя кишел народ: кто продавал брюки, кто пальто, кто какую-нибудь вазочку или старорежимные щипчики для сахара.

На мое усмотрение был предоставлен наш большой допотопный сундук, на котором спала няня. Там были сложены вещи, давно вышедшие из употребления, как, например, старые портьеры, безнадежно испорченные скатерти, платья, вышедшие из моды пятьдесят лет назад, шелковые нижние юбки, мамина темно-зеленая суконная ротонда, подбитая белыми мерлушками, папин фрак и белый жилет к нему, неизвестно чьи шляпы с птицами и султанами и прочее в этом роде. Я отпирала сундук, поднимала тяжелую крышку и высматривала, что же мне продать, на что мы будем жить в ближайшие дни и недели.

Из маминой ротонды решено было сделать мне зимнее пальто, а остальное все ушло на толкучку.

Я была наблюдательной и скоро распознала, что ценит толкучка и что ею отвергается. Поняла также, что главные покупщики — не слоняющийся по толкучке народ со штанами и вазочками в руках, а деревенские бабы, восседающие на возах; и к ним-то я и шла в первую очередь. Никогда я не выходила с какими-нибудь щипчиками, я била наверняка: зеленая плюшевая скатерть в розах, гарусная вязаная накидка для подушек — вот чем могли заинтересоваться мои бабочки, я им это и предлагала. Особенный же успех имели шуршащие нижние юбки ярких цветов, с оборками, вырезанными по краю зубчиками, — у нас таких юбок было много, и все их я выгодно обменяла на муку, сало, подсолнечное масло, не брезгуя и мелкими добавлениями вроде пятка яиц или даже кусочка подсолнечного жмыха («макухи», как называли жмых в Ростове).

Одну такую юбку, красную, я описала в романе «Времена года», вобравшем вообще много деталей моей бедолажной жизни. Была, была на самом деле такая юбка, она взвивалась в моих руках, как победное знамя, когда я шла с нею между возами, и со всех возов тянулись ко мне здоровенные загорелые руки станичных молодиц, жаждавших заполучить себе эту красоту. Что-то очень прибыльно я ее обменяла на живительные продукты и много добра принесла в кошелке домой.

Когда же случалось отдавать что-либо за деньги, я тут же покупала продукты в базарных рядах и опять-таки возвращалась к своим не с пустыми руками.

Вот так и жили, кормясь от старого сундука.

Помню, как весной 1918 года в Ростов пришли немцы. Жители собирались в тот день кучками и глазели на небо, где по временам с урчанием пролетал аэроплан. Впервые тогда я увидела эту машину и услышала грозно-пророческое ее урчание. А затем не стало в Ростове коммуны и возникли новые слова, упоминавшиеся так же часто, как перед тем «Цыпленок жареный», то были слова: «белая гвардия», «белогвардеец», «контрреволюция».

Появилась новая песня «Яблочко», еще более популярная, чем «Цыпленок». Куда ни пойдешь: на улицу, в лавочку, в кинематограф — везде пели:

Ой, яблочко,
Куда котишься,
В Ростов попадешь
Не воротишься.

Нам с братишкой эту песню почему-то запретили петь, мы по-прежнему пели только старые детские песенки из сборника, лежавшего у нас в доме на рояле чуть ли не с моего рождения.

18. «Поклардаш»

Однажды я подружилась с девочкой лет пятнадцати и впервые услышала от нее загадочное слово «Поклардаш».

— Как? — сказала она удивленно. — Ты ничего не знаешь о Поклардаше? Это означает — поклонение артисту Дашковскому. — И разъяснила, что этот Дашковский — тенор, поет в оперетте и что его почитательницы организовали целое общество или кружок, задача которого — служить артисту Дашковскому и украшать его жизнь.

— Ты тоже непременно должна вступить, — сказала Ната.

Я ни разу еще не была в оперетте и никогда не видела Дашковского и не имела никакого желания вступать в это общество, самая задача которого сразу показалась мне дурацкой. Но Ната вскоре натравила на меня Лену В.

Вероятно, описывая в «Сентиментальном романе» поэтессу Тамару Меджидову, я где-то в уме держала Лену, хоть Лена и не писала стихов. Единственное, чего хотела Лена, это во что бы то ни стало выглядеть оригинальной и ни в чем, сохрани бог, не походить на обыкновенных девочек. Она носила очень яркие платья и на шее длинные янтарные бусы, на конце их болтался какой-то китайский божок, ударявший Лену по коленям, когда она шла. Она не признавала ни наших книг, ни наших развлечений. Она читала неизвестно кем сочиненные приторные стишки, ходившие в списках по рукам, а других стихов просто не признавала. Ей, впрочем, нравилась моя начитанность, она даже сказала как-то:

— Из тебя еще выйдет толк, хотя тебя и вырастили таким комнатным растением.

О «Поклардаше» она заговорила сразу и горячо, — она, оказывается, и была его создательницей.

— Ты ничего подобного не видела, — говорила она. — Это такой человек, такой человек!

Я продолжала отрицать «Поклардаш», но на два деяния ей все-таки удалось меня подбить. «Поклардаш» по какому-то поводу решил преподнести подарок тенору Дашковскому и его жене. Подарок делался в складчину, и, по настоянию Лены, я, к теперешнему стыду моему, выпросила у мамы какую-то мелочь, якобы на книги. Помнится, были поднесены два одеяла, которые нашему дому несомненно были нужнее, чем Дашковскому.

Второе, на что подбила меня Лена, — это посмотреть Дашковского.

Она зашла за мной в воскресное утро и повела на «Продавца

птиц» в Асмоловский театр. Это довольно просторное и хорошо содержавшееся здание служило у нас в городе и для драмы, и для оперетты. Построил его фабрикант Асмолов, и потому театр звался Асмоловским. В нем-то и подвизался несравненный Дашковский, ради которого ростовские девчонки складывали свои полтинники и пятачки, чтобы украсить его жизнь.

Как я себя похвалила за свою неуступчивость, когда увидела его на сцене! Много лет минуло, и я не хотела бы обидеть человека, о котором, в сущности, ничего не знаю, кроме того, что он своим голосом и наружностью снискал себе столь горячих поклонниц, но не могу не сказать, что не заметила в нем ничего достойного поклонения.

Что из того, что у него был приятный тенор, это был ведь самый обыкновенный тенор, студент Степа Айвазов пел не хуже под аккомпанемент бабушки Надежды Николаевны. Наружность же артиста была еще менее выдающейся, чем его голос. Это был вполне заурядный, хоть и довольно-таки смазливый брюнет в розовом трико и опереточных мишурных цацках. Я смотрела и думала, что, вздумай Лена почитать ему, например, Бальмонта, которым мы тогда увлекались, он скорей всего ничего не понял бы. Мне показалось, что его жена-примадонна вполне ему под стать, и мне даже обидно стало, помню, за Лену, Нату и всех этих глупышек, обожавших его. Глупышки эти сидели вокруг меня всем скопом — справа, слева, впереди и сзади — и хлопали Дашковскому так, что сотрясался зал.

— Что же ты не хлопаешь, — шептала мне Лена, — ну похлопай хоть немножко, а то неудобно.

Но мне, напротив, неудобным казалось именно хлопать, и я упрямилась до конца. Хотя девчонки не переставали меня уговаривать и долго после этого спектакля приставали ко мне с вопросами, почему, собственно, я не хочу к ним присоединиться, я не могла найти слов, чтобы объяснить им это, кроме слов «глупо» и «стыдно», и они меня считали глупой и косной и стыдили за это.

19. Как у нас говорили

Как почти во всех южных городах, в Ростове моего отрочества говорили не особенно правильно. Пусть не столь эксцентрично, как, например, в Одессе, но все-таки с большими искажениями и вольностями.

Помню, как потешался мой первый муж, когда бабушка Надежда Николаевна однажды сказала мне при нем: «Подбрось печку и поставь воду на голову». По-русски это бредовая бессмыслица, а по-ростовски означало: «Добавь угля в печку и согрей воду для мытья головы». Водой из ростовского водопровода нельзя было мыть волосы: она была очень жесткая, для мытья головы собирали дождевую, подставляя кадушку под водосточную трубу.

Помимо таких стихийно зарождавшихся языковых вольностей, в речи того времени были слова, происшедшие от тогдашних понятий и событий, уже следующему за мною поколению непонятные.

Так, например, женщина, имевшая многих поклонников, называлась «львицей», кража казенных сумм именовалась «панамой» — в связи с событиями при строительстве Панамского канала. Участь океанского парохода «Титаник», погибшего при столкновении с айсбергом, долгие годы жила в памяти ростовчан, при каждой вести о крупной катастрофе говорили: «Повторяется история „Титаника“», как бы заявляя этими словами претензию на причастность Ростова к большому миру и его судьбам. Да, в сущности, претензия эта была справедлива, так как Ростов активно старался не отставать от хода истории, он всем интересовался и на все откликался, его фабрики и заводы вошли в историю революционного движения, он следовал моде не только в одежде, но и в литературе, и в спорте, и в воспитании юношества. А если речь его жителей порой отклонялась от грамматических канонов, то, повторяю, для южных городов это было почти законом, ведь сколько в них смешивалось «племен, наречий, состояний». И это издревле, ибо с незапамятных времен устье Дона было вместилищем разных народов. По нашей степи, поросшей бессмертником и чебрецом, проходили хазары, печенеги, должно быть, еще авары; судя по историческим указаниям, на месте Ростова находилась хазарская Белая Важа, взятая Святославом. Мудрено ли, что каждое племя оставляло здесь свои словечки и обороты.

И в то же время в семьях, вкусивших от просвещения, говорили, помню, нарочито чисто и правильно, именно как бы в

пику стихийно сложившемуся искаженному говору. Мне приказывали читать вслух и Священное писание, и светские книги и тщательно поправляли мое произношение, указывали правильные ударения, объясняли непонятные слова.

Я уже говорила, что бабушка Александра Ильинична наизусть знала Некрасова, она и в жизни любила употреблять его слова и обороты. Очень хорошо они с бабушкой Надеждой Николаевной называли друг друга: «сватья Наденька» и «сватья Сашенька», а меня она называла не внучкой, а внукой по-старинному.

Помню, когда у нас в семье поздравляли кого-нибудь с новой одеждой новым платьем или пальто, то непременно добавляли пожелание: «Из этого да в лучшее» — пожелание, вероятно, тоже очень старинное.

Своеобычной и чужеродной струей входит в эти мои воспоминания речь нашей няни Марии Алексеевны. Выросшая в иной среде, приехавшая на наш юг из Тульской губернии, она принесла в семью иные словечки, иную грамматику, какие-то нигде мною больше не слыханные стишки и прибаутки. Она была и грубовата на язык, то и дело, справедливо или несправедливо, отпустит, бывало, и бранное словцо. Но ни ко мне, ни к брату Леничке эти слова как-то не прививались, неведомо по какой причине, скорей всего по стыдливости: мы ненавидели грубые слова, самым бранным — собственно, единственно бранным — было в наших устах слово «дурак». Помню, как я была однажды не на шутку шокирована, даже оскорблена, прочитав в одном атласе подпись «орел-стервятник», мне показалось невозможным, что книга так гадко ругается.

Сказок няня нам не рассказывала, напротив, мы ей читали по ее желанию сказки, как и другие наши книжки, а рассказывала она нам о лесах, которых мы никогда не видели, о том, как хорошо собирать в этих лесах ягоды, грибы и ландыши. Однажды она съездила в свои края и привезла нам гостинец варенье из лесной земляники в крохотных глиняных горшочках, мне показалось — никогда я не ела такого вкусного варенья. А больше всего няня говорила нам о святых мучениках и угодниках, о царствии небесном. И в то же время она нас угощала такими, например, пошлыми, ни к селу ни к городу не идущими и неизвестно где ею подхваченными стихотворными цитатами:

Говорила ему я:
Не ешь ягод, Илия.
Но не слушался
И обкушался,
Вот и помер, как свинья.

Или:

Господин
Сковородин,
По батюшке Шлепкин.

Так я до конца жизни и не поняла, для чего эта набожная старушка, искренне нас любившая, читала нам эти бездарные и бессмысленные стишата. Но, странная игра памяти, стоит мне вспомнить няню, я тотчас вспоминаю и господина Сковородина, и злосчастного Илию, умершего, как свинья, от обжорства. Надо ли говорить, что никогда больше я с этими личностями не соприкасалась. Впоследствии, более чем через полвека, старенькая маникюрша рассказала мне, что про этого Илию ей читали в детстве, — стало быть, была такая книжка?

— Верка, — говорила няня, — засвети лампадку господу, завтра праздник.

И я зажигала лампадку.

— Как стоишь, — говорила она в церкви, — руки раскорячила, повесь долу, как святые отцы велят.

И я вешала руки долу.

20. Володя Филов

Мы жили тогда в доме № 5-б по 1-й линии. Когда собирались гости, бабушка Надежда Николаевна садилась к роялю и играла. Она знала множество вальсов, полек, кадрилей и была прекрасным аккомпаниатором, под ее музыку нередко танцевали в нашем маленьком «зале».

Пела мама, обладавшая прелестным меццо-сопрано, пел арии из вагнеровских опер студент Степа Айвазов, пели очень музыкальные брат и сестра Даничевы — Степа и Маруся.

Иногда, правда редко, пел дядя Саша, муж тети Лили, у него был комический эстрадный репертуар, и аккомпанировала ему всегда тетя Лиля. Некоторые вещи, которые пела мама, мне потом уже никогда больше не попадались, я их помню только в ее исполнении. Я помню ее голос, то грудной, то вспыхивающий светлым каким-то всплеском, и больно мне, больно, что ее нет, что жизнь прожита, что уже ничего не вернуть, даже на секунду.

Я не помню, чей это был романс, который она пела:

В темном зале сейчас только плакал рояль,
Кто-то пел про весну, про любовь и печаль.

И ни у кого, кроме нее, не слышала «Индусской песни» — «Брама, бог правоверных, царь городов священных…», но эти мелодии, напетые ее голосом, буду помнить до последнего конца.

В это время у нас стал бывать Володя Филов.

Неподалеку от нас жила дальняя наша родственница Надежда Николаевна Филова. После смерти мужа (не знаю, кем он был) она купила небольшой дом на углу 3-й линии и Георгиевской улицы и открыла магазин аптекарских товаров. В этом магазине она торговала патентованными лекарствами и парфюмерией, и много там было таких же коробочек, баночек и флакончиков, какие приносила от своего Лемме мама.

У Филовой было четыре сына: Николай, недурно рисовавший, Александр, рвавшийся на сцену, Виктор и Владимир. Эти последние два сыграли в моей судьбе большую роль, особенно Владимир.

Когда он стал к нам ходить, ему было девятнадцать лет, мне одиннадцать. Это была громадная разница, и к общению со мной он снисходил только потому, что я писала стихи. Он сам их писал, и все его окружение писало, а в этом окружении была Сусанна Мар, и была Нина Грацианская, и был Георгий Шторм;

все они позже стали писателями.

Володины стихи были плохи, немногим лучше моих, но не в этом дело.

От него я услышала, что необязательно аккуратно посещать гимназию и слушаться старших. Я услышала, что непослушание лучше, чем послушание, достойнее. Тихой мещанской девочке, старательно делавшей реверанс перед взрослыми, такие бунтарские мысли не приходили в голову, хотя она уже читала Писарева и была знакома с Евгением Базаровым и Марком Волоховым.

Очевидно, нужно было, чтобы все эти бунтарские слова произнес живой голос. И Володя Филов их произнес. Со своими друзьями он издавал рукописный журнал «Юная мысль». Он поместил в этом журнале какой-то мой стишок. Я была счастлива, только обиделась на то, что под стишком было подписано: «Верочка Панова, ученица 1-го класса», — в упоминании о 1-м классе мне почудилась дискриминация.

Володя был очень похож на свою мать, такой же, как она, белолицый и полный, с пухлыми руками и маленьким ртом. Он ходил в черной тужурке с обтрепанными рукавами. Поступил в Ростовский университет, мечтал о литературе, знал наизусть множество стихов. От него я впервые услышала слова: «ничевок», «имажинист» и имя Велемир Хлебников. Володя восхищался Хлебниковым, а позднее — Сергеем Есениным. Мы перебирали имена поэтов и строчки стихов, сидя в маминой комнате перед жарко натопленной печкой. Мы пекли каштаны в горячих угольях, каштаны, лопаясь, громко стреляли, вкусны они были (или казались) необыкновенно.

Володю Филова я описала в «Сентиментальном романе» под именем Мишки Гордиенко, он же — журналист Вадим Железный.

21. Мне четырнадцать лет

Это, стало быть, 1919 год. Я вытянулась и поздоровела, полюбила бегать на «гигантских шагах» и плавать на байдарке, у меня выросли порядочные косички, на конце каждой — длинный, трубочкой, локон, и я переживаю свой первый роман.

Не первую любовь — влюблялась я и раньше. Лет в семь влюбилась в красивого мальчика Васю Петрова, несколько месяцев подряд была влюблена в некрасивого мальчика Андрюшу Кочеткова. Но первый роман переживаю жарким летом 1919 года.

Это несомненно (для меня) настоящий роман, так как он, этот Коля Ф., не только качает меня на качелях и катает на своем велосипеде, усадив на велосипедную раму перед собой, и не только пишет мне записочки симпатическими чернилами (вероятно, попросту молоком), которые (записочки) надо подержать над лампой, и тогда проступают слова, — помимо всего этого Коля Ф. еще сделал себе на руке татуировку: большая репа проткнута стрелой, а под репой мои инициалы, и сестры дразнят его мною.

Старшая его сестра замужем за папиным сослуживцем, теперь директором завода «Красный Аксай». А Коля Ф. приехал к ним погостить, и мы подружились на базе качелей, «гигантских шагов», крокета и байдарок.

Еще весной этого года дядя Сережа велел мне сесть в байдарку, подал мне весло и сказал: «Греби». И, о диво, я стала грести. Байдарку он мне подарил, она стала моя собственная, и я очень этим гордилась. А Коля брал яхт-клубскую байдарку, и мы плыли вниз по Дону рядом, иногда держась за руки.

Не было в этом романе ничего, чего можно бы устыдиться, была река, и небо, и некоторое красование друг перед дружкой, кто лучше гребет, кто одним ударом молотка проведет крокетный шар через две первые дужки и через «мышеловку», был горячий чистый песок, по которому так хорошо идти босыми ногами, да какие-то кустарники с узенькими темными листиками и некрасивыми лиловато-серенькими цветочками, похожими на цветки картофеля, да особенный, очень свежий запах речной воды, когда ты сидишь в байдарке так близко от веселых бегущих струй.

В то лето, едва позавтракав, мы с Леней шли в нахичеванский яхт-клуб (впервые мама нам разрешала уходить одним так далеко от дома). Шли сперва по улицам, мощенным булыжником, потом по деревянному мосту. Издалека виднелась белая ротонда яхт-клуба с большим балконом, подпертым деревянными столбиками,

часто на этой террасе уже ждал Коля Ф. и махал нам своей гимназической фуражкой. Под балконом стояли байдарки и весла, на балконе — плетеная мебель, а в первой комнате прежде висел точно такой же, как у нас дома, портрет моего отца — основателя клуба. В 1919 году портрета уже не было, почему-то после революции его сняли, — может быть, сочли отца буржуем, не знаю. Маму это огорчало, нам же, детям, было все равно, у нас в яхт-клубе было много радостей — «гигантские шаги», песок, крокет, байдарки, дружба с Колей Ф., встречи с милым дядей Сережей, который тоже приезжал сюда каждый день.

Он все собирался научить меня плавать, но так и не научил, тут я оказалась совершенно бездарной, всю жизнь плавала как топор. Брат же Леня как-то научился у Коли и других мальчишек и находил в плавании много радости.

Иногда дядя Сережа поручал нам половить вокруг яхт-клуба бабочек для его коллекции. Мы приносили из дому сачок и раза три-четыре даже что-то поймали этим сачком, но всегда оказывалось, что это «что-то» у дяди Сережи уже есть. У него была очень хорошая коллекция, он обменивался бабочками с коллекционерами разных стран, помню в одном из его застекленных ящиков одну особенно поразившую меня тропическую бабочку — крылья у нее были длинные, заостренные книзу, белые, с перламутрово-зеленоватым отливом, и она была похожа на ангелов, как их рисовали в «Задушевном слове».

Я всегда была переимчива, как обезьяна, и мне загорелось и самой собирать коллекцию бабочек. Дядя Сережа подарил мне сачок (зеленый марлевый мешочек на неоструганной деревянной палке) и станочек, на котором пойманных бабочек расправляют и сушат, он давал мне читать книги по энтомологии и показывал всякую всячину под микроскопом, но у меня с коллекцией ничего не вышло, показалось скучно, увлечение угасло очень скоро. Несколько позже я так же зажглась собиранием почтовых марок и так же быстро охладела к этому занятию, вообще я, видимо, не коллекционер по самому складу характера, чего-то во мне для этого недостает, прежде всего — терпения. Но так или иначе недолгие мои занятия энтомологией доставили мне большое удовольствие, и я прекрасно понимаю увлечение бабочками у С. Т. Аксакова и В. Набокова, понимаю, что это может овладеть человеком и сделаться хобби всей жизни.

Вот такое было это лето 1919 года — юное, светлое, бодрящее.

Каждый день мы виделись с Колей Ф. в яхт-клубе, и, несмотря на это, он постоянно писал мне записочки, свидетельствовавшие как о его чувствах, так и о малой

изобретательности, ибо на всех записочках повторялась все та же проткнутая стрелой репа, а каплющая из раны кровь была изображена красными чернилами. Но мне было четырнадцать лет, и все это, в том числе красные чернила, нравилось мне чрезвычайно и казалось прекрасной экстраординарностью.

И вот прошло сорок пять лет… Прошло сорок пять лет, мне, стало быть, было пятьдесят девять, я жила в Коктебеле. Дверь моей комнаты выходила на лестничную площадку, на площадке было окно. Как-то утром я вышла на эту площадку, смотрю — на подоконнике лежит письмо. На конверте надписано: «Вере Федоровне Пановой», почерк незнакомый. Я унесла письмо к себе в комнату, прочла и поняла, что это пишет тот самый Коля Ф., только уж, конечно, никаких стрел и прочего, просто приехал в эти края, узнал, что я тут, и просит к шести часам вечера выйти за калитку сада, чтобы повидаться.

Мне стало не по себе — ведь сорок пять лет!.. Моя приятельница Туся Разумовская тоже сказала:

— Вера, нельзя встречаться, вы просто друг друга не узнаете.

Но я все же вышла к шести часам того дня за калитку, к морю, и когда пошел мне навстречу долговязый человек с сильной сединой в волосах — я, представьте, узнала в нем того гимназиста. Да, этот человек был стар, но если отбросить седину и морщины, то черты остались, в сущности, те же, через сорок пять лет они были те же, и я сказала храбро:

— Здравствуйте, Николай Викторович.

Он стал художником-иллюстратором, работал в книжных издательствах, жил в Москве. Через полгода, в мое шестидесятилетие, прислал мне по почте громадную коробку шоколадных конфет, я поблагодарила телеграммой. Больше мы не встречались и не писали друг другу.

Роман же 1919 года окончился тем, что родители вызвали Колю Ф. обратно в Грозный — продолжать учение.

Вот и вся история моего первого романа. Если нет в нем ничего ослепительно прекрасного, то нет ничего и темного — ни крупинки, — и потому я вспомнила о нем легко и без печали.

22. Трудная зима

После этого радостного лета была долгая трудная зима. Она началась для нас болезнями и невзгодами. Сундук как источник доходов был исчерпан, пришел настоящий голод, когда пшенная каша или вареная картошка кажутся пиршеством, а такие вещи, как масло и сахар, вообще — небывальщина. Вместо сахара на стол подавали крошечные таблетки сахарина. Бросишь таблетку в чай — со дна чашки поднимется белесый, как бы мыльный столбик и вспухнет на поверхности чая белой шляпкой, а чай станет горьким и противным.

Мама заболела сыпным тифом, а я так называемой «испанкой» — тогдашнее название гриппа. «Испанка» страшна была своими осложнениями. В моем случае осложнение было очень странное — у меня началась цинга: изъязвились десны, стали выпадать зубы. Думаю, тут сказалось то, что нам с детства давали мало свежих фруктов и овощей.

Наша детская находилась рядом с маминой комнатой. Няня и бабушка печально переходили от одной больной к другой.

Подошло рождество. Грустно оно подходило — никаких приготовлений к елке, ни нового платья, ни разговоров о подарках. В самый канун сочельника стали раздаваться взрывы снарядов — к Ростову приближалась армия Буденного.

Уже был разрушен тот дом на Таганрогском, позднее на Буденновском проспекте, что описан в «Сентиментальном романе» как дом Хацкера, на самом деле то был дом Рацкера и Хосудовского, в нем помещался белогвардейский штаб.

Среди замыслов, которые мне не удалось пока осуществить, осталась пьеса «Рождество 1920 года», где я хотела написать приход буденновской армии в Ростов.

К звукам канонады мы уже тогда были привычны, она нас не пугала. Няня уверяла, что больных красные не тронут и что она, няня, все устроит хорошо. Взрослые, кажется, побаивались неизвестности, а мы с Леничкой беззаветно верили няне и не боялись ничего.

Я не помню, какое это было число, когда няня вошла и сказала:

— У нас конные во дворе.

Потом несколько красноармейцев поселилось у нас. Они заняли кухню и нянину комнатку за кухней — там было теплей всего. В наши комнаты они не заходили, боясь заразиться. Они принесли няне мешок муки, мешок пшена и тушу говядины и сказали ей так:

— Вот, бабка. Ешь сама и корми своих, но чтоб и мы были сыты.

Няня стала печь нам замечательные белые хлебы (для мамы из этого хлеба делались сухарики), варить мясные супы и пшенную кашу. Конечно, и буденовцы были сыты.

Еще через сколько-то дней няня положила на мою кровать какие-то свертки и сказала:

— Это тебе ребяты подарки прислали.

В свертках оказалось несколько стоп превосходной писчей бумаги, множество отличнейших карандашей и несколько коробок столь же превосходных резинок — серовато-зеленых, на каждой резинке изображен слон. Няня сказала им, что вот девочка все что-то пишет, и они велели это все отдать ей, то есть мне, «сами-то мы, говорят, не больно много пишем».

Бумага была чуть шероховатая, поглядеть на свет — с какими-то вензелями. Мне ее хватило надолго, так же как и карандашей и резинок. Не помню, сколько времени простояли у нас буденовцы. Они ушли, а спустя какое-то время белые на несколько дней ворвались в Ростов и наделали много кровавых бед.

Потом снова вернулась Красная Армия.

Постепенно мы с мамой выздоровели, и жизнь пошла по-прежнему. Только стала она голодной, и голод все возрастал. Няня жаловалась, что все вздорожало, ни к чему не приступишься. Что хлеба не хватает. Что нищие просят уже не на кусочек хлеба, а на кусочек макухи, то есть подсолнечного жмыха.

Начав выходить, я сама увидела этих нищих. То были трое ребятишек, два мальчика и девочка. Стоя в ряд, они протягивали к прохожим грязные ручонки и жалостно тянули:

— Подайте копеечку на кусочек макухи.

Сколько прошло лет, целая жизнь прошла, целая вечность, а я так и вижу эти руки и слышу эти голоса.

Макухи есть нам не пришлось. Но вместо обеда или ужина ломтик ржаного хлеба, смазанный горчицей, — это случалось часто.

Думаю, что уже тогда мое здоровье начало расшатываться. Стало покалывать в сердце, врач нашел невроз.

Леничка тоже заболел испанкой, по ночам тяжело бредил, но у него в тот раз болезнь не разыгралась.

Наконец прошла эта трудная зима. Но еще более трудная началась весна.

Нас уплотнили. В няниной комнатке за кухней поселилась Н. Н. Филова, Володина мать, а в комнаты, выходившие на улицу,

была вселена семья инженера, бежавшая на юг от питерского голода. Мама сначала говорила:

— Ну, ничего, ведь они люди интеллигентные, он же инженер.

Но очень скоро она поняла, что звание инженера еще не делает человека интеллигентным. Мы познали все ужасы и безобразия совместного житья. Интеллигентные люди даже завладели нашей мебелью. Конечно, большую роль в этом сыграла мамина кротость и беззащитность.

И тут еще нас покинула няня. Прожив с нами пятнадцать лет, она перешла жить к своей дочери, чтобы нянчить ее детей, которых было к тому времени уже что-то очень много. Причина уважительная, и у нас не было ни моральных, ни материальных возможностей удержать няню.

Мы все трудно привыкали обходиться без ее постоянной заботы. Но трудней всех пришлось мне.

Увы, я ничего не умела. А на меня легло все хозяйство.

Первое время было еще ничего: мы брали обед в районной столовой. Там давали всегда одно и то же: серенький супчик с крупой и серую кашу, так называемую «шрапнель», с кусочками красноватой солонины. Это были даже не кусочки, а хлопья, волокна, но тогда казалось, что оно и вкусно и сытно.

Корм этот отпускался по какой-то норме, в количествах незначительных. Но так как столовой заведовала наша родственница Н. Н. Филова, жившая с нами, то мне выдавалась очень приличная порция и супа, и каши.

Дома я все это разогревала и заправляла поджаренным луком, и мы, в общем, бывали сыты.

Н. Н. Филову устроил на эту должность ее сын Виктор Григорьевич Филов, о котором речь впереди. Он вообще устроил всех своих родственников, включая меня, доводившуюся ему какой-то десятой водой на киселе. Брат Володя — о нем я уже говорила — работал у него в газете фельетонистом, старший брат Николай — художником. Брат Александр с его помощью осуществил свою мечту — стал актером, поступил в театр. Некоторые люди называли это кумовством и осуждали Виктора Григорьевича, но я понимала, что иначе быть не могло. Вы подумайте: в свое время Н. Н. Филова осталась без мужа с четырьмя сыновьями мал мала меньше. Мальчишки росли в нужде, все вместе. Пальтишко со старшего переходило на второго, со второго на третьего, последним донашивал его самый младший — Володя. То же происходило со штанами, с бельем, с учебниками. И когда наконец они выросли и один из них оказался в состоянии дать остальным место в жизни и

заработок, — мог ли он этого не сделать? Мог ли не помочь матери, которая стала к тому времени седой и больной? По-моему, не мог. По-моему, иначе было бы не по-людски.

Но нет на свете ничего неизменного. Не вечно было и наше шрапнельное благоденствие. То ли Н. Н. Филова ушла с работы в столовой, то ли столовую закрыли, уж не помню. Но явилась необходимость самой покупать продовольствие и стряпать.

А на какие шиши покупать? Все было безумно дорого, а денег не было.

Помаленьку я научилась и стряпать, учила меня Н. Н. Филова, великая мастерица этого дела. Но я, увы, мастерицей не стала.

Не научилась и стирать хорошо. При няне ходила к нам стирать ее приятельница Кузьминична, торговавшая семечками у нас на углу. Ни маме, ни мне стирать не приходилось. Не стало няни — почему-то перестала приходить и Кузьминична.

Пришлось самой взяться за стирку.

В квартире у нас был водопровод, было где согреть воду, не было одного: не было у меня силенок. Особенно донимали меня два вязаных покрывала. Они были связаны из толстых бумажных ниток и состояли из квадратов, сплошь усаженных шишечками величиной с лесной орех. Бывало, намочишь эту штуку в корыте — и не повернуть ее, не то что выстирать. А уж хуже всего отжимать: стараешься-стараешься — ничего не выходит, только проклятые шишки врезаются в ладони. Но — стирала. Плакала, а стирала.

Не надо думать, что кто-нибудь меня к этому принуждал. Не заикались даже. Просто сама уже понимала, что время сделать стирку, что как это мне ни трудно, а все же легче, чем маме или бабушке.

Единственное, в чем я их винила, это в том, что не научили меня этому раньше, не приучили с малых лет. Я потом встречала женщин, у которых не было этого изъяна в воспитании, и всегда им завидовала. Женщин, для которых ничего не стоило вымыть полы во всей квартире, натаскать воды из колодца, перестирать белье, вскопать огород. В частности, попались мне женщины, воспитывавшиеся в институтах так называемых благородных девиц, и что же: эти благородные, эти бывшие дворянки умели и стирать, и готовить, и шить, и штопать. И я думаю, что это единственно правильное воспитание для детей всех слоев общества и всех времен.

Вот так-то днем я теперь работала по хозяйству, а по вечерам играла в азартные игры.

Как это возникло? У нас в доме и прежде иногда играли в

карты: то преферанс составлялся, то винт. Играли и мама, и бабушка Надежда Николаевна, и дядя Володя. С нами, детьми, тоже играли в разные невинные игры — в «свои козыри», «акульку» (она же «ведьма»), «подкидного дурака», «комбинацию». Азартные же игры возникли после того, как нас «уплотнили».

Сначала стали играть на деньги в лото. Вошли во вкус — явилось «очко». А когда поселилась в нашей квартире Н. Н. Филова, то стали играть в «девятку» и в «макао», а как-то раз кто-то даже принес настоящую рулетку.

Н. Н. Филова жила, как я уже говорила, в маленькой комнатке за кухней. Днем это была обыкновенная старушечья келейка с горкой подушек на кровати, с лампадкой перед образом, по вечерам же она превращалась в форменный игорный дом: всю середину ее занимал раскрытый ломберный стол, на зеленом сукне лентой растягивалась так называемая «талия», выливаясь из специальной деревянной колодки, кучками лежали деньги, кругом сидели игроки. Чуть начинало смеркаться, через двор и террасу начинали входить в дом какие-то люди — они назывались «партнеры». Мама спрашивала:

— Тетя Надя, есть сегодня партнеры?

— Да собираются помаленьку, — отвечала Н. Н. Филова.

Начинался вечер обычно с преферанса, и я обучилась этой игре, наблюдая ее. А потом кто-нибудь говорил: «Метнем», — и начинался азарт. Особенно любили его сама Н. Н. Филова и моя бедная мама, теперь-то я понимаю, что этим женщинам, состарившимся во вдовстве, азартные игры служили некой разрядкой, эрзацем, называйте как хотите. Игра шла всю ночь и частенько продолжалась на другой день, и мама иногда шла на службу, так и не сомкнув глаз ни на минуту, и потом говорила, как она научилась спать на работе: иногда даже стоя, выйдя в коридор, и будто ей довольно поспать минуту-другую, чтобы сонливость прошла и она бы почувствовала себя совершенно бодрой и работоспособной. Возможно. Но что она таким образом вдребезги расшатывала свое здоровье — это несомненно. А впрочем, чем еще мы, в сущности, занимаемся в жизни, как не расшатыванием своего здоровья?

Где-то в это время в доме появляется новый член семьи — Анна Васильевна, жена дяди Володи.

Я забыла написать, что в 1915 году бабушка Надежда Николаевна ездила в Петроград повидаться с сыном. Ей очень понравилось в столице, она рассказывала о постановке оперы «Черевички» в Народном доме, о том, что дядя Володя бывает у очень знатных и богатых людей и что у него есть шанс очень хорошо жениться. Она давала понять, что этот «шанс» —

прекрасно устроенная молодая вдова, которая в дяде Володе души не чает, что у нее много драгоценностей, и бабушка с мамой часто стали шептаться — очевидно, на эту тему. Вообще дядя Володя и его всевозможные «шансы» всегда были предметом упований бедной бабушки Надежды Николаевны, упований, увы, так никогда и не реализовавшихся. Но на прекрасно устроенной вдове он все-таки женился, как хотели они все трое.

Поженившись, дядя Володя и его жена переехали из Петрограда в Витебск, убегая от голода, а затем решили податься в Ростов. Не знаю, что поманило туда ее, дядя же Володя возымел очередную фантазию, что в Ростове он будет преподавать итальянский язык. Не знаю, знал ли он сам этот язык, знаю лишь, что такова была фантазия. На моей памяти он несколько раз в Ростове поступал на службу, но нигде не оставался сколько-нибудь длительное время, нигде не прививался, будь то государственное учреждение или частная артель нэповских времен. Не уверена, что он был бездельником, как когда-то уверяла няня, не уверена также, что он был неудачником, думаю, что ему вредило крайнее легкомыслие, доходившее до какой-то пустоголовости, безалаберности, безответственности и, должно быть, его пристрастие дразнить людей и давать им обидные клички, ведь даже при этих своих мимолетных вылазках в трудовую жизнь он ухитрялся всем, с кем соприкасался, дать обидные характеристики и прозвища и даже нам, детям, их сообщить, а зачем? Какое удовлетворение это ему давало? Или в этом проявлялся комплекс неполноценности? Интересно, что эти характеристики и клички никогда не были остроумны, а только нарочито грубы и даже противны.

А вот Анна Васильевна, его жена, понравилась нам всем сразу. Она была несравненно умнее, тактичнее, обходительнее, чем дядя Володя, — это видно было сразу. Она даже иногда острила очень славно. И мы нисколько не протестовали внутренне, когда она, приехав, поселилась у нас вместе с дядей Володей. Правда, пожили они недолго — сняли где-то комнату и стали жить отдельно.

Я только сердилась и огорчалась, что дядя Володя нехорошо поступает с тетей Аней и что бабушка и мама ему это позволяют.

Сразу же, едва она приехала в Ростов, он заложил куда-то (уж не помню, в ломбард или частному лицу) все ее драгоценности, и они погибли в закладе, так как он их не выкупил в срок. Он оправдывался тем, что откуда же ему было взять денег на выкуп, но так как с самого начала было ясно, что этих денег взять будет неоткуда, то я считала, что он не имел права закладывать тети Анины вещи. И бесстыдно дурацкая его отговорка, что ведь уж

сколько раз так закладывали, а потом как-то находили деньги на выкуп, не убеждала меня, я только дивилась и на него, и на благоговейно слушавшую его бабушку. Впрочем, и Анна Васильевна к нему относилась с каким-то благоговейным обожанием, что-то, стало быть, было же в нем, чего мои глаза не видели и что заставляло почтенных женщин любить его и верить ему. Я до сих пор могу вполне понять причины такого моего отталкивания от дяди Володи, я не принимала его всего целиком, а ведь я была в общем-то существо добродушное и привязчивое, при всей своей вспыльчивости. Но с дядей Володей я даже не взрывалась, а именно отталкивалась — целиком и полностью и на сто процентов, как тогда принято было говорить.

Анна Васильевна была дочерью полкового священника. Когда отец ее умер, ее мать, попадья, бывшая очень красивой, вышла замуж за какого-то офицера. Офицер этот оказался из богатой семьи, получил какое-то огромное наследство, и Анна Васильевна и ее братья прожили юность в чрезвычайной роскоши.

Первый муж Анны Васильевны, тоже офицер, был убит в империалистическую войну, и она получала за него крупную пенсию. Но тут в ее жизнь вошел мой дядя Владимир Леонидович, и все пошло прахом: на пенсию после вторичного замужества она потеряла право, драгоценности, подаренные матерью и богатым отчимом, пропали в закладе, и очутилась бедняжка Анна Васильевна в чужом городе, в чужой семье безработной женой безработного, не приспособленного к жизни мужа.

Она приспособлялась как могла. Она стала ежевечерне играть в карты в комнате Н. Н. Филовой, старалась помочь нам в нашем хозяйстве, старалась создать получше условия для своего мужа, Володички, как она его звала, получше его накормить, а для этого таскала на барахолку последние свои вещи. У нее не было никакой специальности, и лишь в 1923 году ей удалось эту специальность получить.

Вышло это так. Мое начальство (тогда это был Юрий Давыдов) вдруг спросило меня: «Нет ли у вас в виду какого-нибудь корректора? У нас все корректора идут в отпуск, нам человек нужен позарез». Я счастливо вспомнила об Анне Васильевне и ответила: «У меня есть корректор», а придя домой, сказала: «Ну, Аннушка (так мы ее называли), извольте быть корректором, а то вы меня подведете». Она сказала: «Да я ведь ничего этого не знаю». Тогда я ей показала все корректурные знаки, какие мне были известны, и она оказалась такой толковой, что на другой же день, отправившись к Давыдову, оказалась полностью на высоте и вскоре была принята корректором в газету

«Советский Юг». Уверена, что, если бы на ее месте был дядя Володя, ни одного бы значка он не запомнил и только придумал бы для Давыдова какую-нибудь оскорбительную кличку или дразнилку. С тех пор наша Аннушка так и работала всю жизнь корректором.

23. Первые заработки

В первый год или полтора платил за меня в гимназию дядя Сережа. Но у него росли свои дети, и, видимо, его возможности иссякли, а мамины возможности были еще скуднее…

И вот я, проучившись в 1-м и 2-м классах, ушла из храма ученья и снова водворилась дома, чтобы вольно читать что хочу, сочинять дурацкие девчоночьи стишата и (так как сложа руки у нас никому сидеть не полагалось) заниматься то тем, то сем, всегда, в сущности, весьма малопродуктивным, — то побренчать гаммы на рояле (хотя на мои музыкальные возможности родные давно махнули рукой), то почистить в кухне морковку, делая вид, что помогаю няне готовить (на самом деле только мешала), то полить цветы на подоконниках. С тех пор, когда в анкетах приходится отвечать на вопрос об образовании, я пишу: самообразование, ибо все то ничтожно малое, что я знаю, я почерпнула из чтения книг, в том числе учебников.

Над чтением моим в доме перестали подшучивать, и читала я беспрестанно: и за едой, и в постели, и во все остальное время. Сама обнаружила, что стала лучше понимать прочитанное — например, очень как-то поняла и приняла «Мертвые души», прежде казавшиеся мне очень скучными и непонятными. Так же по-иному вдруг ощутила и другие книги, читанные в раннем детстве. Мне нравилось сознавать, что я поумнела, и, каюсь, во мне стало развиваться дурацкое самомнение, мне вдруг показалось, что я гораздо умнее моих взрослых — бабушек, теток, дяди Володи, даже мамы, только до дяди Сережи я не чувствовала себя доросшей. Мне казалось, что они не могут понимать так, как я, моих любимых героев — Базарова, Волохова, Писарева, мне казались неумными их суждения, и, не будь у меня этого безумного самообольщения в детстве, думаю, моя жизнь в дальнейшем сложилась бы более правильно и разумно, я не совершила бы многих ошибок и была бы с людьми внимательнее и добрее. Но тут уж ничего не поделаешь, казнись не казнись дела не исправишь. Может быть, будь жив мой отец, он бы не дал мне так задирать нос, прибрал бы к рукам, он был, говорят, крутенек нравом.

Выйдя из гимназии и став вольной птицей, я стала много писать стихов. Не помню ни одного, все это было по-девчоночьи глупо, подражательно и совсем не талантливо. Надо отдать мне все же справедливость — я и тогда это понимала, и когда кто-нибудь, например Володя Филов, хвалил мои стихи, мне это казалось насмешкой, я стыдилась. Уже тогда я поняла, что стихи

надо писать очень хорошо — либо не писать вовсе. И годам к пятнадцати я перестала их писать. Но читать — читать стихи не переставала никогда. Когда, много позже, появились у меня в руках книги таких поэтов, как Пастернак, когда добрейший друг мой Ландсберг учил меня понимать Мандельштама, я была к этому всему уже готова, отнюдь не была серостью, самые трудные стихи воспринимала так же естественно и просто, как воздух и свет. Не знаю, как это достигается, знаю только, что людей, которые это умеют, я угадываю сразу и прилепляюсь к ним сердцем сразу, а люди, для которых это недоступно, для меня чужие, далекие и ненужные, мне с ними нечего делать.

Должно быть, это очень нехорошо. Но зачем я буду кривить душой на этих страничках? А может быть, это и хорошо, может быть, это и есть тот цемент, который скрепляет людей сильней всего? Что мы об этом знаем!

Способность восхищаться одним и тем же — разве она не больше сплачивает людей, чем способность ненавидеть одно и то же?

Не слишком ли много ненависти, не пора ли вернуться к учению любви и восхищения прекрасным?

В сфере прекрасного я знала тогда две вещи: стихи и музыку. Живописи не знала совсем: в Ростове не было картинных галерей, не было и настоящей архитектуры, то и другое я увидела гораздо позже, уже в зрелых годах.

Да, многое не было мне дано своевременно — так уж сложилось, винить в этом некого, мать давала нам все, что могла, и даже больше. Если бы я тогда сознавала это так, как сознаю теперь!

Мне шел пятнадцатый год, когда мне пришло в голову, что я могу зарабатывать деньги, подготавливая маленьких детей к поступлению в школу. Маму эта мысль обрадовала, — уж очень ей, бедняге, трудно было нас тянуть. Имею ли я на это право, окончив два класса гимназии, об этом я не подумала. Велика была тогда моя храбрость, а еще больше — желание быть самостоятельной, не сидеть больше у мамы на шее. Не помню, кто достал мне урок в какой-то небогатой и очень безалаберной семье, где нужно было учить двух детей — мальчика и девочку. Я занималась с ними как могла, добросовестно, стараясь применять методы моих первых учительниц, и мною, кажется, были довольны, и я уже твердо рассчитывала, что оба мои ученика осенью поступят в гимназию вполне достойно, как вдруг в этой семье случилось несчастье.

Как-то прихожу на урок, вхожу в кухню, никогда не запиравшуюся, и слышу доносящиеся откуда-то из комнат вопли

хозяйки дома, матери моих учеников:

— Что мне делать! Ах, что же мне делать!!

Бегу на голос и вижу растерзанную, растрепанную, всю залитую слезами женщину, без передыху твердящую:

— Ах, ну что же, ну что же мне делать?!

— Что случилось? — спрашиваю и слышу в ответ:

— Ох, Вера, Женичка умер! (Женичка — ее сын, мой ученик, которого еще вчера вечером я видела живым и здоровым.)

— Как, отчего?

— Ой, откуда я знаю! Утром встал, ничего не болело, а потом редиски покушал и умер. Ох, берите извозчика, поезжайте за моим братом, а то я тут одна с ума сойду.

Я поехала по данному ею адресу, нашла этого брата, отнесшегося к привезенной мною вести и к зову сестры как-то очень странно, я бы сказала — ожесточенно, и привезла его к несчастной матери. Вскрытие показало, что ребенок погиб, отравившись какими-то рыбными консервами, а вовсе не редиской, конечно, но уроки в этом доме у меня, естественно, прекратились.

Потом братья Филовы устроили меня в редакцию «Трудового Дона», и я на много лет стала журналисткой, газетчицей.

Один из братьев Володи, Виктор Григорьевич Филов, был большевик, подпольщик. Когда белогвардейцев выбили из Ростова, Виктор Филов стал редактором газеты «Трудовой Дон».

Володя стал фельетонистом в этой газете. Он подписывался: «Михаил Вострогин». Он и меня устроил в редакцию: без этой родственной протекции мне, дочери служащей, туда бы не попасть.

— Только возьми какой-нибудь псевдоним, — сказал он. — Филовы, Пановы — уж очень обывательские, бездарные фамилии. Возьми что-нибудь звучное. Смотри, Дина Сквольская подписывается: «Метеор».

— Это, пожалуй, нескромно, — сказала я. — Какой я метеор? А почему ты взял фамилию Вострогин?

— А это, — сказал Володя, — был один крепостной, замученный своим помещиком, он мне явился во сне.

Конечно, Володя это придумал тут же с ходу, чтобы озадачить, он это любил, и ему это ничего не стоило.

Я стала думать, какой же мне взять псевдоним? Почему-то мне хотелось принять фамилию какого-нибудь литератора, уже известную. С детских лет я решила, что буду писательницей, никем другим, только писательницей. Мне представилась подпись «Вера Гаршина», но я тут же подумала, что замахнулась высоковато, и стала ждать, пока подвернется что-нибудь менее

обязывающее.

Оно подвернулось. Кажется, в какой-то книге я встретила фамилию Вельтман. Раньше не знала, что был в прошлом веке такой писатель Александр Федорович Вельтман.

Мне почему-то представилось, что подпись Вера Вельтман будет не мещанской и благозвучной.

Володя одобрил.

— Фонетически хорошо, — сказал он, — что имя и фамилия начинаются слогом «Ве».

Я стала помощницей районного организатора рабкоров по Нахичеванскому району и писала для газеты маленькие корреспонденции о нахичеванских заводах и фабриках, подражая Михаилу Вострогину.

Числилась я за отделом рабочей жизни. Моим шефом был завотделом, добрейший и снисходительнейший Миша Соболь, описанный в «Сентиментальном романе» под именем Акопяна.

Вообще, начало журналистского пути Шурки Севастьянова, героя романа, — это начало моего пути. Редакция «Серпа и молота» — это редакция «Трудового Дона», вплоть до уборщицы Ивановны и до балкона с почерневшей железной решеткой. Люди, с которыми я тогда соприкоснулась, почти все описаны в «Сентиментальном романе». Редактор Дробышев — это Виктор Филов.

В противоположность Соболю и Вострогину, которые были довольны моей работой, Виктор Григорьевич меня не очень долюбливал. Я, девчонка, осмелилась с ним поспорить по вопросу о выборности рабкоров.

Немногие помнят сейчас, что зачастую в те времена рабкоры были не добровольные, а выборные: выбирались на собраниях так же, как члены завкома. Вопрос о том, писать ли данному человеку в газету или не писать, решался поднятием рук. Впрочем, это не было общим правилом, разные газеты и разные города решали этот вопрос по-разному. У центральной «Правды», например, рабкоры были добровольные, в «Трудовом Доне» — выборные.

— Почему? — спросила я у Соболя.

Он ответил, что наш редактор считает, что так лучше.

Я не была с этим согласна и обратилась к самому редактору. С безапелляционностью, которой меня научили Володя и Базаров, я высказала ему свою точку зрения. Он так был удивлен этой дерзостью, что не сразу понял, о чем речь. Поняв, спросил:

— Кто вас научил этому?

— Никто, — сказала я. — Просто слышала, как об этом говорили рабочие на судоремонтном.

— Мало ли что говорят рабочие, — сказал он. — Они тоже

могут заблуждаться, как и вы.

Я еще что-то брякнула, он сказал:

— Короче говоря, делайте свое дело, а это предоставьте тем, кто правильнее мыслит, чем вы.

Работала я с таким же увлечением, как мой Севастьянов, редакцию обожала, вне ее мне было скучно. Там был Володя Филов, там был Николай Погодин, были старые журналисты Суховых и Майзель, они учили нас, молодых, они верили в нас, верили в наше будущее, это нас окрыляло и подстегивало к усердию.

«Благословен будь тот, кто сказал нам слово одобрения».

Впрочем, это тоже уже написано в «Сентиментальном романе».

Среди новичков, подобных мне, в «Трудовом Доне» были Иван Ольшанский и Николай Шуклин. Железнодорожник Ольшанский писал стихи:

Над моей колыбелью,
Беспокойны и легки,
Песни грозные пропели
Паровозные гудки.

Кажется, Шуклин тоже писал стихи, но я их не помню.

Его жена Анна Ивановна заведовала той библиотекой, где я брала книги. Эту милую женщину я описала в «Сентиментальном романе» — как она подбирает книги для Севастьянова. Описала и самое библиотеку, и свое отношение к книгам.

К тому времени я перечитала уже порядочно. Кроме тогдашнего девчоночьего чтения — всех этих Олькотт, Чарской, Бернетт, «Голубой цапли», «Сибирочек», «Лесовичек» и прочего — я прочла много из русской и мировой классики, о многом, например о «Фаусте», знала что-то понаслышке, уже не Виктора Гофмана, а Блока, Есенина, Ахматову знала наизусть.

Я была, таким образом, уже подготовлена к новой среде, более литературной, чем наша редакционная среда, к новому общению.

Тут начинаются новые встречи, они происходили и в редакции, и в том обсаженном розами особняке на Пушкинской улице, где, по роману, Шурка Севастьянов встречается с двумя Зоями.

В том особнячке я видела тогдашних ростовских поэтов — Володю Филова, Рюрика Ивнева, Рюрика Рокка, Сусанну Чалхушьян.

Собрание в особняке и его закрытие написаны с натуры. Под

именем Югая выведен погибший впоследствии Яков Фалькнер, наружность Жени Смирновой я взяла от Ляли Орловой.

Но Ляля Орлова — это уже много позже, это — подвальчик в клубе Рабпрос (работников просвещения), куда мы, редакционные чернорабочие, не сразу решились сунуться, потому что там собирались люди, уже числившиеся или числившие себя в литературе. Мы с нашими газетными заметочками не дерзали идти туда, где читались стихи и проза почти всерьез.

Помнится, повел меня туда Арсений Старосельский, новый знакомый по газетной линии. С ним я пошла без страха оттого, что он всех в этом подвальчике знал «как облупленных», так он выражался по тогдашней моде.

Собравшиеся в подвальчике называли себя РАПП — ассоциация пролетарских писателей. Возглавлял их Владимир Киршон, позже ставший известным драматургом, а тогда работник Донского комитета партии. Возглавлял он их строго, без малейшего попустительства, следя, чтобы никакая порча не проникла ни в РАПП, ни в рапповскую продукцию.

Пришли к дому. По узенькой лесенке спустились в подвал. Там стояли скамьи, на скамьях сидели юноши и девушки, перед скамьями похаживал Киршон — самая яркая фигура: черная борода, толстовка, сандалии на босу ногу, и притом красавец — смуглый румянец, пылающие глаза, на щеке родинка.

Фабричный паренек Боря Миркин написал потом про РАПП, используя манеру асеевского «Черного принца», такие стихи:

Путь до клуба Рабпрос
Прост.
Узкий, не поскользнись
Вниз.
Всякий укажет шкраб
Трап,
Что приведет в РАПП.
Чтоб из чуждых поэт
Сред
РАППа не втерся в круг
Вдруг
РАПП под давленьем в мильон
Тонн
Держит Владимир Киршон.

Осуществлять это давление Киршону помогали Фадеев и Макарьев.

Вот этот самый Киршон похаживал тогда перед скамейками.

А потом вышел высокий, тонкий, как жердочка, Гриша Кац и начал читать стихи:

Распрокинулись озера зольников,
Кожи в них лениво плещутся.

Я повидала зольники на кожевенных заводах и знала, что на озера они не похожи, что пахнет от них отвратительно и что вместе с плещущимися в них кожами это отнюдь не объект для поэзии. Но в то же время что-то задело меня за живое: вот повидал человек эти зольники, и стихи о них сочинил, и теперь читает эти стихи перед блестящим собранием, а я — эх! — дальше никому не интересных заметочек ничего не могу написать.

Потом вышла Лена Ширман (Арсений мне всех называл), широкоплечая, кудрявая, в матроске, и читала стихи про смуглого мальчика Джоаннетто, который «на стенке собора мелом нарисовал серп и молот, и за это фашисты его ослепили, влив ему известь в глаза».

Джоаннетто, ты слеп от известки,
Но совсем ослепить — не в их власти.
Ты увидишь, как молотом жестким
Будет скомкан и свергнут свастик.

И Лениному таланту я тоже позавидовала.

Я стала заходить в этот подвальчик, иногда с Арсением, иногда одна. Я была при том, когда Фадеев читал там главы из «Разгрома», и при том, как Вениамин Жак читал свои стихи.

В Черных улицах
Да белая метель,
Эх, и хмурится солдатская шинель…

И когда его за эти стихи обругали — один сказал, что первая строчка это из «Двенадцати» Блока, а другой добавил, что «да белая» воспринимается слухом как «дебелая», и хотя я и с тем, и с другим была согласна, но мне впервые! — стало ужасно жалко поэта, которого ругают.

Кажется, второе замечание сделал Кац, а первое кто — не помню. Знала бы, что когда-нибудь буду об этом писать, записывала бы все подробно. Но откуда я тогда могла знать, что

мне захочется воскресить каждый день и миг прожитой жизни?..

24. «Трудовой Дон» и «Ленинские внучата»

Сначала я работала в «Трудовом Доне», потом газета «Советский Юг» предложила мне писать для нее фельетоны в очередь с Ю. Юзовским и Борисом Олениным (Олидортом). Фельетонами в те времена назывались пространные эссе на какую-либо злобу дня, причем от этих эссе требовалась не только поучительность, но занимательность и даже, насколько возможно, некоторая, что ли, художественность. В центральной прессе мастерами таких фельетонов были М. Кольцов, Л. Сосновский и А. Зорич, вот и «Советский Юг» решил завести у себя нечто подобное.

Мы трое — Юзовский, Оленин и я — работали в очередь, темы каждый выбирал себе по своему усмотрению, иногда это было сопряжено с немалыми хлопотами и даже мучениями.

Помню, например, как месяца два подряд ко мне ходил какой-то неопрятный старик, он хватал меня за руку и говорил зловещим сиплым голосом:

— Сейчас же звоните краевому прокурору.

Дело в том, что он от макушки до пяток был напичкан сведениями о всевозможных злоупотреблениях и злодействах и требовал, чтобы я, отложив все дела, искореняла эти беззакония с помощью прокурора.

Очень скоро этого старика уже знала вся редакция, и сотрудники меня предупреждали:

— Вера, прячься, твой старик идет.

В то время я впервые начала хорошо зарабатывать в газете и смогла уже существенно помогать семье. А вскоре в моей газетной судьбе произошла крупнейшая перемена.

«Советский Юг» помещался во втором этаже большого дома на Дмитриевской улице, а на третьем этаже того же дома, как бы упрятанная за многими дверями и проходными комнатами, помещалась маленькая редакция краевой крестьянской газеты «Советский пахарь». Иногда из тех проходных комнат выходили сотрудники, здоровались, я отвечала на приветствия, но мы ничего друг о друге, в сущности, не знали и связаны не были ничем.

И вот стал выходить оттуда и приветливейшим образом здороваться маленький сухонький старичок, чуточку прихрамывавший на ходу, обросший чистенькой седой щетиной, с таким добрым и приветливым взглядом, что радость была на него

глядеть.

Встречались мы этак несколько раз, здоровались, и он себя назвал:

— Яковлев Полиен Николаевич, бывший сельский учитель, а ныне работник «Советского пахаря».

А потом вдруг задал вопрос:

— А вы довольны вашей работой в «Советском Юге»? Не скучно вам?

— Что вы, — сказала я, — сплошное веселье.

— Я вам хочу предложить кое-что повеселей, — сказал он. — Крайбюро юных пионеров предполагает открыть новую пионерскую газету, и я буду ее редактировать. Идите ко мне секретарем редакции, мы с вами знаете какие закрутим дела!

— Да ведь такая газета уже есть, — сказала я, — и я — ее секретарь.

В самом деле, в Ростове существовала маленькая газета под названием «Ленинские внучата». Издавали ее крайком комсомола и Общество друзей детей. Первый осуществлял идейное руководство, а второе давало деньги. Редактором был Михаил Глейзер, он же редактор юношеской газеты «Молодой рабочий», а меня он включил в штат в качестве швеца, жнеца и в дуду игреца. Я — наряду с работой в «Советском Юге» — организовывала пикоров пионерских корреспондентов, собирала и правила заметки, выпускала газету. Во всем мне помогали детишки-пикоры, вплоть до того, что они на саночках привозили из типографии отпечатанный тираж, и раздавали газету подписчикам, и принимали подписку.

— Нет, — сказал Полиен Николаевич, — это не такая газета, какая нужна детям. У нас будут сотни тысяч подписчиков, и писать в газету будут все дети, сколько их есть на Северном Кавказе.

И я поверила ему, и пошла секретарем в обновленную газету «Ленинские внучата», и никогда об этом не пожалела. Он отвоевал для нашей редакции отличную светлую комнату с балконом, он мгновенно собрал в эту новую редакцию множество новых людей — педагогов, ученых, детских библиотекарей, поэтов, вожатых, и кого-кого у нас не было, и все писали нам статьи всяк по своей специальности, и отвечали на вопросы читателей, а вопросы эти так и хлынули, едва мы выпустили два или три номера нашей газеты. И карикатуристы у нас появились, и бедовый раешник (его сочинял сам Полиен Николаевич), а писем пошло столько, что очень скоро Полиен Николаевич сказал:

— Верочка, нам вдвоем с этим потоком не справиться,

возьмем-ка технического секретаря.

И в редакции появилась рыжая Люба Нейман, спокойная и педантичная, словно специально созданная для того, чтобы ни одно ребячье письмо не терялось и не оставалось без толкового и скорого ответа. А еще через сколько-то времени Полиен Николаевич сказал так:

— Дорогие мои, все это хорошо, но мало, мало! Надо взбудоражить ребят, надо их активизировать. Вот возьмем-ка да объявим конкурс на лучшие умелые руки, вот тогда увидите, что получится.

И мы, то есть газета, объявили этот конкурс. Мы выпустили и разослали по всему краю призывы, чтобы ребята-школьники присылали на этот конкурс все сделанное их руками — модели машин, рукоделия, рисунки, игрушки. Единственное было условие, чтобы работы эти были выполнены самостоятельно, без помощи специалистов. Наше начинание поддержали широко и щедро, так что мы могли объявить хорошие премии за лучшие экспонаты.

Бедная Люба Нейман! Теперь ей некогда было отвечать на письма. С утра до вечера она распаковывала посылки, приходившие в редакцию. Тут были и модели, и игрушки, и рукоделия, и всякая всячина. В том числе тропические растения, выращенные трудолюбивыми детьми в комнатных условиях, мудреные радиоприемники (один, помню, был сделан на карандаше), и нарядные куклы в национальных костюмах народов СССР, и чего-чего тут только не было! Под все эти экспонаты нам отвели хорошее большое помещение, и выставка наша пользовалась огромным успехом. Яковлев умел хорошо подать такие вещи. Лучших юных мастеров он выписал в Ростов, и они сами демонстрировали свои изделия. Результатом было то, что авторитет «Внучат» неслыханно возрос среди ребятни, а тираж их превысил на Северном Кавказе тираж «Пионерской правды» и «Ленинских искр».

Тем временем почти такой же подъем переживала оставленная П. Н. Яковлевым газета «Советский пахарь». Там дела шли отменно плохо, пока не демобилизовался из Красной Армии и не был назначен туда редактором некий Иван Макарьев, крестьянский сын, рязанский мужик, знавший деревню как свои пять пальцев.

Назначенный редактором в газету, на которую никто не хотел подписываться и которую приходилось распространять по сельсоветам чуть ли не в принудительном порядке, он начал с того, что заперся в одной из редакционных комнат и велел принести себе все письма, какие только имелись в редакции. Три

дня он сидел и читал эти письма, а когда вышел из своего затвора, то уволил половину сотрудников, месяцами гноивших эти письма без ответа, и взял в штат трех новых работников: агронома, юриста и врача. Отныне к ним стала направляться большая часть крестьянских писем, и Макарьев сам читал их ответы.

Но этого мало, он мобилизовал в свою газету Бориса Олидорта. Олидорт, он же Оленин, был журналист несколько провинциальный, но безусловно способный, этакое бойкое перо, не претендующее на утонченность, но умевшее писать быстро и занимательно.

Макарьев позвал его и сказал:

— Сочините роман с продолжением. Чтоб печатать из номера в номер, чтоб герой был простой хлебороб, желательно наш донской казак, и чтоб читатель помирал от нетерпения, дожидаясь очередного номера.

Олидорт не ударил в грязь лицом, он сочинил роман «Приключения Петра Николаева», в точности такой, какого желал Макарьев. Этот Петр Николаев был донской казак, он сражался против немцев, попал к ним в плен, после множества приключений попал в Африку, а там уже начался такой переплет со львами и крокодилами, что читатели, несомненно, обмирали, ожидая следующего номера, а Олидорт получал столько писем, что в редакции не знали, куда их девать.

Тираж «Советского пахаря» в кратчайшее время достиг неслыханной цифры.

Работала я много, имея штатную должность в редакции «Ленинских внучат» и будучи обязанной не реже раза в неделю давать подвал в «Советский Юг», а кроме того, и из других газет — «Трудового Дона», «Молодого рабочего» мне нет-нет давали какие-нибудь задания, так как считалось, что я пишу хорошо. Так выглядело, думаю, на общем, довольно-таки сером фоне. По-прежнему мне все мечталось о настоящей литературе, но до этого было еще ой как далеко. Написанные мной несколько рассказов, одна повесть и пьеса «Весна» ничего общего с настоящей литературой не имели…

В редакции «Ленинских внучат» у меня со всеми установились отличные отношения. П. Н. Яковлев относился ко мне почти отечески, с Любой Нейман мы очень подружились, деткоры-школьники приносили мне показывать свои стихи и рассказы. (Они тоже все без исключения собирались стать писателями.) С супругами Жак, Веней и Миррочкой, я сдружилась тоже. Из Ленинграда в Ростов приехал Володя Дмитревский, пионерработник, он стал работать в крайбюро юных пионеров и

писать статьи для «Ленинских внучат». И с ним я подружилась, характер у меня в то время был компанейский, легкий. А тут еще возник у меня роман с Арсением Старосельским, секретарем редакции «Молодого рабочего».

25. Мое первое замужество. Рождение дочери

Весной 1925 года я вышла замуж за Арсения Владимировича Старосельского.

Мы были, по существу, еще совсем детьми, хотя считали себя вполне взрослыми. Мы пускались в самые дерзкие дурачества, некоторые из которых можно было бы назвать более строго — почти хулиганством.

Чего стоила, например, наша отъявленная проделка с отцом Эмки Кранцберга, почтенным учителем.

Когда мы со Старосельским поженились, он повел меня представить своему отцу. Это было в день еврейской пасхи, и вся обстановка этой трапезы, и квартира, и ее хозяин, и дама с черными усиками — все это описано в «Сентиментальном романе», так что повторяться я не буду. Был вкусный обед, пили за наше с Арсением счастье, а после обеда Эмка Кранцберг, бывший с нами, вдруг сказал:

— Ребята, мне это все понравилось. Теперь пошли к моему папке, и я ему тоже представлю Веру как мою жену.

Ни одному из нас, троих взрослых дураков, не пришло в голову, как глупа и неприлична эта затея. И мы прямиком отправились к бедному папе Кранцбергу, и Эмка ему сказал:

— Папочка, поздравь меня, я женился, и вот моя жена Вера.

Старик умилился и поздравил нас и потом напоил чаем в своей холостяцкой комнате, обставленной гораздо интеллигентней, чем квартира старика Старосельского, и только все огорчался, что не может нас ничем «одарить» (он так и произносил это слово) и что ему бы очень хотелось нас «одарить», потому что мы такие молодые и неустроенные.

Он не догадывался, что мы прежде всего были идиоты, а уж потом молодые.

А потом настала расплата. Арсений обожал музыку, и мы с ним ходили на все сколько-нибудь стоящие концерты. И папа Кранцберг оказался обожателем музыки, и тоже ходил на все концерты, и неизменно видел там меня с Арсением. И однажды, не выдержав, подошел к нам и спросил напрямик:

— А где Эмка?

После чего я и сказала Эмке:

— Изволь сказать старику правду, я больше не хочу разыгрывать эту комедию.

Эмка сознался старику во всем, и тот великодушно простил

нас и даже что-то такое подарил сыну — «одарил», по его выражению, сказавши при этом: «Ну да, вы еще так молоды, потом это у вас пройдет».

Он был прав: прошло без остатка, даже вспомнить об этом сейчас так странно…

Поженившись, мы со Старосельским поселились в крохотной комнатушке на Среднем проспекте. Чтобы попасть в нее, надо было пройти через общую кухню. Остальные комнаты этой квартиры занимала татарская семья. Вообще все это громадное грязное подворье было заселено татарами. Наш сосед был возчик-ломовик. Вероятно, возчиками были и другие жители подворья, так как двор был заставлен телегами. На телегах лежали цветные подушки и пестрое тряпье, а между телегами — собаки. Впоследствии я пламенно оценила строчку Заболоцкого:

Валялись пышные собаки.

Собаки именно валялись, и они были именно пышные, лучше не скажешь. Я никогда не видела цыганского табора, ни раньше, ни позже, но тогда я считала, что наш двор с его задранными к небу оглоблями и полуголыми детишками, ползающими по цветным подушкам, похож на табор, особенно когда светила луна.

Я боялась собак, они лаяли и бросались на входивших во двор.

У татар было по нескольку жен. Жены ссорились между собой, перебранка слышалась из всех углов. Однажды я видела пробегавшую через двор женщину с исцарапанным, окровавленным лицом. Я очень боялась нашего двора.

Жену соседа звали Катерина Федоровна. Она целый день крутила в кухне мясорубку и потом жарила большие котлеты из конины. У нее были две девочки: Асхаб и Магира, очень красивые, особенно Асхаб, мне казалось, что такою должна быть девочка Дина из толстовского «Кавказского пленника».

Кстати, об этом сочинении. Я люблю его с детства и ставлю несравненно выше «Кавказских пленников» Пушкина и Лермонтова. Мне представляется, что в один прекрасный день старик, рассердясь, сказал: «Мальчишки, что они знают о кавказском пленнике? Я напишу „Кавказского пленника“». И написал же!

Замужество за Старосельским очень меня изменило. Даже тогда я замечала в себе эти перемены.

Муж мой немедленно начал меня перевоспитывать в духе материализма и атеизма. Я читала «Капитал», Энгельса, Каутского. «Капитал» давался мне каторжным трудом, поэтому я

должна была читать его вслух, а Арсений комментировал и объяснял.

Духовной пищей моей стал главным образом Маяковский.

Арсений его обожал и знал наизусть, он мог читать мне его непрерывно, особенно «150 миллионов». До сих пор не люблю эту поэму, особенно почему-то строчку: «Кальсоны Вильсона не кальсоны — зефир».

Как и Семка Городницкий в «Сентиментальном романе», Арсений сам выработал себе гулкий бас для того, чтобы эффектно читать Маяковского.

Конечно, у Маяковского мне нравилось многое, да и вообще много я от Арсения переняла и полезного, хорошего: он учил меня говорить правильно, отучал от ужасного ростовского жаргона, прививал вкус к современной литературе, к музыке. Он окружил меня людьми более развитыми и интересными, чем те, среди которых я жила до него.

Но иногда я все же взрывалась. Помню, как-то привел Арсений одного своего товарища. Очень располагающий, приятный был человек. Но только, едва придя, он с места принялся читать «150 миллионов». Я вскочила и сказала: «Вы что, дуэтом будете теперь читать? Хватит с меня и одного декламатора». Оба они смутились, даже испугались. Потом шептались за дверью — конечно, обо мне, — а я плакала. Мне было жалко себя и жалко Арсения, что на его долю выпала такая отсталая, несознательная жена, а не Ляля Орлова, которую он любил до меня.

Ляля Орлова была дочерью крупнейшего офтальмолога профессора Орлова. Он был так же знаменит, как позже профессор Филатов в Одессе. В клиническом городке была глазная клиника его имени. Лялю Орлову воспитывали француженки-гувернантки, она была настоящая тонная «барышня», но, подросши, вступила в комсомол, стала носить кожаную куртку, и буденовку с красной звездой, и кобуру с револьвером у пояса. Куртку и буденовку она купила на толкучке, там можно было купить все — от самодельных папирос до именного оружия.

Из-под буденовки разлетались прямые, легкие русые волосы и смотрели веселые зеленоватые глаза, носик у Ляли был востренький, походка легкая, при всей странности своего облика она не отталкивала, была привлекательна.

Конечно, она гораздо больше подошла бы Арсению, чем я. Но она его не любила. Со мной она тоже не сблизилась, у нее был совсем другой круг знакомых и друзей.

Она вышла замуж за партийного работника.

Кое-что из ее биографии я вложила в биографию Марианны, одной из героинь «Сентиментального романа», а другой его героине — Жене Смирновой придала внешний вид Ляли Орловой. С бору да с сосенки собирался «Сентиментальный роман», мне он мил тем, что, перечитывая его, я погружаюсь в мир своей юности.

Первым и лучшим товарищем Арсения был Эммочка, Эммануил Кранцберг Экран, как мы его звали сокращенно. Это был очень умный и хороший парнишка годами тремя моложе нас с Арсением. Отец его был учителем гимназии, Экран ушел от него, как многие комсомольцы-интеллигенты уходили в те времена от своих родителей. Уйдя от отца, он стал членом так называемой «четверки». В эту «четверку» кроме Экрана входили: Арсений Старосельский, Саня Гриценко и Боря Фатилевич.

Почему ушли от своих мелкобуржуазных родителей Старосельский и Фатилевич — понятно. Но почему оставил свою семью Саня, сын рабочего-железнодорожника? Бог его знает.

Все четверо ушли от своих отцов буквально на улицу, не имея никакой специальности.

Яша Фалькнер (в «Сентиментальном романе» — Югай) исхлопотал для них ордер на жилплощадь. По этому ордеру они поселились в ванной комнате какой-то коммунальной квартиры, один спал на подоконнике, двое на полу, лучшим ложем, занимаемым по очереди, была ванна.

Экран, Эммочка, бывал у нас каждый день, я с ним очень подружилась. Он не старался изображать из себя железного коммуниста, как Арсений, не декламировал Маяковского и не считал, что меня нужно как можно скорее перевоспитать, а главное — он с таким искренним удовольствием ел то, чем я его угощала, не насмехался надо мной, как Арсений, когда я старалась покрасивее накрыть стол или ставила цветы перед зеркалом.

«Четверка» просуществовала довольно долго и еще дольше потом была предметом изустных комических рассказов, целого эпоса; частично я использовала его в «Сентиментальном романе» — например, кормление в кредит в кафе «Реноме инвалида», залихватские состязания — кто больше съест пирожных и др. Для тех, кому это важно, упомяну, что все ребята, входившие в «четверку», были в свое время в числе первых ростовских комсомольцев, и в городе их всех очень хорошо знали.

Арсений Старосельский был журналистом, работал в газетах Ростова, а затем Ленинграда, окончил КИЖ — Коммунистический институт журналистики. После нашего с ним развода был женат еще трижды, скончался скоропостижно в конце 1953 года в Ленинграде.

Кранцберг впоследствии, окончив рабфак, поступил в Донской политехнический институт в Новочеркасске, учился там вместе с моим братом Леонидом, вышел инженером, работал в Луганске, дальнейшая его судьба мне неизвестна, как и судьба Гриценко.

Боря Фатилевич основал в Ростове КОТ — комсомольский театр, впоследствии этот театр назывался ТРАМ, то есть театр рабочей молодежи, Боря был в нем главным режиссером, я помню несколько его спектаклей: «Клеш задумчивый», «Дружная горка», «Чужой ребенок». Он был талантлив.

Поставил он в начале 30-х годов и одну из моих первых пьес — пьеса была вполне ученическая, бестолковая и неряшливая, написанная под впечатлением «Поднятой целины» Шолохова, но Боря и из нее сумел сделать неплохой спектакль.

Он был убит на фронте во время Великой Отечественной войны, как и Гриша Кац и многие другие мои старые товарищи.

Все это были друзья Арсения Старосельского, и они очень скоро стали моими друзьями; они часто приходили к нам, главным образом в воскресные утра, потому что в эти утра мы их кормили роскошными завтраками, так уж как-то повелось.

Арсений был лакомка и следил за тем, чтобы у нас не переводилась обильная и вкусная еда. Каждое воскресенье он сам отправлялся с кошелкой на базар и возвращался с грузом роскошных яств: свежей икры, копчушек, фруктов, сливок. Приходил Экран, мы завтракали втроем. Наевшись до отвала, пили какао, и кто-нибудь из парней говорил:

— Какао освежает.

— Теперь съедим дыню, — говорил другой, — дыня освежает еще лучше.

«Освежались» дыней, потом копчушками, потом редиской или молодой картошкой с огурцом. И так, при тогдашних наших аппетитах, освежались чуть не до вечера.

Эти наши лукулловские завтраки долго потом вспоминали Старосельский и Кранцберг. В годы войны, в Перми, истощенный, больной дистрофией Старосельский говорил: «А помнишь, как мы когда-то ели?»

Почему же было не есть? Оба мы зарабатывали неплохо, первоклассной еды было полно и в магазинах, и на рынках, аппетит был молодой, волчий.

Он (аппетит) стал у меня хуже, когда я почувствовала признаки беременности.

Начиналась новая эра — подготовка к материнству и само материнство.

Я ждала его радостно, и все мои близкие — тоже.

Почему-то они были уверены, что родится девочка. И заранее приготовили имя — Наталья. Я его приняла, я люблю это имя — может быть, из-за Наташи Ростовой.

Мы с Арсением зарегистрировались в загсе. Я пошла к Розалии Елеазаровне Собсович.

Эта Розалия Елеазаровна была старая, опытная акушерка. В годы нэпа она сколотила артель и под маркой этой артели открыла малюсенькую гинекологическую лечебницу.

Так как в артели были главным образом молоденькие неопытные медсестры, то, понятно, главой лечебницы была Р. Е. Собсович, и ее там все боялись как огня.

Завела она образцовый порядок и чистоту, помешана была на гигиене.

Всех троих моих детей я родила в этой крохотной уютной больничке, где детей не отбирали от матери, где было прекрасное обслуживание, прекрасное питание и всегда были заняты все койки в трех палатах.

Летом 1926 года мы поехали в рыбацкую слободку Маргаритовку на Азовском море, против Таганрога. Мы поехали туда втроем, с Леничкой, моим братом. Наняли две крохотные комнатки в рыбацкой хате и тоже мило провели лето, и чем-то эта Маргаритовка (она описана в «Сентиментальном романе» как место убийства Андрея Кушли) была моему сердцу ближе и приятней, чем субтропический Сочи, где мы были за год до этого, с его яркими красками и курортной публикой.

Пожив в Маргаритовке больше месяца, пустились мы домой. Наняли баркас (он вез в город свиней на продажу), сели, поплыли. Было необыкновенно тихое, голубое, прелестное августовское утро. Ни малейшего ветерка, баркас не трогался с места.

Не знаю, с чего Арсению вдруг вздумалось свистеть. Он имел абсолютный музыкальный слух и обладал способностью замечательно точно и артистично насвистывать любую пьесу, включая сложнейшие симфонии. Ему даже говорили, что он может этим способом зарабатывать, выступая в мюзик-холле.

Но когда он что-то очень красивое (кажется, Шопена) засвистел на баркасе, хозяева баркаса выразили самое бурное негодование. Они его ругали и спрашивали, как у него хватает совести делать такие вещи и неужели ему самому жизнь не дорога, а один молодой рыбак даже предложил вышвырнуть свистуна в лиман. Это убедило Арсения, и он замолчал.

И тут налетела буря. Она помчалась на нас высокими, как дома, волнами с закручивающимися пенными верхушками. Воздух свистел, море громыхало, парус хлопал. И Леничка и

Арсений мгновенно заболели морской болезнью. В трюме неистово визжали свиньи.

Что делалось на лимане! Это описал Э. Багрицкий в своем «Арбузе»: «Прет на рожон Азовского моря корыто». Позже мы узнали, что это был отголосок страшного шторма, вызванного норд-остом на Черном море.

Тогда мы не думали, чего это отголосок. Нас подбрасывало и швыряло вниз. Нас осыпало брызгами. Мы вымокли и продрогли.

Так прошло два часа, а потом наш баркас был подхвачен на гребень волны и со страшной скоростью помчался на таганрогский мол.

— Все к черту, — сказал Арсений, — это все.

А я увидела людей на молу. Они спускали моторку. Они смотрели на нас. Один помахал нам рукой. Я поняла: ничего не все, ничего не к черту.

Моторка помчалась нам навстречу, расстилая по лиману пенные седые усы. Мы перебрались в нее. Сразу стало спокойно на душе. С мола нам бросили канат. Мы поднялись по мокрым каменным ступеням.

Таганрог!

В Ростове нас ждала печальная весть: пока мы прохлаждались в Маргаритовке, умерла наша няня Марья Алексеевна. Врачи определили у нее рак желудка. Она отказалась от операции.

Ее похоронили на нахичеванском городском кладбище. Мы с Леничкой пошли на ее могилу — отнесли цветочков, поплакали. Невыразимо одиноким выглядел деревянный белый крест, когда мы уходили. Невыразимо грустно было в доме.

Но уже из всех сил ворочалась у меня под сердцем моя Наташа, уже шилось ей приданое, и радостным ожиданием вытеснялось горе.

«Да ты разродишься когда-нибудь?» — спрашивала у меня Люба Нейман.

9 сентября я наконец почувствовала боли и поняла: вот оно, пришло. Как приказывала Розалия Елеазаровна, я сейчас же, захватив все нужное, побежала к ней. Пешком: в трамвае она запретила — тряско, инфекция…

Пришла. С новой робостью позвонила у знакомой двери. Мне отворила молодая сестра Франциска: «А, это вы!..»

Я приняла ванну и легла на указанную мне кровать. К кровати придвинули большое мягкое кресло, покрытое простыней, так что образовалась как бы кровать поменьше. На ней приготовили постель для ребенка. Странно было видеть эти приготовления для человека, который еще не родился.

На стене против меня висели большие круглые часы.

Схватки были пустяковые. «Ну, — подумала я храбро, — и это называют муками!»

Но схватки стали сильней. Они стали очень болезненны. Они стали ужасны.

Стрелки на часах двигались, но ничего не менялось. Только боль, боль опять и опять.

Подходила сестра Франциска и хорошенькая сестра Агнесса, появлялась сама Розалия Елеазаровна. Мне поправляли подушку, давали есть и пить, что-то говорили. Я смотрела только на часы.

Настал вечер. Все продолжалось без перемен. Несколько раз казалось, что я больше не выдержу. Мне сказали: «А вы покричите». Но я стеснялась кричать.

Настала ночь. В палату светил фонарь с улицы. Белые гардины падали вдоль окон призрачными складками. Уже не верилось, что когда-нибудь этому придет конец. Нет, это не могло кончиться… Ночь прошла. В окнах просияло утро. Принесли кофе с сухариком. И дальше двигались стрелки, но не изменялось ничего.

Между схватками я иногда засыпала — коротким сном, будто проваливалась куда-то. Но тотчас боль пробуждала меня.

И вдруг сквозь этот короткий сон я услышала металлический лязг и голоса. Я прислушалась и поняла, что они собираются вытаскивать мое дитя этими лязгающими щипцами. Я закричала, и все кончилось сразу.

Какое блаженство! Какое ни с чем не сравнимое освобождение! Какое счастье! Было 12 часов ночи с 10 на 11 сентября.

— Кто? — спросила я.

— Девочка, — ответила Розалия Елеазаровна. — Красавица.

Потом я узнала, что каждого принятого ею ребенка она называла красавцем. Но тогда я этого еще не знала и возгордилась.

Еще я спросила:

— Сколько пальчиков? — потому что в одной знакомой семье родился шестипалый мальчик, и в моем тогдашнем представлении это было неимоверное бедствие.

— Пять, пять, — сказали мне. Но я успокоилась только тогда, когда сосчитала сама. На каждой ручке сосчитала и на каждой ножке.

Младенца искупали при мне и запеленали по всем правилам. Он не показался мне красивым: очень краснокожий, с довольно черными прямыми волосиками.

— Маленький индеец! — сказала я.

— Много вы понимаете! — сказала, обидясь, Розалия

Елеазаровна.

— Она еще десять раз переменится, пока подрастет, — сказала сестра Агнесса. — Во-первых, у нее посветлеют волосы.

— Почему вы думаете?

— Потому что у нее светлые глазки.

И правда, глазки были не то голубые, не то серые.

Остаток ночи я провела в блаженном, глубоко переживаемом спокойствии. Мне уже неважно было, что вот опять светает, что приближается новый день. Мое дело было сделано.

Этот день принес, однако, новое переживание — я в первый раз ее кормила.

Не изумление, а потрясение испытала я, впервые увидев это чудо: как крохотный человечек, которого никто не учил, уверенно и мгновенно обнаруживает источник пищи и самозабвенно принимается ее поглощать, будто знает, что без нее не может быть жизни.

В этот момент сама будто рождаешься заново и все начинаешь видеть не так, как видела вчера. И понимаешь тысячи вещей, которых вчера не поняла бы нипочем.

Прежде всего мне захотелось, чтобы все, все мои пришли — сейчас же, сию минуту! — чтоб я могла им показать мою Наташу. Но вместо того Арсений позвонил в больничку по телефону — не скоро, только в середине дня, и ему сообщили о рождении дочери. А маму, брата и бабушку я увидела лишь через две недели, когда Розалия Елеазаровна наконец решилась меня выписать.

На этот раз она позволила мне ехать на извозчике, и я провезла по всему городу мое сокровище, завернутое в стеганое шелковое одеяльце.

Одеяльце было ярко-красное, потому что его покупал Арсений. Я должна была это предвидеть.

Если бы он мог, он и меня водил бы только в ярко-красном. Все другие цвета казались ему мещанскими.

Мы приехали на Средний проспект. Я внесла Наташу в наш татарский двор. В нашей комнатке за кухней ждала нас моя мама. Восторгам и расспросам не было конца.

Увы! Никто не сказал мне тогда, что опасно было везти ребенка на это подворье, в эту комнату! Да и кто мог сказать мне это тогда! Я спохватилась после того, когда чуть было не потеряла Наташу.

Двор был чудовищный по санитарному состоянию: эти телеги с тряпьем, эти собаки, эта непросыхающая грязь от мыльных помоев. Тетя Лиля упала бы в обморок, если б увидела такое.

Первоначально в нашей комнатушке, когда мы в нее

переехали, даже не было окна. Мы позвали каменщика, он сделал пролом в стене, а плотник вставил раму, и стекольщик вставил стекло. Правда, когда появилась Наташа, комната уже была светлой и солнечной и наша квартирохозяйка Катерина Федоровна говорила:

— Сколько лет живем в этой квартире и не догадались пробить окно.

Через несколько дней после того, как я привезла туда Наташу, случилось вот что.

Был вечер, Арсения не было дома. Я сидела за столом и читала. Вдруг рядом, в кухне, послышался грохот и звон разбиваемой посуды. Я приоткрыла дверь и увидела, что возле моей полочки с посудой стоит какой-то человек и делает очень странную вещь: снимает с полки одну за другой тарелки, чашки, кастрюли и швыряет об пол. Фаянс и стекло разлетались со звоном. Кастрюли грохотали, как весенний первый гром.

— Что вы делаете? — крикнула я.

— А вы кто? — спросил человек.

— Как это кто? — спросила я. — Я здесь живу.

— Это ваша посуда?

— Ну да, моя!

— А Федька и Катька где? — спросил странный человек.

Я догадалась, что он имеет в виду наших соседей, ответственных съемщиков этой квартиры, Катерину Федоровну и ее мужа.

— Не знаю, — сказала я. — У себя, наверно.

— А где их посуда? — спросил он.

— Не знаю, — солгала я благоразумно, уже догадываясь, в чем дело.

— Это их цветы? — спросил человек и сам себе ответил. — Их!

И, взяв горшок с геранью, разбил его об пол.

Часом позже вернувшаяся домой Катерина Федоровна убирала с полу черепки и землю и горько жаловалась:

— Некультурный человек. Как это так можно? Сначала узнай, чья посуда, а потом бей.

— Да кто он?

— Он двоюродный брат Федора. Они еще ребятами ссорились. Он, видишь, пришел нашу посуду бить. Он и не знал, что ты тут живешь. Ты не думай, он придет извиняться.

— Не надо, — попросила я. — Пусть не приходит извиняться.

Мы наняли няню. В определенные часы она привозила Наташу ко мне в редакцию, и я кормила в комнате уборщицы Ивановны.

А один раз в день я ездила кормить домой. Так и перебивались.

Потом появилась у нас новая няня: могучего сложения девушка из орловской деревни. Звали ее Варя. Когда Наташа стала говорить, то называла ее Аба.

С первого дня почувствовалось, что в семью вошел милый, родной человек. Она быстро привязалась к Наташе и нам с Арсением стала как сестра.

Она была чистоплотна, проворна, исполнительна: золотые руки, золотое сердце.

Теперь я спокойно уходила на работу, уверенная, что за Наташей будет должный уход и присмотр.

Но летом 1927 года Наташа вдруг тяжело заболела. За одни сутки ребенок, еще накануне розовый и налитой, как яблочко, превратился в скелетик.

Мама пригласила доктора Гринберга, имевшего репутацию лучшего детского врача в Ростове. Он посмотрел, расспросил и не скрыл от меня опасности.

Дал какие-то лекарства, предписал диету. Но Наташа продолжала хворать и таяла с часу на час. Каждый раз, беря ее на руки, я ощущала, что она становится все легче.

Спасение, как во многих случаях жизни, пришло от мамы. Она сказала:

— Я позову Настю Нахманович.

— Кто такая? — спросила я.

Выяснилось, что она училась в гимназии вместе с моей мамой, а теперь — детский врач, заведует каким-то детским лечебным учреждением.

Пришла пожилая женщина — будь благословенна ее память! — и сказала:

— Очень тяжелый случай. Интоксикация всего организма, пища не усваивается, ребенок погибает от истощения. Прежде всего надо срочно переменить климат. Вы сегодня — понимаете, не завтра, а сегодня! — должны вывезти ее — скажем, в Кисловодск.

— Ну что ж! — сказала мама. — Надо так надо!

Разговор этот был утром, а перед вечером того же дня мы уже сидели в поезде, уходящем на Минеральные Воды.

Не стану описывать эту поездку, она была ужасной: сидеть ночью в вагоне и кормить грудью угасающего ребенка, наблюдать, дышит ли он еще, и думать: «Ну ладно, ну приедем в Кисловодск, а дальше-то что?..»

Но все сложилось счастливо. Едва мы вышли в Кисловодске, как к нам подошло несколько человек, предлагая комнаты. Мы

выбрали одну женщину, показавшуюся нам самой симпатичной. Она отвела нас в свой дом и, узнав о нашем горе, посоветовала детского врача. Мама отправилась за ним сейчас же и вернулась вместе с ним. Я же попросила у хозяйки бутылок с горячей водой, чтобы согреть уже застывавшие ножки Наташи. Бутылки явились сразу же. Они были такие горячие, что больно было держать их в руках. Я завернула дочкины ножки в простыню и через простыню старалась отогреть их бутылками. Но ножки оставались ледяными. На счастье, явился доктор. Как мне жаль, что я не помню его фамилии, знаю только, что он был из Москвы, в Кисловодск приехал отдыхать. Он подтвердил, что положение отчаянное, но сказал, что бороться еще можно. Дал пузырек с каким-то лекарством и велел дать одну каплю этого лекарства тотчас по его уходе, а другую — вечером. После каждого приема лекарства дать выпить чайную ложечку чая без сахара и без молока, затем трое суток не давать ничего, даже груди. А через трое суток дать супу (рассказал подробно, как его сварить) из куриных крылышек с протертой зеленью — картофелем, морковью и стручковым горошком.

Я пришла в ужас, но он велел точно выполнить все его предписания.

Как только он ушел, я попросила у хозяйки немного чаю и дала Наташе одну каплю оставленного доктором лекарства. Не знаю, что это было. Может быть, что-то для укрепления сердца.

Надежда ожила во мне, когда вслед за приемом лекарства понос и рвота прекратились совершенно. Вечером я дала вторую каплю. Ночь прошла спокойно, ножки бедного моего ребенка согрелись. Только под утро она запищала, прося есть, а потом кричала голодным криком весь следующий день. Я железно выдержала характер и в тот день, и в два последующих. А потом мама купила на базаре куриные потроха и овощи и сварила суп.

Господи, как Наташа его глотала! Как она была голодна! Как не только мы, но и наша хозяйка обливались слезами, глядя на нее!

Мама побежала благодарить нашего спасителя доктора, а я завернула спасенную дочку в легкое пикейное одеяльце и вынесла на воздух.

Она стала поправляться не по дням, а по часам, исхудавшее тельце снова налилось, опять появились ямочки на локотках и коленках. Чудесный горный воздух оживлял ее.

Почти месяц мы прожили в Кисловодске. Конечно, все было направлено на то, чтобы исцеление больной совершалось как можно скорее и полнее. Ничего для укрепления собственного здоровья мы с мамой из Кисловодска не извлекли, нам это и в

голову не приходило. Даже от экскурсий и прогулок, на которые нас приглашали, мы отказывались.

Недели через две кончился мамин отпуск, и она уехала. Мы с Наташей остались вдвоем. Болезнь ее не возобновлялась, и жизнь наша текла спокойно. А еще через две недели приехал Арсений. Не пережив вместе с нами Наташиной болезни, он был склонен считать наши волнения напрасной паникой и к рассказам моим отнесся с безучастностью, которая меня поразила. Я никак не могла ее понять, потому что в это страшное для меня время даже совершенно чужие люди относились к нам с живым участием и желанием помочь.

И еще одно мне не понравилось: Арсений объявил, что он не хочет, чтобы его дочь звали мещанским именем Наташа, пусть ее зовут Аля, это гораздо современней и звучнее. Я не была с ним согласна, мне вспомнилась тетя Олимпиада Ивановна, требовавшая, чтобы ее называли Лилей, и я впервые наговорила мужу много злых и горьких, наполовину несправедливых слов. И хотя, по обыкновению, моментально осудила себя за горячность и попросила прощения, но трещина явственно наметилась в наших отношениях, и оба мы стали нетерпеливо подумывать о возвращении в Ростов.

Когда мы вернулись, мама сказала, что ни за что не допустит, чтобы мы с ребенком продолжали жить на нашем кошмарном подворье и чтобы мы жили у нее. Она отдала нам комнату, где когда-то была наша с Леничкой детская. Мы перевезли туда наше имущество и зажили большой семьей. Мама не могла не видеть перемены в наших с Арсением отношениях, и это ее, понятно, беспокоило.

А я раздражалась против него все больше. Мне стало казаться, что он думает только о себе, только себя любит. Меня возмущало, что всех моих близких он считает мещанами, а о себе думает, что он подлинно новый человек, победивший все пережитки прошлого и всегда поступающий в истинно пролетарском духе.

Меня это приводило в негодование. Мне вдруг стало с ним очень скучно. Прежде я рвалась домой, теперь же, когда рабочий день подходил к концу и в редакции делать было уже нечего, я с тоской думала, что вот опять надо идти домой.

Было ясно, что брак наш изжил себя и союз скоро рухнет. Мы уже просто скучали друг с другом. Чтобы не оставаться вдвоем, зазывали гостей, но ведь гость посидит да и уйдет, и я видела, что все близкие друзья — Экран, Володя Дмитревский — понимают, как у нас неблагополучно, и ждут нашего разрыва.

В этот-то момент и появился на моем горизонте Борис

Вахтин. Володя Дмитревский еще прежде называл это имя и говорил: «Вот он бы тебе понравился».

Как-то вечером возвращались с Арсением откуда-то домой, видим — у наших ворот стоит Дмитревский с каким-то высоким человеком в белой косоворотке.

— Знакомьтесь, ребята, — сказал Дмитревский, — это Борис Вахтин.

Я поздоровалась и вошла в калитку, а Арсений без всяких предупреждений и предисловий стал читать асеевского «Черного принца».

Я вернулась взглянуть, как новый знакомый слушает стихи. Мне понравилось, как он это делал.

На другой вечер Дмитревский опять пришел с Вахтиным, мы пили на террасе чай с кизиловым вареньем, которое я сварила. Я научила Вахтина заедать брынзу кизиловым вареньем, и он сказал, что это очень вкусно, и похвалил варенье, и попросил Арсения еще почитать какие-нибудь стихи.

С тех пор Вахтин стал у нас бывать каждый вечер. Он очень сердечно отнесся к Наташе, нянчил ее, забавлял, играл с нею.

Теперь я опять шла домой с радостью. Я знала, что увижу там Бориса. Или он встретит меня у ворот, или я увижу его сидящим на террасе или в нашей комнате. А случалось, что он был в кухне — разводил примус и ставил на него чайник. Он быстро стал в доме своим человеком.

Так как среди наших приятелей был еще другой Борис — Фатилевич, то мы стали называть Вахтина заочно Боря Длинный, а Фатилевича — Боря Короткий: тот был небольшого роста.

Вахтин был из Ленинграда, как и Дмитревский. Они там вместе работали в пионерской организации. Потом вместе уехали в Ставрополь, где Дмитревский был, если не ошибаюсь, тоже на комсомольской работе, а Вахтин заведовал детдомом. Потом Дмитревский поехал в Ростов и стал заместителем председателя крайбюро юных пионеров, Вахтин же приехал в наш город лишь осенью 1927 года.

В ту осень меня вдруг потянуло писать, сочинять. Я стала набрасывать какую-то повесть для детей. Подал мне пример наш редактор П. Н. Яковлев, он в то время писал свою большую детскую книгу «Первый ученик» и читал нам главы из нее. Я тоже прочла ему и Любе Нейман главу или две своего сочинения. За мной то же сделал кто-то из деткоров, кажется, Сережа Деревянченко. Мы все нашли, что он очень талантлив. То был головорез-мальчуган из так называемой Нахаловки, ростовской окраины, славившейся своими хулиганами.

Я пригласила его почитать у меня дома, позвала на чтение

Дмитревского и Вахтина. После Деревянченко читали у меня другие деткоры — Жозя Коген, Жора Брегман, еще кто-то. Как-то само собой сложилось, что каждую неделю у нас стала собираться маленькая группа молодых людей, намеривающихся посвятить себя литературе. Дмитревский и я читали прозу, Арсений — стихи. Дмитревский придумал для группы название: ГМГ — группа молодых гениев. Были в ней: Георгий Брегман, Борис Вахтин, Сергей Деревянченко, Владимир Дмитревский, Иосиф Коген, Исай Покотиловский, Арсений Старосельский.

Мы читали, потом пили чай с простыми сухарями. Сухарей уходило неимоверное количество: народ был молодой, здоровый.

Сейчас большинства этих людей уже нет на свете. А тогда мы только вступали в подлинную деятельную жизнь.

Своими творениями мы доставляли друг другу радость. В живом соревновании крепло наше желание быть писателями.

Большинство молодых гениев жило в Ростове. Мы с Арсением ходили их провожать через «границу» — поле, отделявшее Нахичевань от Ростова.

Как-то на Садовой у Крепостного переулка остановила нас группа каких-то парней и пыталась завязать драку. Молодые гении драться не хотели, некоторые из них разбежались, Дмитревский, как работник крайкома комсомола, пытался (безуспешно) вызвать милицию, и только маленький Сережа Деревянченко, истый сын бесшабашной Нахаловки, с готовностью и знанием дела ринулся в драку.

На другой день я должна была по поручению редакции проводить какое-то деткоровское совещание в одном из ростовских клубов.

Провела я совещание, выхожу на улицу, меня останавливает незнакомый человек: долговязый, несуразно одетый — длинный плащ с капюшоном, на глазах синие очки, длинные белокурые волосы прядями спускаются на плечи.

Я даже отступила. Но незнакомец спросил:

— Товарищ Панова, вы меня не узнаете?

И я по голосу узнала Вахтина.

— Что за маскарад? — спросила я.

Оказалось, что вчерашние драчуны его таки поколотили, в частности посадили ему под глазом огромный синяк. Поэтому, отправляясь нынче сюда, в клуб, где, как он знал, он встретит меня, он надел синие очки. А потом решил надеть и чью-то старую тальму, чтобы я его не узнала.

— Ну, и на кого я похож? — спросил он.

— На народовольца, — сказала я первое, что пришло в голову.

— Правильно, — сказал он.

— А глаз болит? — спросила я.

— Нет, — отвечал он, — глаз я вылечил сразу, на месте: просто приложил его к фонарному столбу, столб железный, холодный — помог.

Я хотела было сказать ему, чтобы он приходил к нам, но подумала: «Нет, пусть сам придет, без приглашения», — и он пришел в тот же вечер.

Мне уже было ясно, что без него мне дом — не дом, и я — не я, и жизнь — не жизнь. Но о разрыве с Арсением я даже подумать боялась. Мне казалось, что это бесчеловечно, невозможно — отнять ребенка у отца. Потому что я ни за что не рассталась бы с Наташей.

И вдруг не кто иной, как Эмка Кранцберг, Экран, старый и закадычный товарищ Арсения, задал мне вопрос:

— Скажи, Вера, ты еще долго будешь тянуть эту лямку с Сенькой?

Я спросила.

— То есть как это?

— Да так, — сказал Эмка. — Тебе он давно гиря на ногах, как будто я не вижу. Ты давно его переросла.

— Эммочка, — сказала я. — Я не могу так рассуждать. Что значит «переросла»? Я этого не понимаю. Что же, по-твоему, бросить его?

— Не то слово, — сказал он. — Не бросить, а бежать без оглядки, если хочешь чего-нибудь добиться. С ним ты пропадешь.

— А он пропадет без меня, — сказала я.

— Ничего, — как-то странно произнес он. — Не пропадет. С тобой ему тоже уже трудно дышать.

Понятно, я не сделала из этого разговора никаких выводов. Все оставалось по-старому. Зачем было устраивать в своей жизни такой переворот, когда я не знала даже, может ли Борис меня любить. (Намеку Кранцберга, что Арсений меня разлюбил, я не поверила; ужасно я тогда была самоуверенная дуреха.)

Развязка пришла скоро.

В декабре 1927 года я сильно заболела: у меня сделался тяжелый приступ аппендицита. Вызванный врач поставил неверный диагноз, и, вместо того чтобы срочно оперировать, меня оставили жить с моим аппендиксом.

Второй приступ, в январе 1928-го, был гораздо более жестоким и напугал семью. Пригласили врача из клиники, знаменитого нашего хирурга профессора Н. А. Богораза.

Он сказал, что лучшее время для операции упущено, что сейчас оперировать нельзя, так как возник гнойник, но что,

безусловно, нужно поместить меня в клинику, а уж там определят момент, когда будет возможно хирургическое вмешательство.

Он сказал, что болезнь эта сложная и опасная и что в клинику надо положить меня завтра же.

В тот вечер, как всегда, собрались у нас ребята. Были Экран и Дмитревский, пришел и Боря Фатилевич с женой. Я смотрела на них печально: в тот вечер они все были мне не нужны. Погоревав, я подозвала Экрана и шепнула ему:

— Эммочка, найди мне Бориса Вахтина, я хочу и с ним попрощаться.

Уж не знаю где, но добрый, милый мой Экранчик нашел Вахтина — через полчаса они вместе входили в комнату.

— Боря, — сказала я, — завтра меня увезут в больницу, я хотела с тобой попрощаться.

А он сказал вдруг: «Деточка моя», и это получилось не прощанье, а словно бы встреча после разлуки.

Никогда Арсений не говорил мне таких слов. Он бы, наверное, счел их мещанскими.

С каким просветленным сердцем я на другой день ехала в клинику! Каким сиянием с того вечера была окрашена каждая моя минута! Как твердо я знала, что Борис в первый же день придет меня проведать, и он пришел! И никогда меня не обманывала моя вера в него! И если впоследствии мне пришлось заплатить за эту любовь величайшим горем, то было за что платить!

В клинике профессора Богораза меня сначала положили в большой, густо населенной палате, где мне сразу прожужжали уши о всевозможных ужасах. Как раз накануне в изоляторе кто-то умер от гнойного аппендицита, и мать умершего прибежала в нашу палату с криками: «Зарезали, зарезали!» Но потом Володя Дмитревский ухитрился устроить так, что меня перевели наверх, в изолятор, в маленькую палату, где кроме меня помещалась еще только одна больная.

При этом Володя использовал не столько свой служебный авторитет работника крайкома комсомола, сколько какое-то свое собственное недомогание, посоветоваться насчет которого он отправился к самому профессору Богоразу. Профессор заинтересовался этим недомоганием, а попутно Володя и выхлопотал для меня, как для работника пионерской газеты, палату в изоляторе, а заодно и пропуск для себя, дающий право навещать меня каждый день.

Вначале он пользовался этим правом, потом передал пропуск Борису, а потом дела мои приняли такой оборот, что и мама, и Леничка, и Арсений, и Наташа со своей няней Варей

беспрепятственно приходили ко мне когда хотели, а мама от меня почти не отходила.

6 февраля мне сделали операцию — благополучно удалили аппендикс, все шло хорошо и вдруг пошло очень плохо — началось гнойное воспаление брюшины. Я не понимала, что значит, когда температура утром 35˚, а вечером 41˚, но я очень хорошо понимала, почему так строг и холоден вдруг стал со мной мой лечащий врач доктор Геккер, прежде отечески ласковый ко мне, и почему, когда меня теперь везут на носилках в перевязочную, то все встречные отводят глаза, стараясь не встретиться со мной взглядом.

Взглядывая в зеркальце, я видела острый, как лезвие, чужой нос, а ногти на руках моих стали лиловыми.

Вдруг, уже в середине марта, пришли за мной днем санитары и повезли в перевязочную. Я удивилась — перевязки в этот день не должно было быть — и подумала, что санитары ошиблись. Но в перевязочной стоял профессор со всей своей свитой, и по его знаку меня сразу положили на стол. Я сказала профессору:

— Николай Алексеевич, ну зачем меня еще мучить (перевязки были очень болезненны), ведь я все равно умираю.

Он не стал меня разубеждать, а только сказал:

— Но ведь я обязан сделать все, что от меня зависит, правда?

И тотчас я почувствовала запах хлороформа — над моим лицом очутилась маска. И проснулась я только утром следующего дня на своей койке. Проснулась от боли повыше колена — это мне вливали физиологический раствор. Оказалось, что профессор Богораз, не предупредив ни меня, ни моих близких, сделал мне операцию, которая одна могла меня спасти. Впоследствии, когда я уже поднялась, доктор Геккер говорил мне:

— Эта операция войдет в историю хирургии, он — отчаянная голова, но и талант же.

Я не знаю подробностей этой операции, знаю лишь последствия: перестала скакать температура, исчезли все зловещие признаки близкого конца, я стала неправдоподобно много есть.

Очень скоро я подошла к окну и увидела зеленые ветки сада и синее небо, потом вышла в коридор и пошла по клинике. Правда, при всем том я весила перед выпиской из клиники 36 килограммов.

Опять все приходили меня проведывать, и все поздравляли, и я чувствовала себя отмеченной милостью судьбы.

Через много, много лет, в 1950 году, в перечне лиц, награжденных Государственной премией, я услышала по радио имя профессора Богораза. В том же перечне было и мое имя, я

была награждена за повесть «Ясный берег». Я дала Н. А. Богоразу телеграмму, где были слова:

«Много лет назад в Ростове-на-Дону ваше умение, смелость и талант спасли мне жизнь».

Он тогда уже работал в Москве, в 1-м Медицинском институте. Многих спас Николай Алексеевич. Но, может быть, ему все-таки было приятно получить и мою телеграмму.

Между прочим, когда я его узнала, он был инвалидом — обе ноги были ампутированы. Рассказывали, что несколько лет назад он попал под трамвай. Его доставили в клинику его имени. Он распорядился, чтобы ноги были немедленно ампутированы, и сам руководил операцией, лежа под ножом.

26. Лучезарное видение моей жизни

Лучезарное видение моей жизни: идет мне навстречу по Богатяновскому Борис Вахтин (старший из имеющихся и могущих явиться Борисов Вахтиных).

Вл. Ив. Дмитревский написал в своей книге, что у Бориса Вахтина были большие голубые глаза, — это неверно, ты забыл, Володя: и не большие, и не голубые вовсе, а темные, зеленовато-серые, чуть косо поставленные, чуть-чуть косящие в спокойном состоянии, сильнее косящие в минуты раздражения, необыкновенно блестящие: казалось, свет преломлялся в них и отбрасывался обратно снопами.

Когда он улыбался, у внешних уголков глаз появлялись морщинки, лучики морщинок, белых на розовой коже.

Он легко краснел, все лицо заливалось нежным, девичьим румянцем. Все линии этого лица были легки и прелестны, несмотря на широкие скулы и (предмет его вечных терзаний) большие уши.

Мне кажется, что комната светлела, когда в нее входил этот очень высокий человек с парадоксальной смесью скандинавских и монгольских черт лица и с бледно-золотистыми волосами, прядями откинутыми назад.

Когда я поняла, что люблю его, что он любит меня, — рука моя тянулась к этим волосам — погладить, коснуться. Но даже мне он этого не позволял, краснел, смущался, запрокидывал голову.

До его гибели было еще почти 10 лет, и мы успели полюбить друг друга, пожениться, и у нас родилось двое сыновей, названных, по вахтинской семейной традиции, Борисом и Юрием, старший в 1930 году, младший в 1932-м.

В моей памяти он всегда жив и идет мне навстречу по Богатяновскому, и его волосы сияют на солнце нежным золотом, и порой мне кажется, что когда-то я его еще увижу таким…

Я уже писала о своей болезни и об операции, которую сделал мне профессор Н. А. Богораз.

После операции меня послали в Ейск лечиться грязевыми ваннами, и Борис приехал туда. Мы с Наташей и Варей жили в дачном пригороде, называвшемся Сады, снимали комнатку в домике старухи гречанки Вазео. Вокруг домика был абрикосовый сад. Каждое утро под деревьями земля была усыпана розово-желтыми абрикосами, опавшими за ночь. По договору их можно было есть сколько угодно, только для варенья и компота нужно было их покупать у хозяйки. Ее расчет был правильный — со

второго дня ни я, ни Наташа уже и не глядели на абрикосы, а на третий день, слегка переболев, отвалилась от них и Варя.

А осенью мы вернулись в Ростов, я развелась со Старосельским и стала женой Вахтина.

Наташа к нему еще в Ейске привыкла и привязалась, так что и с этой стороны все обстояло хорошо. Арсений, в сущности, радовался такому положению вещей, так как он тогда собирался жениться. В общем, не происходило никаких драм, ничьи сердца не были разбиты, ничьи жизни не были искалечены, а я была счастлива своей любовью к Борису и его отношением ко мне.

Попытки описать человеческую жизнь изо дня в день, не пропуская ничего, не удавались даже в самых высоких из известных нам случаев («Былое и думы»). Человеческий день складывается из столь многочисленных, из столь неинтересных для других лиц событий, что непрерывно держаться на этой мелкой воде невозможно. Поэтому в этих записях я упоминаю только о том, что особенной радостью либо особенным горем вдавилось в сердце.

Мой брат Леонид, четырьмя годами меня моложе, рос хорошим тихим мальчиком, не драчуном, не хулиганом. Наша мама радовалась на него. Он нормально окончил среднюю школу и мечтал поступить в Донской политехнический институт, находившийся тогда в Новочеркасске, на химический факультет. О том же мечтал наш приятель Эмка Кранцберг, Экран. Общая цель сблизила молодых людей, я замечала — к пользе для обоих. Невыносимо дерзкий Экран стал мягче, а наш Леничка как-то шире и тверже и в выборе книг для чтения, и в каждодневных своих поступках.

Чтобы поступить в Политехнический, Экран пошел учиться на рабфак. Леничка же готовился дома с помощью какого-то образованного соседа, знавшего математику и другие мудреные вещи.

Покуда я долечивалась после перитонита в клинике профессора Богораза, Экран окончил рабфак и подал документы в Политехнический. Подал и Леничка, но ему, как сыну служащей, было почти невозможно попасть в вуз, какие бы он при поступлении ни получил оценки. Так что я, в сущности, и не знаю толком, каким образом он все-таки попал в институт. Правда, не на химический, как ему хотелось, а на металлургический. Было это в 1928 году.

Прошло время. Я покинула клинику, была замужем за Борисом Вахтиным, ждала ребенка. Леничка продолжал учиться, присылал письма. По письмам было видно, что студенческая жизнь дается им с Экраном нелегко. Как-то мы с мужем съездили

к ним в Новочеркасск, где они снимали комнату «от хозяйки», и собственными глазами убедились в трудностях этой жизни. А между тем я стала замечать, что у моей мамы и мужа день за днем портятся отношения. Первоначально испытывавшие друг к другу чувства симпатии и уважения, оба вдруг стали раздражаться по мелочам, вести себя так, будто они были людьми с разных планет, случайно встретившимися в какой-то точке мирового пространства. Я слышала, что между зятьями и тещами складываются такие отношения, но здесь оба были мне кровно близки, я не могла понять причины этих перемен и очень мучилась. Весной 1930 года Леничка написал нам, что уезжает на студенческую практику на Украину, в Енакиево, работать на домне. Нас сильно печалила разлука, но тут уж делать было нечего: было так необходимо, чтобы он окончил учение и вышел, как говорится, в люди. Но вот 28 мая, проснувшись и лежа в своей комнате, я вдруг услышала рядом, в маминой комнате, ее заглушенные крики: «Что же мне делать? Что же делать?»

Я выбежала к маме. Она молча подала мне телеграмму. Там было написано: «Приезжайте немедленно, Леонидом несчастье». Телеграмма была из Енакиева.

— Так что же мне делать? — спросила мама.

— Ну конечно, ехать, — сказала я, — вот сейчас и поедем вместе.

Но тут пришел дядя Володя, мамин брат, за которым успели послать (он жил близко, за углом). Они с мамой стали убеждать друг друга, что мне ехать никак нельзя, потому что я жду ребенка, а что нас ждет в Енакиево неизвестно. Болезнь это или несчастный случай, который легко мог быть тогда в горячем цехе?

Мне позволили только проводить их на вокзал, и я видела, как они, оба постаревшие и сгорбленные, идут по платформе к своему вагону. Я бросилась домой. Мне казалось, что там мне будет легче. Все вдруг на этих улицах стало такое чужое и далекое. А дома на рояле уже лежала вторая телеграмма: «Леонид умер похороны вторник».

Мне подумалось: «Они успеют». Но это не принесло мне утешения. Они вернулись на другой день после похорон. Леничка умер от воспаления легких. Через несколько дней студенты, хоронившие его, прислали маме копию надписи, которую они водрузили на его могиле. Мы стали жить дальше, спасаясь от отчаянья благодатной дребеденью текущего дня.

Все мы, даже маленькая Наташа, очень старались беречь мою маму, потому что она заболела тяжелой нервной болезнью. Я боялась, что эта болезнь не пройдет никогда. И словами, и мыслями мама ежеминутно возвращалась к своему горю, ни о чем

другом просто не слышала. В это время все выводило ее из себя: шаги, удары детского мячика, легкий звон закрываемого окна.

К счастью, оказалось, что проходит и это. Даже быстрее, чем я надеялась. Как это ни странно, выручило веселое слово. Мама, несмотря на несчастья и порожденный ими пессимизм, всегда любила шутку, смешную историйку, хороший каламбур. Вот мы с Борисом, дядей Володей и присоединившимися к нам Экраном и Старосельским не отходили от мамы. Причем каждый выкладывал свои запасы шуток и анекдотов. И что же? Моя мама понемногу стала улыбаться, а скоро мы услышали ее знакомый открытый, какой-то доверительный смех, выражавший вот что: «Вы сами видите — я не хочу смеяться, я не могу смеяться, так зачем же вы меня так смешите?»

В 1930 году родился наш с Борисом старший сын. Роды опять были тяжелые, а меня уверяли, что вторые всегда бывают легче, и в муках я, как, думаю, все женщины, клялась, что никогда ни за что больше не буду рожать.

Сын родился крупным, в 3,5 килограмма, и отнюдь не красавцем. Да еще когда ему закапали чего-то в глазки, у него совершенно слиплись ресницы, только в щелочках проглядывало что-то голубенькое. Когда Борис позвонил из редакции, ему сообщили, что у него родился сын, и, по обыкновению, добавили:

— Красавец.

А через час Борис сам приехал в больницу и попросил показать сына. И когда увидел, то сказал:

— М-да!

Надо сказать, что он был совершенно уверен, что у него будет сын, и эта уверенность почему-то выводила из себя всех его товарищей по отделению «Комсомольской правды», где он тогда работал. И когда они услышали, что он звонит в больницу, то спросили:

— Неужели сын?

— Ну конечно, сын, — ответил Борис, и они очень рассердились, что не помешало им в тот же вечер явиться к нам с целыми снопами белых хризантем.

Борис работал в отделении «Комсомольской правды» заместителем заведующего, а заведующим был Володя Третесский. Через несколько дней после рождения сына отцу пришлось уехать в командировку в Москву. И что же, я изо дня в день видела, как хорошеет наше дитя, которое отец встретил таким разочарованным «м-да». Я с нетерпением ждала возвращения отца, чтобы предъявить ему это, как мне казалось, чудо, и не утерпела телеграфировала, что наш сын неслыханно похорошел. Я боялась, что он мне не поверит, но была

вознаграждена за все, когда, вернувшись и подойдя к ребенку, лежавшему на моей кровати, он сказал:

— Какой хорошенький!

Летом 1931 года мы с Борисом и с детьми (Наташей и Борей) поехали в Шишаки, село Полтавской области. Там Борис представил меня своей матери Марии Петровне Колтовской (по второму мужу) и ее старинной подруге Марии Владиславовне Кошевой, урожденной Коробко. Эти две Марии были подругами со времен института, где обе они воспитывались. Благодаря М. В. Кошевой семья Вахтиных знала и любила село Шишаки: у Марии Владиславовны там был домик, оставленный ей ее матерью, сельской учительницей. В домике были три комнаты и кухонька, а при домике — сад, огород и все, что полагается, любовно хранимое и ухоженное. И сама Мария Владиславовна, хозяйственная, опрятная, добрая, с ловкими движениями и вкусной полуукраинской, полурусской речью, очень была привлекательна.

Мать же Бориса, в прошлом красавица несколько итальянского типа (она была урожденная Арнольди), в то время еще была хороша собой и очень моложава, хотя ей было уже под пятьдесят.

Там прожили мы июль и август 1931 года, купались в Псле, дышали, радовались.

Осенью мы вернулись оттуда в Ростов, все было пошло по-старому, и вдруг Борис упорно заговорил о переезде в Москву.

Туда уезжал Третесский — служить в «Крестьянской газете», загорелось и Борису, он стал просить Третесского найти ему работу в Москве. Мне не хотелось, но когда Борис уехал (Третесский устроил его в многотиражку на завод «Электропровод») и написал мне, что у него есть комната и что он меня ждет, то, конечно, поехала и я. Ехала с каким-то смутным страхом (до этого я только раз, осенью 1931 года, была в Москве), но поначалу все показалось очень мило: ласковый, довольный моим приездом Борис, неплохая комната — правда, в полуподвальном этаже — на шоссе Энтузиастов (нравилось название) за Рогожской заставой, и с нами поселился ростовский наш товарищ Яша Волчек (ныне драматург), он тоже поступил в многотиражку «Электропровода», и к Третесскому мы часто заходили в «Крестьянскую газету» на Воздвиженку, и Володя Дмитревский к нам заезжал со своей женой Наташей, так что и друзья были, и дом, и работа. Правда, с хозяйством было трудно, даже керосин для примуса добывали по каким-то особым талонам, которые приносил Борис, из продуктов главным образом консервы, но на Мясницкой у частных торговок мне

иногда удавалось купить отличное вологодское масло (кремового цвета бруски в пергаментной бумаге), а иногда в нашем плохоньком магазине продавали паштет в жестянках или сгущенное молоко, тогда мы вкусно ели. Паштет я пережаривала на сковороде с луком и маслом, и он становился нежным и вкусным. И чай со сгущенкой был совсем не то что без сгущенки.

Первую половину зимы мы прожили таким образом Мама писала нам о детишках, что все нормально, и мы считали себя устроенными. Но потом я стала хворать, и у меня на морозе стали делаться обмороки, несколько раз я падала на улице и в трамвае. Стала очень тосковать по теплу, по жаркой печке. Помню, в какое-то утро мы все не могли дождаться, когда же рассвет: что ни проснемся, все темно да темно. Пока не сообразили, что наше большое окно, выходившее во двор, почти доверху завалено сугробом (вероятно, ночью была метель). Борис пошел отгребать снег и, вернувшись, принес в ладонях крохотного мышонка, которого откопал в снегу под окном. Мышонок был жив-здоров, мы его покормили, и он до весны жил у нас в комнате, появляясь, как только мы садились за стол.

Я себя чувствовала все хуже, обморочное состояние начинало меня мучить, как только я выходила на улицу. Выяснилось, что я жду ребенка.

Так дал знать о своем приближении мой сын Юрий.

Я представляла себе, как уже теперь тепло у нас в Ростове, и мне до слез хотелось туда, к югу, к акациям, которые скоро зацветут (в Москве вокруг нашего дома всюду еще лежали пласты грязного льда). Наконец Борис благословил меня на отъезд, и я уехала.

Я нашла детей не такими лучезарно благополучными, как писала мама, они недавно перенесли ветрянку, и я полностью переключилась на них.

Началась очень сумбурная жизнь, я зарабатывала тогда мало, мы вечно ждали денег от Бориса, он тоже зарабатывал от случая к случаю, и это было трудно при такой большой семье, где все, от стара до мала, зависели от нашего благополучия.

Бабушка Надежда Николаевна стала сильно болеть.

Детишки требовали массы забот, мои обмороки не прекращались, я упала однажды на Садовой, несколько раз — у нас вблизи дома на 1-й линии. Очень трудный, помню, мы прожили год.

Весной 1932 года Борис написал, что он уходит из многотиражки и думает вскоре вернуться в Ростов. Он не назначил, когда именно, но в начале июня — помню, было воскресенье — мы сели обедать, и вдруг, подняв глаза, я со своего

места увидела в окне его лицо, лицо под серой кепкой, и его плечи под черным кожаным пальто. В этом пальто в февральскую ночь 1935 года он ушел из дому уже невозвратно. В этом пальто в сентябре 1936 года я видела его в Кеми, уже в самый последний раз, в проклятой избе за колючей проволокой.

27. Зима 1934/35 года

В этом году наши домохозяева продали свой дом артели ломовых извозчиков. Чтобы освободить дом от жильцов, ломовики сняли нам квартиру (очень невзрачную) в домике рабочего-застройщика Заднеулицына в доме 80в на Богатяновском проспекте (ныне проспект имени Кирова). Мы переселились туда 24 ноября 1932 года. Я принимала в переезде большое участие, передвигала и поднимала тяжелые вещи и неудивительно, что утром 25 ноября, проснувшись, почувствовала предродовые боли. Я немедленно пешком пошла в ту самую частную больничку Р. Е. Собсович, где родились оба мои старшие. Там все было, как прежде, белоснежно и педантично.

Меня, как прежде, без конца мыли, прежде чем уложить на койку, к которой было приставлено огромное кресло с приготовленной для будущего младенца постелькой.

Имея уже двойной опыт, я боялась родовых мук, и меня убеждали, что в третий раз мне покажется совсем легко. Это оказалось пустой болтовней, боли были столь же мучительны, как в первый и во второй раз, и вдобавок случилось следующее: после многих схваток мой мальчик вдруг повернулся во мне (я почувствовала этот поворот, подобный толчку, сотрясшему все мои внутренности) и пошел не головкой, а ножками. Розалия Елеазаровна и ее помощницы страшно всполошились и стали готовиться: приготовили таз с горячей водой и таз с холодной, и когда дитя вышло, его стали окунать попеременно то в один таз, то в другой, а в промежутках усердно растирать мохнатым полотенцем и делали это до тех пор, пока оно не чихнуло. Чихнув, оно стало дышать, а затем немедленно залилось голодным криком, требуя пищи. Наташа, родившись, целые сутки не просила груди, довольствуясь слабым теплым чаем с ложечки, Боря попросил грудь лишь часа через четыре после рождения, Юрочка же затребовал пищи сразу, едва глотнув воздуха. Он взял сосок губами уверенно и твердо и сразу стал сосать, словно его этому кто-то научил. Это, а также то, что он от рождения был очень похож на отца, необыкновенно сильно привязало меня к нему.

Я уверена, что если бы жизнь не разлучила нас с Борисом так рано и жестоко, то у нас было бы еще много детей, еще много красивых и умных сыновей, потому что мы были так молоды и так друг друга любили.

С рождением Юрика возникло много бытовых затруднений, маме было очень трудно управляться с тремя детишками, няньки

попадались все такие, которым мы не решались доверить наши сокровища, бабушка Надежда Николаевна стала очень хворать, и маленькие дети ее беспокоили, а главное, на юге начался тот голод, от которого осталось так много могил в сельских дворах Северного Кавказа и Украины. Мы питались плохо, и у меня очень скоро стало не хватать молока для моего маленького. С разрешения врача я его стала очень рано прикармливать, так что он не голодал, но зато, отведав молочного киселька, манной каши и сладкого кофе с молоком и печеньем, он наотрез отказался от моего молока, и на этой почве между нами каждый день происходили драмы.

Потом стало полегче. Сперва Бориса, а потом и меня прикрепили как ударников к каким-то закрытым распределителям, и голодать мы перестали. На базаре появились (правда, по баснословным ценам) молочные продукты, яйца и мясо. Старших двух детей устроили в частную группу с немецким языком, там они проводили время до обеда. Борис стал работать в краевой газете «Молот», где его зарплата была выше.

Зима 1934 года была для нас светлой (свет перед наступлением полного мрака). Мы оба любили своих детишек и свой угол и старались пораньше прийти с работы, чтобы провести вечер в кругу семьи. Борис находил, что я не так купаю детей, как надо, и купал их сам, и действительно, он так ловко мыл им головы, что мыло совсем не попадало им в глаза и у него они никогда не пищали. Он купал их, сажая в ванночку по двое, и стоял над ними с засученными рукавами, а я их принимала одного за другим из его рук, чтобы вытереть нагретой у печки простыней. Мы оба любили это занятие. Еще больше Борис любил после обеда лечь на кровать в нашей крохотной спальне, а дети чтоб садились на него верхом (Юрик садился ему на грудь, Боря на живот, а Наташа на колени), и он им рассказывал всякие сказки и истории.

Помню такой случай: Наташа очень раскапризничалась, невозможно было ее ничем успокоить, и Борис стал ей говорить, что ее капризы очень огорчают маму, то есть меня, что я могу от этих огорчений заболеть так сильно, что придется положить меня в ящик и закопать в землю навсегда. Он так прочувственно это рассказывал, что и у него, и у меня навернулись слезы. Дитя же, прослушав внимательно до конца, сказало:

— Расскажи еще раз.

Борис дурно выговаривал букву «р» — у него получалось то «л», то «в», то вообще ничего не получалось. Схожие нелады были у него и с буквой «л». Помню, как однажды, показывая детям картинки в какой-то книге, он вдруг громко позвал из спальни:

— Вера! Иди скорей!

Я пришла.

— Скажи им, как называется эта птица, — сказал он, показывая на картинку.

Птица была орел. Он никак не мог ясно выговорить это название.

Первоначально Борис занимал в редакции «Молота» место завотделом информации. Информация передавалась по вечерам, поэтому вечером он был занят в редакции и возвращался поздно. Утром он тоже ехал в редакцию, а до этого мы завтракали всей семьей, причем Юрик радовал нас и забавлял своим аппетитом. Отец съедал яичницу из трех яиц и выпивал два стакана кофе, и Юрик съедал яичницу из трех яиц и выпивал два стакана кофе. Старшие ребята ели хуже и капризничали, Юрик — никогда.

К обеду Борис возвращался из редакции, и обедали мы опять-таки всей семьей. Затем он ложился отдохнуть в нашей комнатке, а детей усаживал на себя, и они час-полтора премило играли в этой позиции. Игры придумывал отец. В это время он рассказывал им что-нибудь и читал книжки.

Как сейчас вижу эту бедную комнатку, на окне ситцевая занавесочка, перед окном маленький письменный стол, под углом к нему кровать, на ней лежит плашмя Борис, на Борисе лепятся детишки.

Боже мой, кому и чему это мешало, что мы были счастливы?

Впрочем, и тогда у нас были горести. Стала очень хворать и быстро шла к концу бабушка Надежда Николаевна. Она давно уже мучилась тяжелыми болями и раза два ложилась в клинику для исследования, но определить ее болезнь врачи не могли. Когда боли становились нестерпимыми, она опускалась на колени перед своей постелью и прижималась к ней животом, ей казалось, что это облегчает боль. Она скончалась на руках у мамы и у меня. Я помню, ее смерть очень поразила Бориса, я не понимала, почему это так, пока не догадалась, что он попросту боится вида смерти и мысли о ней. Когда покойницу стали поднимать, чтобы положить в гроб, и во время подъема из мертвой груди вдруг вырвался легкий всхлип — Борис закричал так страшно, что я за него испугалась.

Мы похоронили бабушку. В похоронах приняла участие моя свекровь Мария Петровна, приехавшая нас проведать. Она не знала, что на юге голодно, мы ей об этом не писали, и взяла с нас слово, что мы приедем на время своего отпуска к ней в Ленинград.

«Я вас откормлю, — сказала она, — у нас в Ленинграде все есть». Я очень радовалась предстоящей поездке, мне хотелось

повидать Ленинград, о котором Борис рассказывал с таким восторгом.

В августе мы с Борисом получили отпуск и тотчас же поехали в Ленинград, взяв с собой Наташу и Борю, как того хотела свекровь. Она жила близ Карповки, на улице Литераторов, в доме, принадлежавшем когда-то мужу актрисы М. Г. Савиной. Теперь там были обычные, коммунальные квартиры, в одной из них жила Мария Петровна. У них были преоригинальные соседи бывшая камеристка Савиной (кажется, ее звали Мария Уаровна) и ее брат (помнится, Уар Уарович), в прошлом — придворный лакей, теперь — сапожник. Оба они рассказывали много интересного о прежней жизни, особенно о Савиной, о которой Мария Уаровна знала всю подноготную. Мы, впрочем, жили не у свекрови, а где-то поблизости у ее знакомых сняли на месяц комнату. Детишки же жили на улице Литераторов с Марией Петровной и с котом Зайкой (опять Зайка), тоже довольно необычным котом. Его необычность обнаружилась в первый же день по нашем приезде. Мы привезли Марии Петровне две корзины помидоров и свежих огурцов. Она разложила их на подоконнике, возле которого стоял обеденный стол. И вот, едва мы сели обедать, вижу: кот Зайка, распушив трубой хвост (вернее, половину хвоста, другую половину у него отъели крысы, когда он был еще котенком), вскакивает на подоконник, лапой сбивает на пол один из огурцов, и тотчас же внизу слышится сочный хруст. «Ах ты воришка!» — восклицает свекровь и поясняет, что Зайка больше всего на свете любит свежие огурцы; поставь на окно молоко, масло, сало не тронет, а огурец непременно украдет. Я бы этому не поверила, если б Зайка в тот миг не доедал украденный огурец возле моих ног. Потом я видела, как он уплетал и помидоры, и арбуз, и дыню, — уникальный вкус был у этого кота.

В тот же день Борис повез меня смотреть город. Мы были в Александринском театре, смотрели «Маскарад», потом шли пешком через Марсово поле (не думала я тогда, что буду когда-нибудь там жить, на углу Марсова и Мойки), потом по мосту на Петроградскую сторону. При свете вечерних фонарей я впервые увидела памятник Жертвам Революции, и памятник «Стерегущему», и поразившую меня прекрасную мечеть. Любовь к Ленинграду пронзила меня мгновенно, это была любовь с первого взгляда, и когда в последующие дни Борис показывал мне улицу Зодчего, Росси и другие красоты города, моя любовь к Ленинграду даже не усиливалась — она была уже достаточно сильна, чтобы остаться в сердце навек.

Мы почти каждый вечер ходили в театры, даже несколько раз

были в оперетте. Я не любила оперетту, но Борис любил, и ради него я смотрела и «Сильву», и «Фиалку Монмартра», и «Шоколадного солдатика» (этот был поинтеллектуальнее прочего, так как текст на него писал Бернард Шоу). Смотрели «Свадьбу Кречинского» и «Страх» Афиногенова. Борис любил театр, да и я тогда уже любила. Меня неприятно поразили только актеры, не понравился ни Юрьев в роли Арбенина, ни Корчагина-Александровская, игравшая Клару в «Страхе», ни Вольф-Израэль в роли Нины в «Маскараде». Я находила, что все они гораздо провинциальней наших ростовских актеров. Борис сперва спорил, а потом согласился со мной, но знатоки очень на нас сердились и говорили, что оба мы ничего не понимаем. Увы, посмотрев «Маскарад» вторично, я утвердилась в первом своем впечатлении. Выспренность, недостоверность, провинциальное подвывание были присущи многим актерам. Нет, не понравились мне ленинградские актеры. Зато Казанский собор, мечеть, улица Росси, набережные, мосты — это засело в сердце как занозы.

Вывозил меня Борис и за город, показывал Петергоф. Ходили с ним и в Эрмитаж, где впервые я повидала настоящую живопись и скульптуру. Они меня, впрочем, не поразили. Возможно даже, что я в воображении своем представляла их себе не то чтоб более прекрасными, но более говорящими моему уму и сердцу.

Точно так же ничего мне не дали в тот раз статуи Летнего сада и фонтаны Петергофа: взглянула и пошла себе дальше, нисколько не затронутая. Красота античных форм так и осталась для меня, к сожалению, навсегда безразличной и далекой. Живопись иногда доходит до души, но не часто: то Шагал, которому я бы хотела уподобиться в прозе, то какая-нибудь икона, то какое-то странное темно-серое полотно, на котором взрываются какие-то туманные желтые зародыши новых вселенных — это полотно я видела в Нью-Йорке в музее Гугенгейма и долго стояла перед ним. Но гораздо сильнее, чем живопись, ощущаю слова, подобные этим строкам Мандельштама:

> Художник нам изобразил
> Глубокий обморок сирени.

Нелепо, и нельзя объяснить почему, но для меня эти строчки передают всю гамму лилового, от самого нежного до почти черной фиолетовости грозовой тучи. Не спрашивайте объяснений, не спрашивайте, почему мне не нравится статуя Антиноя и почему нравится картина Рериха «Борис и Глеб». Почем я знаю?

Собираясь в Ленинград, я боялась, что мои более чем скромные платья не будут уместны в столь блестящем городе, и

заранее стеснялась. Но походив по Ленинграду, убедилась, что тут всяк одет кто во что горазд и что у нас в Ростове тряпкам придают гораздо более значения, чем здесь. И успокоилась.

В общем, мы прожили свой отпуск очень хорошо. А когда вернулись, жизнь потекла так же, как до отпуска: в заботах о семье, в работе, в тихой радости, которой суждено было продлиться так недолго.

Новый, 1935 год мы встречали у Бориса Фатилевича (Борьки Короткого) и его новой жены, молодой актрисы.

Я уже писала, что Боря Фатилевич поставил в своем театре мою пьесу «Весна». Пьесу эту я потеряла, и нисколько не жалею, так как она была совершенно ученическая и подражательная, но спектакль был для меня целой бурей новых переживаний. Когда пошел занавес и я увидела оформление, которым Фатилевич заранее хвастал: черный бархатный задник, на нем вверху звезды, а внизу воздушные очертания цветущих садов, — я как-то вдруг и сразу ощутила, что не все дело в том, что мною написано, дело и в том, что приложили к этому другие люди — вот, например, художник, который придумал этот черный бархат, да и наверняка Фатилевич, а еще ведь актеры! И когда на сцене появилась жена Фатилевича, под гримом прекрасная, какой она никогда не была в обычной жизни, мне показалось, что слабое мое детище эта пьеса подхвачена множеством умелых и добрых рук, которые это детище выходят и вырастят.

С тех пор я не раз видела на сцене свои пьесы и убедилась в том, как много в спектакле зависит от актеров, от режиссера, художника, от музыкального сопровождения, но ведь тогда это было впервые — как первый поцелуй…

Спектакль прошел гораздо лучше, чем я ждала, в зале даже хлопали, но долго на сцене он не удержался — слишком слабенькая была пьеса. Однако я до сих пор благодарна Боре Фатилевичу за то, так сказать, первое приобщение мое к театру. Если я стала драматургом и написала целую книгу пьес и некоторые из них довольно долго продержались на сцене — к этому, несомненно, причастен в какой-то мере и Борис Фатилевич.

Итак, мы встречали Новый год.

Было много актеров, много выпивки и много шума. Мне это все не понравилось настолько, что я с тех пор возымела отвращение к подобным сходкам с непрерывным чоканьем и криком. Но Борис мой был доволен, и слава богу. Больше уж нам ни разу не пришлось вместе бывать где-либо в гостях. И вообще нам оставались считанные дни более или менее спокойной жизни, только мы этого еще не знали…

28. Крах

Вечером 1 декабря 1934 года Борис, как это бывало часто, задержался в редакции для приема информации. Я прилегла на кровать, у изголовья которой стояла тумбочка с телефоном. Почти сейчас же в ухо брызнул звонок. Борис сказал: «Вера, в Ленинграде убили Кирова». Я воскликнула: «Это ужасно!»

Но это тривиальное слово и в тысячной доле не выражало моих тогдашних чувств. В голове покатились какие-то туманные, ни с чем не сообразные, я бы сказала, средневековые мысли. Почему-то сразу стало ясно, что с этого момента вся жизнь наша пойдет совершенно иначе.

Помню другой роковой день.

Я выпускала газеты в типографии. Металлический стол, колонки линотипного набора, груды влажных бумажных листов для оттисков, разбросанные верстатки и щетки, придирчивый метранпаж в черной спецовке, все как всегда. И вдруг зовет кто-то из наборщиков (кажется, Харламов):

— Товарищ Панова, вас просят к телефону.

Бегу через длинный наборный цех между линотипов, хватаю трубку. Голос мужа:

— Вера? Ты можешь сейчас же, не откладывая, приехать домой?

Конечно, пугаюсь, конечно, спрашиваю:

— Что случилось?

— Не спрашивай ничего, отвечай: можешь или нет приехать сразу?

Конечно, отвечаю, что могу. Конечно, сердце леденеет сразу от этого короткого разговора, но оно еще не знает правды, оно еще на ложном следу: ему почудилось, что стряслось что-то ужасное с кем-то из детей.

Как бегу по гололедице к трамвайной остановке, как еду в трамвае, как добираюсь до дома, — ничего не вспомнить: мутный сон и холод ужаса. Но вот я дома, в нашей маленькой комнате. Вот мама. У нее лицо спокойное. На мой лихорадочный вопрос:

— Дети? — она отвечает:

— Дети в порядке.

И вот Борис. Лицо потрясенное, губы еле шевелятся:

— Меня уволили по обвинению в троцкизме. По обвинению в том, что я скрыл при проверке партдокументов свою причастность к троцкизму. И сегодня это будут обсуждать на партийном собрании.

Все это свалилось на него внезапно: сидел за своим

редакционным столом, работал — вдруг его вызвали к редактору Шаумяну (сын бакинского комиссара Шаумяна, одного из 26-ти), и тот ему все это изложил.

— Наверно, исключат из партии, — сказал Борис.

Я была тогда еще дура набитая. Обе мои первые мысли были дурацкие. Первая, которую я высказала вслух: «Может, еще и не исключат». Вторая, которой я, слава богу, не высказала, была еще глупей: «А все потому, что забыл сказать на том собрании, что в Ленинграде принадлежал к оппозиции». Я не знала тогда, что это ровно ничего не значило — сказал, не сказал, что это поражает равно сказавших и не сказавших, виноватых и безвинных, что это падает на человека, как удар молнии. Ничего я тогда еще не знала, поняла только, что беда подошла вплотную, неминучая, страшная, всем бедам беда.

Борис сказал две вещи:

1) Лишь бы не арестовали, остальное еще туда-сюда.

2) Пойду к Фалькнеру.

Как ни была я глупа, но все же сказала:

— Ничего он тебе не поможет.

Мы смогли тем не менее пообедать, а потом Борис ушел на партсобрание, сказав, что позвонит мне оттуда.

Телефон на тумбочке зазвонил раньше, чем я ждала. И сейчас же в трубке раздался голос:

— Вера? Исключили!!!

Что я могла сказать? Я сказала:

— Иди домой.

А шестого февраля добрейший Полиен Николаевич Яковлев вызвал меня к себе в кабинет и сказал:

— Вера Федоровна, поверьте, мне это очень трудно вам говорить, но нам придется расстаться.

Приказ был вывешен с молниеносной быстротой, и больше я на работу во «Внучата» не ходила. Вместо Яковлева редактором стал Лева Краско вероятно, Яковлева убрали за то, что не сразу уволил меня, жену исключенного из партии. Когда я вернулась домой с известием, что я безработная, Борис сказал:

— Давай подумаем, как сократить наши расходы.

Мы уволили домработницу — без всякого сожаления, так как она была никудышная, и отказались от услуг некоей Флоры Федоровны, дававшей Наташе уроки немецкого языка. Остальные расходы сокращать было невозможно — нужно было есть-пить, как-то одеваться, чинить обувь и т. п.

В следующие дни пришла маленькая надежда — Борис, как намеревался, пошел к Якову Фалькнеру, и, против моего ожидания, Фалькнер захотел ему помочь — он в последнее время

сдружился с Борисом и, должно быть, просто не мог видеть в нем врага народа. Фалькнер обещал Борису устроить его на завод «Ростсельмаш».

— Конечно, — сказал Фалькнер, — ваших привычных журналистских заработков там не будет, но прожить можно. (А мы уж ни о чем ином и не мечтали…)

Он сдержал обещание — 11 февраля, это был канун выходного дня, Борис впервые пошел на работу на «Ростсельмаш». Вернулся часов в шесть, перед вечером, веселый, и на мои вопросы ответил, что его поставили работать подручным слесаря, что не боги обжигают горшки, что он очень скоро вполне сживется с этой работой и что все еще, может быть, будет не так уж плохо. Мы пообедали. Это был наш последний обед. Выпили чаю и рано легли спать, так как Борис чувствовал себя все-таки усталым после непривычной работы на станке.

В середине ночи я проснулась от каких-то голосов за дверью и от грохота болта. Прислушалась и поняла, что мама кому-то отворяет, различила голос домовладельца Матвея Карповича и как-то вдруг поняла все. Поняв, спросила:

— Борис, ты слышишь?

— Да, да! — ответил он и сразу сел, и сразу в дверь стали входить люди: Матвей Карпович (они его взяли в понятые) и два незнакомых: военный в буденовке с красной звездой (потом узнала, что его фамилия Анисимов) и штатский в очках (впоследствии узнала и его фамилию — Аппельбаум).

Уж не помню, кто из них предъявил ордер на обыск у гражданина Вахтина Бориса Борисовича, заключив фразой: «с последующим вашим арестом». Обыскали прежде всего нашу комнату (дав мне предварительно встать и одеться), потом мама, бедная мама, повела их в детскую. Конечно, ее расчет был нелеп, разве этих людей мог умилосердить вид троих спящих детишек, но мы все были тогда простаками, не смыслящими ни аза.

Во время обыска я раза два открывала входную дверь, выглядывала во двор: светало, мела метель, крылечко все пуховей, все выше зарастало снегом. Больше всего они провозились с книжным шкафом, каждую книгу брали за корешок и трясли, а потом кидали на пол. Из одной книги выпала пачка облигаций госзаймов, из другой — деньги, полученные мною при увольнении. То и другое нам вернули тотчас же предупредительнейшим образом. Никакого проку от этого обыска явно не было, да они и не добивались его, им нужно было проделать все формальности, прежде чем арестовать человека.

Мне они велели дать ему с собой смену белья (еды никакой) и в понедельник прийти на улицу Энгельса, 33, там мне скажут,

какие передачи и в какие дни я могу делать.

Не помню, как я дожила эту ночь. Помню, что на другой день я сидела у нашего маленького письменного столика и писала письмо М. И. Калинину. Сколько таких писем было мной написано в дальнейшем, и все до единого напрасно. Но в тот день я была слепа, как новорожденный щенок, горе сжимало мне горло, не давало дышать, и я писала, еще надеясь, что от этого что-то может измениться.

Помню, что весь этот день меня, кроме ощущения железного ошейника на горле, не покидало ощущение ледяного холода — я набрала полные туфли снега, когда бежала к воротам вслед за Борисом и теми, кто его уводил.

В тот же день я собрала еду и белье, чтобы завтра же, в понедельник, отнести по указанному адресу. (Надеюсь, адрес я этот указала правильно, если нет, меня поправят многие и многие, кто помнит лучше.) В понедельник спозаранок пустилась в путь. Как сейчас вижу эту дверь, такую обыкновенную, и эту заплеванную, забросанную окурками лестницу. У двери на каменном крыльце стоял часовой, он пропустил меня без всяких вопросов. Поднялась — на первой же площадке налево дверь, в двери окошечко, у двери стоит какая-то маленькая старушка. Я прильнула к окошку, оттуда спросили:

— К кому?

— К мужу, — глупо ответила я.

— Фамилию скажите.

Я назвала: «Вахтин», — мне сказали:

— Давайте, — и я передала в окошечко мои свертки и пакеты, довольная собой, что правильно распорядилась — принесла передачу, ни у кого не спрашиваясь. И вдруг маленькая старушечка берет меня за локоть:

— Вахтина арестовали? Когда?

— Прошлой ночью, — отвечаю.

— Я — мама Вали Вартанова, — сказала маленькая старушка, — его тоже арестовали в ту же ночь.

Разумеется, мы уже не могли отстать друг от дружки — вместе пошли вон из окаянного дома. Выяснилось (сверили по времени), что прямо от Вартановых они поехали к нам. Розалия Георгиевна сказала, что они приезжали в черной машине, я этой машины не видела, хоть и выбегала за ними, когда они выходили. Спросили друг друга о некоторых общих знакомых. Но в тот день и Исай Покотиловский, и Володя Третесский были еще на свободе, их арестовали позже, когда именно — не знаю.

С милой, приветливой Розалией Георгиевной мы стали встречаться очень часто — и не только у той двери с окошечком,

мы стали бывать друг у друга. Я познакомилась с ее дочерью Варюшей, сестрой Вали Вартанова. Варюша была красавица редкая, прекрасная, как шемаханская царица. Она была замужем за зубным врачом Василием Тихоновичем Галкиным. Он ее обожал и баловал, как мог, хоть за одно свое дитя Розалия Георгиевна могла быть спокойна. За Валю же ее сердце обливалось кровью денно и нощно. Это была та материнская скорбь, которой не изжить до гроба, те святые слезы, о которых писал Некрасов.

Позже к нам присоединилась Сима, сестра Исая Покотиловского. Мне с этими женщинами было легче, чем с кем бы то ни было, нас объединяло общее горе и общие бредовые мечты, что авось вдруг что-то изменится, вдруг да забрезжит надежда. Увы, эти мечты были совершенно беспочвенны, ниоткуда не блистало ни малейшего луча, люди вокруг падали и падали. Почти в каждой семье было такое же горе, как у нас, то есть у меня, у Вартановых, у Покотиловских.

Кстати, если бы не эти несколько женщин, уравненных со мной роком в моей отверженности, мне бы почти не с кем было знаться. Володя Филов, родственник и почти друг детства, на другой день после моего увольнения из «Внучат» без обиняков дал мне понять, что нам незачем впредь встречаться. Те, что во «Внучатах» льстили мне сверх всякой меры и даже изображали из себя моих учеников — Давид Гоухеров, Женя Вакурская, Люсьен Штокгаммер, встречая меня, заблаговременно перебегали на другую сторону улицы, чтобы кто-нибудь не увидел их близко от меня. Через много, много лет, уже будучи трижды лауреатом Сталинской премии, я получила большое письмо от Люсьена Штокгаммера. Он мне напоминал, как мы оба когда-то работали во «Внучатах», и просил меня ему помочь — в чем же? Ни более ни менее как получить повышение в чине, он служил тогда в армии и его, по его мнению, очень долго не производили не то в капитаны, не то в майоры, уж не помню. Как ни была я уже приучена к подобным письмам, но очень тогда удивилась Люсиному посланию. Пришлось ему ответить, что он обратился не по адресу, что я не маршал и даже не генерал и чины раздавать не могу.

Но и тогда нашлись люди. Веня и Миррочка Жак ни на йоту не изменили прежнего дружеского и доброго отношения ко мне. Женя Безбородов, прежде бывавший у нас очень редко, тут вдруг зачастил и всячески старался подбодрить меня живым разговором и шуткой. Милый Полиен Николаевич, встречаясь на улице, всегда останавливался, пожимал мне руку, называл, как в прежние времена, Верочкой, говорил: «Что делать, дружок, у вас

дети, надо жить, надо держаться». И даже угрюмая Белла Плотникова, библиотекарша, ласково улыбалась мне. Не говоря уж о Сарре Бабенышевой та, как и Жаки, помогала мне не только добрым словом, но иной раз и материально. Помню, не стало у нас угля, нечем было протопить, и Саррина мама сказала: «Приходите к нам, Верочка, берите сколько вам нужно, у нас еще есть». Я пошла к ним и принесла полное ведерко угля, затопила печку и выкупала детей. А милый Эммочка Кранцберг стал каждый месяц присылать мне деньжат…

Зато и удивила меня в те дни любимая моя Люба Нейман, «рыжая». Пришла ко мне и, когда я не удержалась от сетований, сказала буквально следующее:

— Вера, у нас никого не сажают без вины, это мне Вася сказал, я ему верю. (Вася, ее муж, был чекист.) — Впрочем, то же самое сказал мне Яша Фалькнер, когда я сдуру разлетелась к нему с жалобой на то, что меня не берут на работу даже санитаркой в больницу.

— Что делать, Вера, — сказал Фалькнер, — в этом ты можешь винить только своего Бориса.

Я сказала:

— Ты не хуже меня знаешь, что за Борисом нет никакой вины, как и за всеми другими.

— Ерунда, — сказал Фалькнер. — Невиновных у нас не сажают.

Он был тогда членом Бюро Северо-Кавказского крайкома партии, большим начальником, когда говорил те слова, сидя в своем роскошном кабинете. А много лет спустя Иван Макарьев, вернувшись из двадцатилетней ссылки, сказал мне, что Яша Фалькнер умер, не выдержав истязаний. Бедняк Фалькнер. Он описан в «Сентиментальном романе» под именем Югая, только в Ростове нет переулка имени Фалькнера, а мог бы быть…

Насчет работы я обращалась с письмом к первому секретарю крайкома партии тов. Шеболдаеву, но он мне не ответил вообще ничего; впоследствии я прочла в газетах (уже живя на Украине), что Шеболдаев расстрелян как враг народа. О, сколько теней шествует со мной рядом — и с тобой, Бувочка!

Председатель крайисполкома Ларин разделил участь Шеболдаева. Председатель горисполкома Овчинников застрелился сам, когда пришли его арестовывать. Был такой Змиевский, секретарь той парторганизации, которая исключила Бориса из партии. И он, это совершенное ничтожество, абсолютный нуль, кому-то застил свет, и его расстреляли как польского шпиона.

Но все это потом. А в те весенние месяцы и в начале лета

1935 года я с моими новыми приятельницами думала и говорила об одном — скорей бы кончилось следствие над нашими близкими, скорей бы выяснили, что они невинны, и отпустили их. Несчастные дуры, мы верили, что это возможно.

В эти весенние дни затеяла я как-то большую уборку. Перемыла окна, потом взялась мыть полы. Дети, все трое, сидели в это время за столом, обедали. Мою пол и, отжимая над ведром тряпку, сквозь стук падающих капель вдруг слышу, что кто-то твердыми шагами всходит на крыльцо. И сейчас же широкая плотная тень ложится на пол передо мной и, подняв глаза, я вижу фигуру в шинели и буденовке с красной звездой и узнаю — это тот военный, что приходил за Бувочкой.

— Вы ко мне? — спрашиваю.

— К вам.

— С ордером или без?

— Пока — без, — отвечает он с какой-то зловещей игривостью. — Но я вас попрошу проехать со мной, с вами хотят поговорить.

Входит мама. Я спрашиваю:

— А что мне взять с собой?

— Ничего, — отвечает он, — кроме паспорта.

За воротами, впрочем, ждет машина. Не знаю почему, я не пугаюсь. Не знаю почему, я все-таки верю этому Анисимову.

Мы приезжаем к тому дому, куда я ношу передачи Борису. Мимо часовых всходим наверх, и нас впускают в ту дверь, где окошечко для передач. Еще одна дверь, первая или вторая по коридору. За письменным столом человек в военном френче, благообразный. Анисимов нас знакомит:

— Вера Федоровна, жена Вахтина. А это товарищ Топильский, следователь по делу вашего мужа.

А я почему-то думала (кажется, Варюша Вартанова как-то сболтнула), будто дело Бориса и Вали Вартанова ведет тот очкарик Аппельбаум, который их арестовывал. Смотрю на это новое действующее лицо нашей трагедии. Топильский. Поляк? Украинец? Кажется, русский…

Приглашают сесть. Рассматриваю комнату, думая: «Все это видит и Бувочка, здесь его допрашивает этот человек»: Впрочем, сейчас допрашивают меня. Прежде всего о том, кто у нас бывал в последние годы. Кто бывает у меня сейчас, не спрашивают — верно, знают… Я, как ни глупа, все же смекаю: только не впутывать новые имена. Называю тех, кто, как мне известно, уже арестован: Вартанова, Покотиловского. О том, что Третесский тоже уже арестован в Москве, я еще не знаю, но называю и его, так как понимаю, что их с Борисом дружбу скрывать невозможно.

Дальше следует вопрос:

— Как и в какой форме ваш муж высказывался при вас против советской власти?

Отвечаю, что никак, ни в какой форме, а сама думаю: «Эх, голубчики, небогато же у вас материала, если вы у меня о муже спрашиваете такие вещи!»

Но следуют вопросы:

— Известно ли вам, в какие годы ваш муж служил офицером в белой армии?

— Гражданин Топильский, — говорю я, — разберемся в этом деле с помощью арифметики. Мой муж родился в 1906 году. Сейчас ему 29 лет. Сколько же ему могло быть лет, когда он служил офицером в белой армии? И могло ли это быть вообще?

Молчание, потом ответ:

— Пожалуй, он действительно был несколько слишком молод, когда существовала белая армия.

Новый вопрос:

— Говорил ли при вас ваш муж, что Горький ошибался, считая, что талант воспитывается средой?

— При мне не говорил, — отвечаю, — а разве это преступление против советской власти, если бы он сказал такую вещь?

— Ну, — говорит умный следователь, — вам ведь известно, как высоко советская власть ценит заслуги Алексея Максимовича.

В общем, пустяшный был разговор. Я спросила, конечно зря, скоро ли кончится следствие по делу мужа Топильский ответил:

— Трудно сказать, справляйтесь в прокуратуре.

А мы с Варей и Симой только этим и занимались.

Под конец Топильский стал любезен. Дал мне свой служебный телефон, велел звонить и сказал, что, возможно, вскоре мне будет разрешено свидание с мужем.

И правда, довольно скоро он позвонил мне и сказал, что я могу повидаться с Борисом. Я помчалась в их адский дом и в самом деле увидела Бориса. Он был, конечно, несчастен предельно, но, к моему изумлению, довольно свеж и ничуть не похудел даже. Сказал, что видел протокол моего допроса, что я молодец и умница, зря только не сказала, что он не согласен с Горьким.

— Но я же не знала, — сказала я, — ты при мне этого в самом деле не говорил.

Потом рассказал, что его несколько раз пугали, что если он не сознается в своих преступлениях, то я тоже буду арестована. Сказал, что все мои передачи ему доставляются аккуратно и чтобы я не тратилась ни на какие излишества для него. Спросил о

детях, я рассказала подробно. Спросил, написала или я его матери, и велел написать все как есть. Я сделала это в тот же день, и с тех пор мне стали помогать материально и свекровь моя Мария Петровна Колтовская, и тетка Бориса Елена Васильевна Аккерманова, жившая в Дербенте. Это было очень кстати, уж больно мне было трудно перебиваться, не имея никакого заработка.

Главной статьей моего дохода было 100 рублей, которые ежемесячно присылал мне на Наташу Арсений Старосельский. И через него же в жизни нашей семьи произошла новая очень большая перемена. Но об этом несколько погодя.

В середине лета опять вдруг позвонил мне следователь Топильский.

— Ваш муж сегодня уезжает в Москву, — сказал он. — Соберите быстренько все, что считаете нужным дать ему с собой, и приходите, я вам дам свидание.

Опять иду в тот дом, опять жду в какой-то комнате. Конвойный вводит Бориса. Он видит меня и пугается ужасно, до смертной бледности.

— Что это такое? — спрашивает он неживым голосом. — Свидание?

Я рассказываю о звонке Топильского.

— Плохо дело, — сказал Борис, — они здесь ничего не добились и переносят следствие в Москву.

— Авось либо и там не добьются, — сказала я, сама насмерть перепуганная его испугом.

— Добьются, — сказал он, — для того все и затеяно.

Время свидания истекло. Мы простились с тяжелым чувством.

Проводить его на вокзале Топильский мне не разрешил, да Борис и сам просил меня этого не делать, но Варя Вартанова как-то ухитрилась получить позволение проводить брата (его тоже в тот вечер отправляли в Москву, о чем я узнала, вернувшись домой и застав там всех моих товарок по несчастью).

На другой день Варя рассказала, что это был за отъезд: вагон с решетками на окнах, конвой на площадке и внутри вагона. Валя и Варя хотели перед отправкой поезда еще раз обменяться рукопожатием через открытое окно — их руки раздернули. Она рассказывала об этом, обливаясь слезами, и мы все плакали, глядя на нее.

Мы как-то поняли, что надеяться больше не на что, конец всему, я даже перестала писать мои бесконечные письма на высочайшие имена. Варюшиным занятием стало с тех пор звонить в Москву в прокуратуру, наводить справки. То же делала из Ленинграда Мария Петровна, мать Бориса. Ответ был всегда один

и тот же: «Следствие продолжается».

Иногда Мария Петровна и Варя перезванивались между собой, чтобы обменяться этими однообразными сведениями.

Была середина лета, когда Мария Петровна сообщила, что следствие закончено и Борис вместе со своими однодельцами переведен с Лубянки в Бутырскую тюрьму. Был известен и приговор: коммунистам Вахтину и Третесскому, комсомольцам Вартанову и Покотиловскому — по десять лет Соловецкого концлагеря, беспартийному Яше В. — пять лет какого-то овцесовхоза в Сибири. И мы все позавидовали родным беспартийного Яши.

Мария Петровна имела свидание с Борисом в Бутырской тюрьме (через две решетки), и несколько раз переправляла ему туда богатые передачи. Потом я узнала, как распределялись там передачи. (Мне рассказал сам Борис при нашем свидании с ним в Кеми в сентябре 1936 года.)

Должна сказать, что довольно скоро от Бориса с Соловков пришло первое письмо. Он просил меня держаться стойко — ради ребят, даже утешал тем, что, мол, десять лет пройдут, и он вернется, и опять мы будем вместе. Подобные же письма получили Вартанова и Покотиловские. Меня Бувочкины утешения не утешали, я уже понимала, что нам никогда не вернут нашу жизнь, что все прошло и остается одно — храбриться сколько возможно и стараться все, что возможно, делать для детей.

Вскоре от свекрови Марии Петровны пришло письмо, еще раз изменившее мою жизнь. Она писала, что понимает, как мне трудно с тремя детьми, и предлагает следующее: она возьмет к себе Наташу и Борю и будет их растить, а самый маленький пусть останется у меня.

Мне было очень больно отрываться от двух старших детей, но я уже так устала, что решила следовать за своей судьбой и не отказываться от предложения свекрови. Постаралась, чтобы не ударить в грязь лицом, как можно лучше экипировать отъезжающих детишек, деньги на это ссудил мне все тот же Веня Жак, получивший в то время гонорар за сценарий для кино. Долг этот, по тому времени очень немалый, я смогла ему отдать лишь через много лет — кажется, в 1952 году.

Так или иначе, я снарядила Наташу и Борю как только могла лучше. Этот день запомнился мне навсегда не только проводами детишек, с которыми я прощалась и дома, и на вокзале, но и разразившимся в этот день ураганом.

Когда ушел поезд, унося их от меня, я вернулась домой к Юрику и маме. Вернулась и села читать у своего крохотного

письменного столика у окна. За окном был бедный заднеулицынский сад, несколько десятков плодовых деревьев — абрикосовых и вишневых, невыразительные серые стволы, шевелящаяся листва. Читала я, читала и вдруг чувствую: что-то передо мной изменилось. Подняла глаза и вижу: перед окном сплошным занавесом висит ливень, ветер буквально срывает с деревцев их жидкие кроны, серые стволы по пояс в воде, словно они растут из озера. Я хотела побежать на улицу, посмотреть, что делается там, но мама умолила меня не ходить, она боялась… Только на другой день я вышла на улицу и увидела, что ларек, стоявший на углу, лежит на земле боком, провода оборваны, несколько деревьев сломано.

После отъезда старших детей в доме все стало для Юрочки и ради Юрочки, баловали мы с мамой его ужасно, любили непередаваемо. Назывался он у нас Одуванчик и Усик, а сам себя называл Уля. Варя Вартанова тоже его обожала и впоследствии, когда у нее родилась дочка, назвала ее Юлей потому, объяснила она мне, «Юля» похожа на «Улю»! Весной 1936 года в Ростов приехала Инна Виккер, новая жена Старосельского. Впрочем, она с ним тогда уже развелась. Инна Михайловна Виккер была женщина светски воспитанная и обходительная, щеголиха и модница, и меня немало удивило, что по приезде в Ростов она стала бывать у меня каждый день и даже по нескольку раз в день, хотя я жила совсем иными, очень печальными интересами. Но потом оказалось, что просто она горячо полюбила моего Юрочку, до того полюбила, что уж и жить без него вроде бы не может.

— Мне тоже нужен такой мальчик! — говорила она.

— За чем же дело стало? — спрашивала я. — Захотите — и будет.

— Вы не понимаете, — отвечала она. — Мне нужен точь-в-точь такой. Чтобы и глаза такие, и нос, и волосы.

Волосы у него действительно были замечательные — крупные шелковистые кольца цвета бледного золота. Я понимала, что у Инны Виккер такого мальчика и в самом деле не будет, и жалела ее.

Я пишу отрывочно и бегло, потому что воспоминания об этом времени всплывают по кусочкам, не сливаются в единый поток.

От Марии Петровны приходили письма, что с детьми все благополучно, что Наташа учится в школе, во 2-м классе, что Старосельский помогает чем только может. На лето 1936 года Мария Петровна предполагала вывезти детей в Шишаки и предложила, чтобы туда же приехала моя мама с Юриком, а жить-де устроятся все вместе, оно и дешевле, и уютней.

Но до этого лета произошло у меня капитальное событие — я

устроилась на работу.

В свое время, когда я еще только начинала работать в «Трудовом Доне» под покровительством Володи Филова, в тамошней типографии было несколько учеников-наборщиков, и между ними некий Витя Попов. Дружбы у нас с ним особой не было, просто видели иногда друг друга в типографии и редакции, но в 1935 году этот Витя Попов, став редактором многотиражки завода «Ростсельмаш» и узнав от кого-то о постигших меня бедах, вдруг пригласил меня к себе и сказал:

— Слушай, Вера, а иди-ка к нам корректоршей, у нас одна есть, да она не справляется.

Я, конечно, сейчас же согласилась, и хотя зарплата была ничтожная, но уже то, что я где-то кому-то нужна как работник, что по утрам мне нужно к определенному часу быть в редакции, уже это мне было драгоценно, и я до гроба не забуду, как Виктор Яковлевич Попов протянул мне тогда руку помощи.

Корректорша, которая уже работала в многотиражке, была очень несимпатичная, но в то время характер у меня был уживчивый, и я скоро с нею сработалась. Так же очень скоро кроме корректуры Виктор Яковлевич поручил мне выпуск газеты, а затем и литературную правку всего материала, так что я стала одним из первых людей в редакции, и это очень меня радовало.

В типографии оказалось двое моих старых знакомых — наборщики Ильин и Мануйлов, так что и там меня встретили очень хорошо. Не помню, как это вышло, что меня попросили в обеденный перерыв читать вслух рабочим типографии книги по моему выбору. Я читала вслух хорошо, и ко мне стали относиться еще лучше.

Я вставала теперь очень рано и бежала к трамвайной остановке на Сенную улицу. Трамвай был всегда переполнен рабочими утренней смены, ехавшими на «Ростсельмаш». Шел трамвай по городским улицам, потом степью, мимо Балобановской рощи, потом между рядами свежевыкрашенных комбайнов, стоявших под открытым небом (к тому времени «Ростсельмаш» уже выпускал и комбайны, их не успевали отгружать, вот они и стояли в ожидании отправки).

Я с торжеством написала друзьям, что я опять работаю, я знала, что им это приятно будет узнать. Как ни мала была зарплата корректора многотиражки, но это было нечто, обязательно тебе положенное в определенные числа месяца, — свои, кровные заработанные деньги. И хотя ни с кем в редакции у меня не установилось таких славных дружеских отношений, как когда-то во «Внучатах», но мне там дышалось легко, и я вставала утром без тоски и отчаяния.

Помню, меня попросили 8 марта 1936 года организовать женский праздник. Старалась я очень, и вышло у нас как-то очень все симпатично: и поели вкусно, и песни пели хорошие, и даже кто-то танцевал, и потом все говорили, как было хорошо, и благодарили меня, а мне было приятно.

Тем временем свекровь с Наташей, Борей и двумя родственницами своего мужа поехали из Ленинграда в Шишаки, и туда же я отправила маму с Юрочкой. Радовалась, что детишки проводят лето на воздухе в прекрасном месте, радовалась, что у меня на работе все хорошо, но вскоре меня ждала новая беда. Я была уволена из многотиражки. Снова, как в ранней юности, стала зарабатывать, давая уроки детям.

Скоро должны были приехать дети, и я решила побелить квартиру. Я храбро взялась белить потолки и стены. Мне казалось, что это пустяковое дело, но выяснилось, что оно, как все на свете, требует большой сноровки и навыка. С мочального помазка холодная жидкая известь текла мне в рукав, босые ноги скользили по кухонному столу, на который я влезла, а потолки были необозримы, как вечность. И я уже озлилась на эти потолки, на свое неумение, на необходимость что-то делать, не умея, как вдруг отворилась дверь, и, одетая в когда-то подаренное мною старенькое платьице, вошла милая Верочка, одна из бывших Наташиных нянь. Мигом выхватила у меня помазок, мигом взобралась ко мне на стол, мигом потолок над моей головой стал покрываться ровными, чистыми, будто не мелом, а масляной краской наведенными мазками. Потом Верочка сказала:

— Идите гулять и приходите домой вечером.

Я послушалась, и когда вечером вернулась, то нашла все комнаты выбеленными, а Верочка домывала заляпанный мелом пол.

Да, на каждом шагу мне в жизни попадались хорошие люди, и сколько добра я видела от них! И сквозь все прожитые мною годы мне сияет это добро. Сияет и напоминает, как мало я сама делала людям, какой на мне лежит громадный долг.

Я получила из Шишак телеграмму о приезде детей и бабушек и поехала на вокзал их встречать. Поезд пришел, но моих в нем не оказалось. Встревоженная и опечаленная, я вернулась с перрона на вокзальную площадь и встала в очередь к автобусу, чтобы ехать в город. Напротив этой очереди была другая — к трамваю. И вдруг там, в той другой очереди, я увидела головку ребенка с золотистыми локонами из-под белой пикейной шапочки. «Как этот мальчик похож на моего Юрочку», — подумала я. Перевела взгляд пониже и увидела голубенькую

рубашку, которую своими руками шила и вышивала для Юрочки. Это и был он, нечего было и раздумывать — конечно, он. Перевела взгляд выше и увидела жесткие черты и черные волосы моей свекрови Марии Петровны. Это они приехали, как же я их пропустила на перроне?! Рядом стояли моя мама, Наташка и Боря. Я бросилась к ним бегом через людную площадь. Оказывается, они меня на перроне тоже проглядели и обеспокоились, почему я их не встречаю, и увидели меня, только когда я бежала к ним по площади, налетая на всех прохожих. Мы сели в трамвай и приехали домой, и я поила их чаем со всякими вкусными вещами, которые припасла к их приезду. Бабушки хвалили меня за то, что я так чисто убрала в доме (благодаря помощи Верочки он в самом деле сиял как стеклышко), дети с восторгом лопали варенье и фрукты, и очень трудно было мне сказать моим старушкам, что я опять безработная, и трудно успокоить детей, которые вообразили, что им опять придется от меня уехать. Но в конце концов я детей «разговорила», вымыла на ночь и они легли спать в свои кроватки.

И опять мы стали жить впятером: я, дети и дорогая моя, незабвенная мамочка, которой я стольким обязана.

Нам было хорошо впятером. Опять я пела детям перед сном те песни, под которые они привыкли засыпать, читала им вслух, любовалась их словечками и выходками. Делала для них все возможное и невозможное: старалась, чтобы ни в чем они не испытывали нужды, чтоб всегда были чистенькие и ухоженные.

29. Свидание

Ко мне пришли женщины: мать и сестра Вали Вартанова и сестра Исая Покотиловского. Я с этими женщинами встречалась часто, так как Вартанов и Покотиловский были так называемыми «однодельцами» моего мужа Б. Б. Вахтина.

Слово «однодельцы» означало, что им всем шилось одно и то же дело (что на самом деле никакого дела не было, выяснилось после XX съезда КПСС, когда все трое были реабилитированы. Но тогда до этого было еще много лет, всем троим еще предстояло погибнуть, а нам, женщинам, изойти слезами, и слова «одноделец», «репрессированный», «жена репрессированного» звучали еще очень страшно).

Женщины пришли и сказали:

— Мы все написали заявления о свидании. Посылать надо в Москву, Кузнецкий мост, 24, Главное управление лагерей — Гулаг.

— Вам дадут свидание, — посулила мне Варюша, сестра Вартанова. — Уж вы сумеете написать трогательно.

Но мне что-то не захотелось писать трогательно. Я писала кратко: я, такая-то, прошу разрешить мне свидание с моим мужем таким-то, находящимся там-то.

И муж, и его «однодельцы» находились тогда в Соловецком концлагере. Мы посылали им туда посылки и письма и иногда получали письма от них.

Я послала мое заявление в Гулаг и стала жить очередным ожиданием. Это было весной 1936 года, а в конце июля меня вдруг вызвали в милицию.

— Распишитесь, — сказал милиционер, — в получении известия.

— Я никакого известия не получала.

— Получите, только сначала распишитесь.

Я расписалась в книге, и милиционер сказал, что мне, по моему заявлению, разрешено свидание с мужем в течение 10 часов, в присутствии коменданта. Для этого от 1 до 10 сентября я должна приехать в город Кемь и явиться в управление Белбалтканала, имея при себе паспорт.

— А как они узнают, — спросила я, — что свидание мне действительно разрешено?

— Не беспокойтесь, — сказал милиционер, — узнают…

Я раздобыла денег на поездку и отправилась в путь с таким расчетом, чтобы попасть в Кемь 5–6 сентября.

Путь мой лежал через Ленинград, где жила моя свекровь,

мать мужа. Она меня встретила и помогла достать билет на скорый поезд «Полярная стрела».

Какая я была тогда напуганная, почти сумасшедшая видно хотя бы из того, что я была уверена, что меня непременно арестуют в поезде, и, вместо того чтобы наслаждаться поездкой в прекрасном комфортабельном вагоне, я мучительно присматривалась ко всем пассажирам, мужчинам и женщинам, гадая — не этот ли, не эта ли сейчас подойдет ко мне с ордером на арест…

Станций было много, на каждой входили новые пассажиры, и мучительное мое беспокойство продолжалось до самой Кеми.

Зато в другом отношении я успокоилась: если, пускаясь в путь, я опасалась какой-нибудь путаницы, недоразумений, в том числе и того, что сама что-нибудь не так сделаю, не туда попаду, то эти опасения улетучились очень скоро.

Уже в дороге я по каким-то приметам поняла, что многие из пассажиров «Полярной стрелы» едут по тому же делу и с теми же страхами, что я, и что мне не составит никакого труда ориентироваться в Кеми и попасть куда нужно и когда нужно. И в самом деле, первый же человек на станции Кемь, к которому я обратилась, не только сразу указал мне здание Управления Белбалтканала (оно возвышалось над другими домами и было видно издали), но и объяснил, что мне надо сесть в поезд, идущий на Кемь-пристань, и там найти себе у жителей приют на время свидания («Они там все сдают углы, сказал мой добрый советчик, — и там же есть большой продовольственный магазин, да, масло должно быть, все время было, а насчет остального трудно сказать, это как повезет…»).

Маленький дачный поезд повез меня на Кемь-пристань. В вагоне против меня сидела немолодая цыганка какой-то диковинной, фантастической красоты, одетая пестро и нарядно. Она сидела, раскинув свои пышные юбки из торгсиновских ситцев, юбки не скрывали пыльных босых ног, в ушах у нее были золотые кольца, на шее — ожерелье из золотых монет.

Она сразу спросила:

— На свиданье приехала? К кому?

— К мужу.

— И я к мужу, — сказала цыганка. — Дай руку, я тебе погадаю.

Я отказалась гадать, о чем жалею и по сей день. Мещанский мой рационализм меня удержал. Вместо гаданья мы пошли в магазин покупать масло.

Мне объяснили, что продавцы в магазине — заключенные, кассирша заключенная, прохожие на улице — заключенные и что

верхом необходительности и душевной грубости в этих местах считается спрашивать человека, за что он осужден. До этого я, впрочем, дошла и своим умом, и никого ни о чем спрашивать не собиралась.

Район Кемь-пристань был весь деревянный: дома, мостовые… В перспективе маленьких улочек маячили штабеля бревен и досок. Когда мы с цыганкой шли вдоль домов, из окошек сквозь герани на нас смотрели лица.

В первом же домике, куда я постучалась, мне сдали угол — то был действительно угол большой комнаты, очень убогой и грязной, но с надраенным до белизны дощатым полом (в Кеми все полы скреблись до белизны). Постели у хозяев не было, вообще бедность в доме была отчаянная, но опекавшая меня хозяйская девочка сказала:

— А картошку покупайте у нас, у других не берите. Вы, наверно, будете жарить картошку для дяди. Кто приезжает на свидание, все жарят картошку.

Она принесла кошелку картошки и противень, и, повинуясь ее подсказке, я стала жарить картошку на жарко накаленной плите. Я старалась вогнать в это кушанье как можно больше масла, понимая, что для «дяди» это сейчас главное… Если даже вольные люди, дети и взрослые, смотрят на масло такими глазами…

Но надо было еще заявиться в Управление Белбалтканала, и я пошла Здание как здание, казенное, серое, с вывеской. У подножья лестницы часовой в военной форме. Он справился в какой-то бумажке и пропустил меня, отобрав паспорт. В прокуренной комнатушке другой военный подтвердил мои права на свидание, но сказал:

— Сегодня мы не успеем привезти вашего мужа с Соловков, «Ударник» уже вышел. Завтра вечером встречайте на пристани.

Он был так любезен, что даже спросил, как я устроилась. И предупредил:

— Вокруг Кеми ходите осторожно, тут все кишит беглыми.

Я не собиралась ходить вокруг Кеми, но поблагодарила и обещала быть осторожной. Осторожность моя свелась к тому, что паспорт, возвращенный мне, и небольшие свои деньги я спрятала в чулок, прихватив сверху резинкой. Сама не знаю, зачем я это сделала, многое в те дни делалось безотчетно, безумно, — да и могло ли быть иначе?.. Но через несколько дней этот чулок сослужил мне службу…

— А наших привезут сегодня, — сказала цыганка. — Мы ведь вчера приехали. Приходи встречать вместе.

Вечером я пошла. Почему бы мне не встретить с нею ее мужа

и не поглядеть, как это происходит? На пристани, представлявшей собою как бы громадный дощатый надраенный пол, между высокими штабелями светлых досок собралась целая толпа цыган. Кроме моей красавицы там была еще одна пожилая некрасивая цыганка, была молодая девушка, тоже некрасивая, но с великолепными огненными глазами, был молодой цыган в богатой, на меху, распахнутой шубе, куривший дорогие папиросы из серебряного портсигара, и целая куча грязных, лохматых, полуголых цыганят, цеплявшихся за женские юбки.

Унылая деревянная пустыня, унылое белесое море под белым небом, желтая, невыразимо горькая вечерняя заря на краю неба. Цыгане вдруг замахали руками, и кто-то крикнул:

— Идет!

В белесой бескрайности показался дымок: шел «Ударник» — связной между Кемью и Соловками. В моей памяти он похож на речной трамвайчик, что ходит по Неве. Он приближался, на нем было много людей, двое из них сняли шляпы и приветствовали ждавших на пристани.

— Вон наши! Вон! — толкала меня цыганка. — Вон, которые в шляпах. Наши цыганы!

Цыгане в шляпах первыми сошли с «Ударника». К ним бросились детишки, бросилась девушка и парень в шубе и обе пожилые цыганки. Глядя, как они обнимаются и целуются, я думала о том, что завтра, если мне выпадет счастье дожить до этого, так же привезут на этом пароходике и моего «дядю»… Пока же, чтобы не мешать, я отошла в сторонку и присела на сложенные там доски. Да, я была и там, стезя моих скитаний прошла по берегу этого печального моря, я видела эту горькую зарю, и минутную горькую радость обездоленных людей, и пылающие глаза девушки-цыганки, припавшей к груди отца. Я сидела на досках и смотрела на все это, и оно врезалось в мою память, как острая пила.

Какие-то люди проходили мимо взад и вперед. Люди достаточно обросшие и обтрепанные, чтобы угадать в них заключенных, с лицами миролюбивыми, сочувствующими. Раздался вопрос:

— На свиданье, гражданочка?

— На свиданье.

— Что ж, привезли его?

— Нет. Завтра.

— А вы откуда, гражданочка? А, с Ростова-на-Дону? А я — с Украины. Соседи, значит.

Далеко на пристани в каком-то окошке блестел огонек. Мой собеседник ушел туда и вернулся.

— Гражданочка, — заговорил он дружески. — Вы бы не были так добры зайти до нас в контору Мортранса? Вон там наша контора, где огонек горит. Наш бухгалтер вас очень приглашает, ему поговорить желательно. Он очень, вы не думайте, культурный человек. Ох, если бы вы знали, гражданочка, что это за человек!

— Что же это за человек? — поинтересовалась я.

— О, гражданочка! — восторженно вскрикнул мой собеседник, но на вопросы не ответил, а зашагал опять к конторе, как бы уверенный в том, что я за ним иду.

Я была молодая, на секунду я усомнилась… Но тут же подумала: «Э, не может быть!» — и пошла.

В конторе Мортранса на столе горела керосиновая лампа, лежали гросбухи и сидел красивый старик с белоснежной узкой бородой. Белоснежными и узкими были и руки его, лежавшие на раскрытом гросбухе.

Он стал спрашивать, я отвечала. Его интересовали разные вещи: каковы на юге виды на урожай, есть ли уже в Ростове троллейбус, слышала ли я оперу «Катерина Измайлова»? Спросил, за что осужден мой муж — я же спросить его не осмелилась.

Так я и не знаю, кто он был, и, конечно, корю себя за то, что не дозналась; но, как и многое другое, это непоправимо и никакими домыслами тут не поможешь. Кем угодно мог он быть, духовным сановником либо светским, беспартийным либо коммунистом, и какое, в сущности, это имеет значение для кого бы то ни было… В этой пустыне погибали одинаково эти и те…

Цыгане уже разошлись, когда я возвращалась из конторы Мортранса.

Моя цыганка подошла ко мне.

— Свидание будет происходить, — сказала она, — в Кемском лагере, это совсем рядом с тем домом, где ты сняла угол. При свидании, — сказала она, — будет комендант, но это ничего! — Цыганка согнула палец и постучала косточкой сперва себя по лбу, потом по доскам, у подножья которых я сидела. Она давала понять, какого она мнения о коменданте, который будет надзирать за нашим свиданием.

Так оно и оказалось, это было одно из самых тупых лиц, какие я видела в жизни. Он сидел за особым столиком у двери той комнаты, где происходило свидание, и все время что-то рисовал карандашом на листке бумаги, слушая наш разговор. Мы говорили свободно, стесняясь его так же мало, как деревянного дивана, на который нас усадили. Нет, он нам не мешал нисколько, этот бедный комендант. Но буду рассказывать по порядку.

Мой муж приехал с Соловков на другой вечер после цыган. Я издали увидела его на палубе — он в любой толпе был на голову выше других, рост его был 186 см… На нем было его черное кожаное пальто и серая кепка, в которых его увели из дому в ночь на 12 февраля 1935 г.

Конвойные сделали попытку не дать нам приблизиться друг к другу, но тотчас же, без наших просьб, отказались от этой попытки. Даже не помешали мне идти рядом с ним до ворот Кемского лагеря.

У этих ворот нам пришлось расстаться до следующего дня. Мы уговорились, что предоставленные нам 10 часов распределим так: три дня по два часа и четыре дня по часу.

Тогда, в начале, нам показалось, что это поистине безбрежное время, что мы — обладатели несметного богатства, и мы были счастливы — в последний раз!

На другой день в полдень я пришла к этим воротам одна. Я принесла все, что могла, — всяческую снедь из «Гастронома», жареную картошку, глиняный кувшин с вишневым вареньем, несколько буханок хлеба. Часовой указал на избу неподалеку от ворот. Я вошла в большую комнату. И когда, мой ушедший невозвратно, я вспоминаю места наших свиданий, я прежде всех светлых мест, украшенных зеленью садов и лазурью моря, вижу эту комнату в нищей избе на территории концлагеря. У двери ее сидел и рисовал тот самый комендант, перед окном сидели две женщины и мужчина, на полу — цыгане, а на деревянном диване — мой Борис в своем кожаном пальто.

Женщины перед окном оказались сестрой и матерью заключенного, сидевшего с ними у столика. Мать была глухая, дочь громко повторяла все, что говорил сын. Они стеснялись своего крика и были очень несчастны.

Но цыгане были великолепны. Они расстелили на полу цветную скатерть и пировали от всей души. На скатерти были наставлены тарелки с жареными курами и южными плодами — виноградом, грушами, пунцовыми помидорами. Молодой цыган в шубе достал нож и один за другим разрезал арбузы, и все они ели, и пили, и чокались с воодушевлением, очевидно видя в этой совместной трапезе высшую красоту и радость свидания. Мы с нашей жареной картошкой были, конечно, жалки рядом с ними.

— Боря, — сказала я, — ты не знаешь, за что тут эти цыгане?

Он знал и объяснил мне. Они решили самоопределиться и выбрали себе своего цыганского короля. Вон тот цыган — король, а другой — его премьер-министр. Моя красавица-цыганка оказалась супругой премьера, а некрасивая — королевой. А этот парень и девушка — принц и принцесса. Ну, и вся эта мелюзга —

тоже королевские дети, высочества.

Мы поговорили о своих детях, ожидающих в Ростове моего возвращения, и о том, чего-чего только, господи, нет на свете!.. Поговорили о беглых, якобы кишащих вокруг Кеми. Муж рассказал, как он сам собирался бежать с Соловков на плоту, как они с другим заключенным строили плот, но когда он был уже построен, товарищ мужа испугался и отказался бежать. «И у меня, сказал Борис, — не хватило духу пенять ему, он уже доходил и вскоре умер от чахотки…»

Мы разговаривали, комендант рисовал, цыгане ели и пили, те трое у окна кричали о своих делах… В общем, эта плачевная комната являла картину полноты жизни, никто не стал бы этого оспаривать… Жизни с горючими слезами, ползающими детишками, янтарными грушами, куриными ножками, торчащими из жующих ртов. Ах, с каким аппетитом они жевали, с каким размахом чокались. И вдруг звон, гром, вскрики — это зарыдала девушка с огненными глазами, упав головой на стол. Что-то запрыгало по полу, что-то разбилось. Но почти сразу рыданья прекратились, и возобновилась степенная, почти благоговейная трапеза.

Такая невинная радость — досыта накормить любимого человека — эта радость была мне дана на считанные дни, и то по особому соизволению — мне просто выпал счастливый билет, что перст судьбы отметил мое заявление в ворохе других… Не потому ли, что оно было написано самыми простыми словами, без всяких попыток растрогать?.. Москва ведь слезам не верит, сказано давным-давно…

Первые два часа пролетели как одно мгновение. Уже в конце первого часа мы поняли, что наше богатство — мираж, что не успеем мы оглянуться, как окажется, что ему конец. Так и было, но все же спасибо судьбе за эти часы…

Я приходила каждый день и приносила еду, однажды мне посчастливилось раздобыть десяток свежих яиц, в другой раз — даже мяса, так что я смогла принести Борису бифштекс. Он говорил, что уже и мечтать перестал о такой пище.

Он попросил, чтобы я перед своим отъездом передала ему денег, так как по почте они идут очень долго. Я обещала с легким сердцем — деньги ведь лежали у меня в чулке…

Но за день до отъезда я чуть было не провалилась с этим делом…

Я пришла на свидание, не чуя недоброго. И вдруг комендант приказал мне войти в смежную комнату, а там меня ждала рослая дивчина, которая объявила, что должна меня обыскать.

Вошел комендант и подтвердил, что я должна дать этой

гражданке меня обыскать.

— Оружие есть? — спросила дивчина.

— Ну что вы! — сказала я.

— Деньги? Письма? — приставала дивчина.

— Ничего нет, — соврала я, и вдруг меня осенило — надо идти напролом: — Есть деньги, — сказала я.

— В лифчике?

— Нет. В чулке.

— Товарищ комендант, — позвала дивчина. — Они говорят, у них в чулке деньги.

— Покажите, — сказал комендант. Я достала деньги и паспорт и протянула дивчине. — А зачем вы это спрятали?

— Видите, меня предупредили, — сказала я, — что тут кругом бродят беглые. Если бы они отобрали у меня деньги, мне бы и домой не доехать.

— Это у нас есть, — признал он хмуро. — Ну ладно, идите.

— Паспорт-то хоть отдайте!

— Отдай им всё, — приказал он дивчине. Она отдала.

В соседней комнате меня встретили испуганные глаза мужа: он уже знал, что в этот день всех приехавших на свидание обыскивают. Я его успокоила и передала ему деньги.

Между прочим, они ему были нужны, чтобы заплатить долг. Дело в том, что на свидание его привезли за плату.

Вот как это было: он отдыхал после обеда, и вдруг его позвали: «Вахтин, на свиданье!» Он пошел, ему сказали: «Пять рублей за проезд!» У него не было. Вдруг он увидел Третесского. Тот себя все время чувствовал перед товарищами виноватым, так как имел слабость подписать при следствии все нелепые обвинения. Теперь, увидев Бориса и узнав, что его вызывают на свидание, он сказал: «Не говори Вере, что я сознался». Борис на это сказал: «Давай пять рублей!» У Третесского деньги нашлись, и он дал.

— Боря, — сказала я, — они же с тебя и за обратную дорогу потребуют.

— Ну уж нет, — сказал он, — я мог еще заплатить за то, чтобы меня отвезли на свидание. Но платить за то, чтобы меня везли обратно на каторгу, — нет уж, этого не будет.

Из этого ответа я поняла, как невыносимо ему живется на каторге из-за этой его гордыни и непримиримости. Ах, всегда и везде легче живется нестроптивым, смирным, со всеми соглашающимся. А мы с ним никогда такими не были, вот и обошлась с нами жизнь так, как обошлась.

Осталось рассказать о прощании — последнем, потому что

больше мы не встречались.

Как я купила билет, и как трудно мне было ему об этом сказать, и как мы простились в этой комнате, зная, что завтра я уже не приду сюда.

Прощаясь, я его поцеловала и перекрестила ему лоб, я знала, что он думает о самоубийстве, и он потом писал мне в Ростов, что его поразило именно то, что я ему перекрестила лоб… Но мы ведь всегда всё знали друг о друге…

Потом я вышла и пошла к воротам. У забора из колючей проволоки остановилась. Подошел солдатик-конвойный и стал рядом. И вдруг я услышала голос Бориса: «Вера, прощай», и он прошел за колючей проволокой, еще раз прошел передо мной — уже в самый, самый последний раз я увидела его солнечные волосы и прекрасное, неповторимое лицо.

И я знаю: если я когда-нибудь в чем-нибудь могла быть перед ним виновата — при жизни ли его или после его кончины (он реабилитирован посмертно) — я знаю, он все мне простил ради той минуты, когда мы прощались у колючей проволоки…

30. Зима 1936/1937 года

Несмотря на нужду и на горе, которое никак не хотело смягчаться, эта зима вспоминается мне как хорошая. Это потому, что, во-первых, все трое детишек опять были со мной и я знала каждый день и час, что с ними происходит, кто что сказал и т. д. Наташа ходила в школу и по вечерам при мне готовила уроки за нашим большим обеденным столом (еще из грибановского магазина). Мальчики же были дома целый день, у меня на глазах.

Во-вторых, в эту зиму нас материально поддерживал Торгсин (магазин, где продавалось все что угодно на валюту или золото). Валюты у нас не было, но было кое-какое столовое серебро, кое-какие золотые вещи: нательные крестики с цепочками, мой золотой, с монограммой медальон — тоже на хорошей цепочке, мое золотое колечко с хризопразом, мамино и папино обручальные кольца. Это все ушло в Торгсин, и дети хорошо питались всю зиму. Конечно, было не без болезней. То простуда, то ангина, то вдруг конъюнктивит у Борюши, то дети во дворе ударили Борю по голове разбитой бутылкой, так что из-под его матросской шапочки потоками лилась темно-красная кровь, и я, схватив его на руки, бегом бежала с ним в ближайшую поликлинику, то в нашем садике выкопали яму для посадки дерева, и Юрка пытался перепрыгнуть через нее и, конечно, свалился и растянул себе ногу.

К новому, 1937 году я устроила моим ребятам елку. В то время купить елку было невозможно, но дядя Володя, Владимир Леонидович, достал нам несколько больших пушистых еловых лап (кажется, купил у кладбищенского сторожа), и я проволокой связала эти лапы в одну хорошенькую пышную елочку. Одни наши знакомые прекрасно делали елочные игрушки, от самых простеньких до самых сложных, и нас научили, мы с мамой недели две просидели над этим делом, и елочка получилась у нас на славу.

Я писала, что любовалась детскими словечками. Они говорили премило, особенно Юрик. Подойдя ко мне и протягивая ручки, он говорил:

— Суките кавчики. (Что означало: засучите рукавчики.)

Сухарики он называл макариками, видимо, от слова «макать». (У Чуковского в «От двух до пяти» ребенок называет сухарики кусариками.) И совершенно «Чуковский» разговор был у него однажды с бабушкой, моей мамой:

— Бабушка, ты скоро сдохнешь?

— А тебе этого хочется?

— Да.

— А зачем?

— А я тогда цельный день буду у Вальки сидеть.

Валька была хозяйская девочка, обожавшая его и водившая смотреть на похороны, что Юрке очень нравилось. Мимо домика, где мы жили, часто проходили похоронные процессии с музыкой, так как кладбище находилось неподалеку, и Юрка вместе с Валей вечно торчал в толпе, глазеющей на эти процессии.

И гулять его Валя водила на кладбище, как нас когда-то наша няня Марья Алексеевна. Так что мрачный и диковатый старик, Валькин дед, сказал мне однажды:

— Федоровна, ты не пущай Юрку с Валькой на кладбище. Не вышло бы чего.

— А что может выйти? — спросила я.

— А то, что такого мальчонку кто хочешь украдет, — сказал старик сурово и заботливо.

Наташа, вернувшись в Ростов, стала ходить в ближайшую школу. Она училась хорошо, много читала, в том числе газеты «Ленинские внучата» и «Пионерская правда». «Пионерская правда» в то время обучала своих читателей играть в шахматы, для этого печатала цикл статей, очень толковых. Наташа их прочла, и ей загорелось играть в шахматы. У меня не было денег на настоящие шахматы, я купила картонную доску и набор специальных шашек, на каждой шашке была изображена шахматная фигурка конь, слон, ладья, ферзь, король, так что этими шашками можно было играть и в шахматы. Принесла я все это домой, и мы с Наташей уселись играть на углу нашего обеденного стола. Но ей моментально надоела эта игра, я же всегда была равнодушна к шахматам, а мальчишки стояли рядом, как два столбика, и немного погодя сказали:

— Теперь мы, — и, к моему удивлению, стали играть так, словно их этому специально учили.

Это было зимой 1936/1937 года, а с весны в наш зеленый дворик стали ходить мальчуганы, маленькие и большие, и даже совсем великовозрастные, играть в шахматы с Борей и Юрой: такая о них пошла слава. Однажды, гуляя с ними в скверике перед Покровской церковью и проходя мимо скамьи, на которой сидели взрослые и молодежь, я услышала, как какой-то парень сказал:

— Вон идут самые маленькие шахматисты в Ростове.

— Где? — спросил кто-то.

— А вон — беленькие, за ручку с мамой идут.

Я возгордилась, но напрасно: правда, сыновья мои несколько лет занимались шахматами, участвовали в школьных турнирах,

даже получали какие-то разряды, но ни один из них не ушел в это дело с головой, не превысил того уровня, за которым начинается настоящий шахматист. Другое было суждено им.

Так же преждевременно и зря восхищалась я одно время математическими способностями Бори.

Однажды я читала книгу, держа ее раскрытой на коленях. Боря подошел и, ткнув пальцем в колонцифру, сказал:

— Триста семьдесят два, — и это было совершенно точно, хотя никто его до этого не учил читать числа, он дошел, как говорится, своим умом.

А после этого стал поражать нас способностью безупречно производить в уме арифметические действия, особенно вычитание.

— Сколько вам лет? — с ребячьей бесцеремонностью спрашивал он у кого-нибудь и, получив ответ, говорил: — Значит, вы родились в таком-то году. — И всегда расчет был правильный.

— Математиком будет, — возмечтала я, но и это оказалось такой же обманчивой вспышкой детской одаренности, как в случае с шахматами. Не стал мой Борюша математиком, как не стал и шахматистом. Литература, слово стали для него главным предметом и устремлением, мои гены вошли в него.

Я им всем троим очень рано и очень много стала читать — и прозу, и стихи. Чего мы только не читали, и они все впитывали в себя, как губка впитывает влагу. Иногда я не читала, а рассказывала, это тоже давало им порядочно. Помню, в «Таинственном острове» Жюля Верна встретилось нам выражение «Ноев ковчег», и они сейчас же спросили, что это значит. Я рассказала им легенду о всемирном потопе и о Ное. Выслушали с величайшим вниманием — я бы сказала, с вдохновением. Потом Юрик сказал:

— Расскажи еще раз: я не понял, откуда был гной.

«Гной» — было понятно, гной был у бабушки в нарыве на пальце, и к пальцу прикладывали компресс, а Ной — было ново и туманно, и я не поленилась рассказать еще раз.

Помню, что позже, уже в Шишаках, на берегу Псла, на песочке, я им читала «Думу про Опанаса». Это было трудно, приходилось с ходу объяснять множество сложных вещей, начиная с гайдамаков и кончая тем, что значит «Опанасе, наша доля туманом повита», но как же я была вознаграждена, когда, дочитав последние слова, которые и у меня всегда вызывают ком в горле, я увидела, что они, все трое, еле удерживаются от слез.

Но это чтение на Псле было много позже, а пока что мы находились еще в Ростове, на Богатяновском проспекте, в доме застройщика Матвея Карповича Заднеулицына. И вдруг

заболевает мой Боря. После каждого приема пищи он жалуется на боль, и мама первая догадывается, что это — аппендицит, ведь и я в 1928 году чуть не умерла от аппендицита, и Борис, отец, болел аппендицитом и перенес сложнейшую операцию… Ведем нашего мальчика к врачу, тот подтверждает: аппендицит, оперировать надо срочно. Везу Борюшу в больницу — она далеко, на окраине, где-то за Нахаловкой. Первым специалистом по операции аппендицита слывет доктор Аствацатуров, мне удается его умолить, чтобы оперировал он.

Дни идут быстро, наступает день операции.

С утра я в больнице, в той детской палате, где лежит мой мальчик, такой синеглазый, такой с виду здоровенький. При мне его на носилках с колесиками увозят в операционную. Я прихожу, как мне велено, через три часа и вместо моего прекрасного розового мальчика вижу на той же койке нечто больное, с неузнаваемым зеленоватым личиком, измученное рвотой после наркоза. И безумное раскаянье охватывает меня — зачем я послушалась врачей, зачем согласилась на эту операцию? Потом-то выяснилось, что иначе нельзя было, но в тот день тревога меня истерзала.

Больше всего мучила меня возможность нагноения (какое было в свое время у меня). Я знала, что ребенок перитонита пережить не может. Из больницы его выписали скоро, через несколько дней. Запретили везти в трамвае, велели, чтоб шел сам. Но ему это было трудно, и я почти всю дорогу несла его на руках. Он был в шубке, в ботах и потому довольно тяжел, и чуть ли не на каждое встречное крыльцо я стелила свой вязаный шарф, и мы с сыночком, присев, отдыхали две-три минуты. Но когда дня через три выяснилось, что у него в правой стороне живота назревает абсцесс (как было у меня когда-то), меня охватил страх.

И тут я вспомнила о средстве, которое, как я надеялась, может спасти моего сына. Тогда еще мало знали — так, только слух ходил — об удивительных целебных свойствах цитрусовых плодов. В ту весну город был завален великолепными испанскими апельсинами и лимонами, и я купила сразу, чуть не сотню этих плодов — на все деньги, какие были в доме, — и, не спросясь даже доктора, стала отпаивать Борю соком. Я выжимала в чашку несколько апельсинов и добавляла туда же лимонного сока, и он пил это питье по несколько раз в день. Через неделю примерно его снова посмотрел хирург и сказал, что это очень странно, но инфильтрат уменьшился. «Что вы делали? — спросил он. — Компрессы?» И очень меня похвалил, когда я рассказала про апельсины и лимоны. Я продолжала это лечение, и вскоре опасность гнойного заражения совершенно отпала.

Да, но зато явилось другое: мой мальчик совершенно перестал есть, он отказывался от любой пищи, даже самой лакомой, единственное, что он соглашался принимать, был чай с бубликами, но какая же это еда? Ему варился суп из его любимых куриных потрохов, его любимые компоты из фруктов и ягод, и Наташа с Юрой съедали это все с восторгом, а Боря ничего в рот не брал. Он стал быстро худеть, и мы с мамой только плакали, глядя на него. И наконец доктор сказал мне, что если я не вывезу сына немедленно в сельскую местность, где к нему вернулся бы аппетит, то у него разовьется скоротечная чахотка.

Сельская местность? Я сейчас же подумала о Шишаках. Там уже были кое-какие связи, климат там был превосходный — сосновый бор, сухой песок, благодатная природа прекраснейшей страны — Украины. Но вывезти? На какие деньги?.. Мы еле перебивались, тратя только на питание.

31. Шишаки

И в одно прекрасное утро, в начале июня 1937 года, я с детьми погрузилась в вагон и поехала на благословенную Украину.

Я заранее написала М. В. Кошевой, прося снять для нас недорогую комнату. Она ответила, что исполнит мою просьбу. Конечно, без ее помощи мы бы не обошлись.

Ехали мы трудно, так как на четверых у нас была одна нижняя полка. Кое-как я расположила на ней ребят, а сама спала возле них.

Доехали мы до станции Сагайдак. Там наняли подводу и поехали в Шишаки.

Сперва мы, конечно, заехали к М. В. Кошевой. Она накормила нас вкуснейшим традиционным борщом и, покричав через тын своего сада некую Федорушку, велела ей проводить нас в снятую для нас комнату у какой-то Гапки. Гапок в Шишаках было много, я не помню фамилии той, у которой мы поселились первоначально. Это была довольно просторная комната в веселой белой хате, окнами на огород и в садик, где под вишнями была сложена из кирпичей маленькая плита для летней стряпни. Первое мое дело было наладить для старшего сына то питание, какое рекомендовал ему доктор. Это уладилось очень просто — и с парным молоком, и с яйцами из-под курицы, и с самими курами для бульона. В комнате было чисто, пол смазан свежей глиной и посыпан травкой, стены свежевыбелены. Правда, кровать была одна, за печью, но зато громадная, все трое ребят укладывались на ней поперек, а я спала на лавке, что отнюдь не было неудобно.

О радость, о счастье! Со второго же дня мой Борюша стал есть, как до болезни, особенно охотно он ел сырые яйца, которые я взбалтывала в кружке, куда крошила мякиш превосходного деревенского пшеничного хлеба. А перед вечером хозяйка приносила нам кувшин парного молока, и все ребята его пили с удовольствием, которого я не понимала, но которому радовалась.

Так началась наша жизнь в Шишаках.

32. Первые два года в деревне

Это чудесное место я полюбила еще тогда, когда впервые приезжала сюда с Борисом и детьми в 1931 году Теперь, увидев, как буквально на глазах стал здесь поправляться и крепнуть старший сын, я решила, что буду держать здесь детишек, пока будет хоть малейшая возможность. Одна мысль о возвращении в Ростов была мне отвратительна. В Шишаках мы с детишками прожили тогда больше двух лет. Конечно, жить в деревне в наемных квартирах совсем не то, что жить в своей хате, но я приноровилась и не тужила. Главная забота моя была создать детям возможно лучшие условия жизни. Не умея готовить в русской печи, я стряпала на маленькой плите, сложенной в саду под вишнями. На маленьком, но обильном деревенском базаре покупала все самое питательное и вкусное. Тетка Бориса Елена Васильевна Аккерманова, преподавательница математики, жившая в Дербенте, присылала мне ежемесячно небольшую сумму, мне хватало. Так прошло лето 1937 года.

Осенью Мария Владиславовна Кошевая должна была вернуться в Ленинград. Там она жила постоянно со своим мужем Борисом Васильевичем Кошевым, только на лето приезжала в Шишаки. Предстоящий ее отъезд меня беспокоил, я чувствовала, что он вызовет в нашей жизни какие-то перемены, но не знала, какие именно. Мне очень хотелось, чтобы к нам приехала мама, мне уже по горло хватало разлук, но почему-то я стеснялась заговорить об этом с Марией Владиславовной. Как вдруг она со мной сама об этом заговорила.

В то лето кроме каких-то гостей, ленинградских знакомых, у Марии Владиславовны жила некая Людмила Леонидовна Арбенева, вдова, пожилая, больная женщина, разбитая параличом. Характера она была доброго и миролюбивого и тихо жила в отведенной ей светлой угловой комнатке рядом со столовой. Мария Владиславовна за нею ходила и сокрушалась, как же Людмила Леонидовна будет без нее. И вот однажды сказала мне, что просит меня с детьми и мамой поселиться в ее доме с тем, что я и мама будем ухаживать за Людмилой Леонидовной. Я согласилась с радостью, ее дом очень мне нравился, и в нем нам с мамой, конечно, было бы лучше хозяйничать, в этом благоустроенном домике, чем в непривычной хате с русской печью. Кроме ухода за больной нужно было следить и за маленьким хозяйством Марии Владиславовны — кормить кур, топить печи, сбрасывать снег с крыши и присмотреть, чтобы весной вовремя был вскопан и засажен

огород. Копать и сажать обязалась одна из соседок — колхозница Федора Ивановна Романовская, она же носила нам воду из колодца, мазала пол в кухне (в комнатах полы были дощатые) и консультировала нас по части куроводства. С ее сыном Миколой, школьником лет тринадцати, очень скоро подружились Боря и Юра, это был славный смышленый мальчик, по всему его поведению видно было, что он растет в нравственной и разумной семье, где не принято ни ругаться, ни даже ссориться, где все благообразно и достойно. Кроме него ходили к детям еще две девочки из громадной семьи Воронянских, Нина и Галя, обе красавицы, особенно Нина, я лиц с таким мягким овалом и такими ресницами никогда не видела. Впрочем, мои ребята и без партнеров играли отлично, особенно когда приехала мама и привезла все их игрушки. Под детскую комнату мы определили столовую, где было светлее всего и имелась лежанка. Мы с мамой спали на лежанке и раскладушке, а дети в своих кроватках. Большую дверь на террасу Мария Владиславовна, уезжая, занавесила ковром, чтобы не дуло, на подоконниках стояли цветы. Вдоль ковра стоял простой стол, под которым дети держали свои игрушки. Утром, едва встав и одевшись, они опрометью бросались под стол и сейчас же принимались строить из кубиков дома и крепости, расставлять пушки для сражения и т. д.

Наш с мамой день был очень уплотнен, полон хлопотами по хозяйству и уходом за детьми и за больной Людмилой Леонидовной. Несмотря на то что дом был почти городского типа, нам многому приходилось учиться заново. Между прочим, мы, привыкшие к каменному углю, не умели топить дровами, и у нас уходило их очень много, а они были дороги. Я не умела стирать так, как стирали деревенские женщины, и меня мучило, что мое белье получается не таким ослепительно белоснежным, как у них, и все-таки я не могла принудить себя полоскать белье в ледяном Псле и отмывать его в самодельном щелоке, разъедавшем кожу. Перелагать же все эти работы на чужие руки не было никакой возможности.

В ту зиму у нас было несколько событий. Во-первых, мы устроили елку. Много вечеров сидели с мамой и сделали множество игрушек и мешочков для сластей. Саму елку достали без труда, свежую и прекрасную. Пришли все приятели детишек. Мы всем подарили по самодельной куколке и по мешочку с гостинцами. Дети читали стихи, танцевали и пели, и нас поразила музыкальность, артистизм и прелестные голоса этих маленьких украинцев и украинок. И было очень приятно, когда на другой день стали приходить матери и бабушки, благодарить и

говорить, что даже в школе и в Доме культуры никогда не было такой интересной елки и таких подарков. И, уже порядочно ознакомленная с шишакской жизнью, я знала, что наши немудреные куколки в юбчонках из жатой бумаги сейчас висят по хатам, прикрепленные к зеркалам и занавескам.

Но наиболее значительным и чреватым событиями было письмо моей свекрови, Марии Петровны Колтовской. Она извещала, что скоро она и ее муж приедут в Шишаки и мы будем жить все вместе. Предстоял еще какой-то неведомый перелом, и я решительно не знала, радоваться ему или нет. С одной стороны, вроде бы хорошо сплотиться всем вокруг детишек и поднимать их сообща. С другой стороны, у свекрови характер был отнюдь не мягкий, и было жутковато, как-то мы сживемся, что у нас получится?

Они приехали ранней весной, а следом за ними прибыла и Мария Владиславовна, наша хозяйка. Она распорядилась так: я с семьей (мамой и детьми) переселюсь во флигель, а в так называемом большом доме будут жить Мария Петровна с мужем. Нисколько не обсуждая это распоряжение, мы так и разместились, и я не чувствовала себя ущемленной, живя в прелестном маленьком домике с веселой террасой, вокруг которой вились по веревочкам посаженные мною бобы. Между двумя домиками свекор разбил клумбы и посадил цветы, по вечерам мы с детьми их поливали.

Моя свекровь была одной из самых красивых женщин, каких я встречала в моей жизни. На шестом десятке лет ее лицо не утратило тонких черт, фигура — стройности и горделивости, удлиненные черные глаза — молодого блеска. Зная, что ею любуются, она говорила не без кокетства: «А мне уже за пятьдесят», и не находилось человека, который бы осудил это маленькое и такое законное ее кокетство.

Она окончила Смольный институт, и в ее альбомах с фотокарточками был портрет юной красавицы в институтской форме — строгом темном платье с белой пелериной и длинными белыми нарукавниками — рукавчиками, как она их звала по институтской привычке. Смольный институт в ее юности был учреждением для воспитания так называемых благородных девиц, но, видимо, учили там этих девиц не только иностранным языкам, танцам и другим подобным вещам, но и многому другому, более полезному, так как на моих глазах Мария Петровна и стирала, и полы мыла, и картошку чистила не хуже любой деревенской женщины, и золу просеивала, и дрова пилила с удовольствием, находя это полезным для здоровья.

Все это мне очень нравилось, как и то, что она держится, что

называется, в форме, никогда не выходит к столу небрежно причесанной, кое-как умытой. Но многое мне, естественно, было чуждо в этой женщине другого поколения и других понятий о жизни, особенно же нас рознило разное отношение к литературе, да еще ее властность, постоянно натыкавшаяся на мое врожденное упрямство, и это неизменно вызывало между нами короткие, но бурные вспышки, от которых обе мы душевно страдали, но с которыми ни одна не умела бороться. Бабушка она была прекрасная, заботливая и умная, так что дети мои росли под внимательным присмотром двух разных бабок, благородной и плебейской, и каждая из них была достойна уважения. И иной раз, видя небрежное отношение к старикам в той или другой семье, мне хочется сказать: «Берегите ваших бабушек и дедушек, сколько бы ни было у них недостатков, без них вам было бы куда как трудно жить». И в самом деле, какие бы между мною и моею свекровью ни происходили стычки — на почве ли ревности к детям, или на почве великой разницы во взгляде на жизнь, — мы после каждой из них остывали мгновенно, и отношения наши снова становились душевными, и в детей она снова вкладывала все свои силы.

И обеих бабушек я вспоминаю с неизбывной любовью — и кроткую мою маму, так мало видевшую в жизни радости, и пылкую свекровь.

Первое время все у нас шло хорошо, раздражаться мы стали позже, летом.

Теперь я думаю, что раздражение было вызвано тогда, главным образом, появлением слишком многих людей.

По моему довольно легкомысленному приглашению из Ленинграда приехала Галя, жена Арсения Старосельского, с полуторагодовалой дочерью Таней. По своему желанию приехали из Ростова дядя Володя и тетя Анна Васильевна, а из Дербента — тетка Бориса Елена Васильевна Аккерманова. Из Москвы приехала старинная приятельница свекрови Любовь Евстафьевна Бовэ с сыном-школьником и молоденькой невесткой Любочкой, женой старшего сына. Приехал младший сын Марии Петровны. Из Ростова приехал мой знакомый, старый журналист Михаил Маркович Майзель.

Со свойственным ей пылом и торопливостью свекровь взялась на всех на них стряпать. Уставала она, конечно, немилосердно, хотя и мы с мамой, и все женщины ей помогали. И хотя все эти приезжие жили отдельно, разместившись в наемных комнатках и углах, но большую часть дня проводили у нас, и, конечно, такое множество различных людей, такой перекрест характеров, привычек, симпатий, антипатий не могли не содействовать

постоянному беспокойному раздражению и нервическим вспышкам. Мария Владиславовна почему-то невзлюбила Галю, и каждый Галин поступок вызывал ее гнев, и такие же отношения возникли между теткой Аккермановой и мною; возможно, существовали и другие конфликты, о которых я не знала. Так что к концу лета все это стало помаленьку походить на пороховой погреб.

Еще зимой, до приезда свекрови, задумала я написать пьесу. Вспомнив времена «Ленинских внучат», решила написать об испанских событиях. С самого начала это было безумием: что я знала об этих событиях, кроме газетной информации? Я даже не могла сложить ни одной мало-мальски вразумительной реплики, а потому решила писать белым стихом: мне казалось, что это легче. Писала я прямо в тетрадку, без черновиков, увлеченная не столько событиями, сколько течением пятистопного ямба, казавшегося мне прекрасным. Да, в первый и последний раз в жизни я сочинила тогда трагедию в стихах. Называлась она «Мерседес» и стояла за гранью всего, что хоть отдаленно имеет право называться литературой. К счастью, я тогда в вихре новых творческих ощущений этого не понимала. К счастью, ибо, понимай я, разве я рискнула бы послать эту тетрадку в Москву на имя Сталина? Уже отправив заказную бандероль с нашей деревенской почты, я перечитала мое сочинение и пришла в ужас, но было поздно — послание ушло.

Я утешала себя тем, что оно не дойдет, а если и дойдет, то на него не будет ответа. И почти уговорила себя, что никто моей дурацкой трагедии не прочтет, как вдруг в разгаре лета пришел ответ.

Сперва он удивил меня безмерно, так как был не из секретариата Сталина и, разумеется, не от него самого, а из какого-то учреждения с неизвестным мне в ту пору названием. Потом-то все оказалось очень просто: секретариат Сталина переслал мое письмо в Управление по делам искусств с просьбой дать оценку моей пьесе, а Управление поручило это драматургу Александре Яковлевне Бруштейн. И теперь письмо этой незнакомой женщины я держала в руках, мучительно вчитываясь в легкие беглые строчки и наслаждаясь ими. Нет, она не хвалила. С жестокой искренностью она высказывала свое мнение, и я не могла не чувствовать его справедливости. Надо писать о том, что знаешь непосредственно, а не из газет, говорилось в письме. Говорилось там также и о подражательности, и о напыщенности, ясно намекалось и на недостаток культуры у автора. Все это была несомненная правда, но мне было легко и радостно читать все это, ибо одновременно мой рецензент отмечал мои литературные

способности и выражал уверенность, что я сумею проложить себе дорогу в литературе. А в конце была приписка, что если я буду в Москве, то чтобы пришла по такому-то адресу, чтобы познакомиться.

33. Я отправляюсь за синей птицей

Еще до Галиного приезда в Шишаки было решено, что обратно она поедет вместе с Наташей. Наташе надо было продолжать учение в русской школе. Арсений хотел, чтобы это была ленинградская школа. У меня не было ни материальной, ни моральной возможности возражать против того, чтобы Наташа пока что пожила у отца, но от мысли о предстоящей новой разлуке у меня разрывалось сердце, я с ужасом ждала момента, когда собравшиеся у нас гости начнут разъезжаться, по ночам мне снилось, как мы с дочкой прощаемся на покрытой подсолнечной шелухой платформе.

И вдруг после одной такой тоскливой ночи, когда и просыпаться не хочется, у меня блеснула мысль: а что, если и мне вместе с Наташей и Галей уехать в Ленинград, чего мне ждать в Шишаках, что тут может быть, я даже написать ничего путного не смогу, да и вообще работы тут не найти, поеду-ка в Ленинград, в Москву, вдруг там улыбнется судьба?.. Думаю, что пришла эта мысль из письма милой А. Я. Бруштейн, как бы подсказавшей мне, что я могу в скором времени быть в Москве.

Я написала о моем плане тете Лиле, которая тогда жила в Ленинграде, обменяв свои московские комнаты на ленинградскую квартиру. И вот судьба! Тетя Лиля и дядя Саша без всяких моих просьб прислали мне на дорогу денег и пригласили первое время в Ленинграде пожить у них. А Любовь Евстафьевна Бовэ звала меня в Москву, говоря, что я могу жить у нее, сколько будет нужно по моим делам. Должна сказать, что Бовэ с первого знакомства относилась ко мне с большой симпатией и твердо защищала в наших стычках со свекровью и свекром. Те и слышать не хотели о моей поездке. Любовь же Евстафьевна утверждала, что я ничего не могу сделать умнее, как оставить Шишаки и пытаться найти свою литературную судьбу. Не думаю, чтобы она веровала в мои способности, ей неоткуда было их узнать, не думаю также, чтобы ее так уж пленяли мои качества, просто она была сама человеком смелым и деятельным и любила видеть эти свойства в других. Она доброжелательно внушала мне, что у меня еще все впереди, только не надо быть лежачим камнем, надо выходить в мир, в жизнь. Я была ей горячо благодарна за эту поддержку и тоже начинала искренне ее любить. Но еще больше поддержала меня — совершенно внезапно — добрая наша Мария Владиславовна. После одной бурной сцены между мной и свекровью по поводу моего отъезда она догнала меня в саду и сказала:

— Вера Федоровна, не слушайте вы их, поезжайте за вашей синей птицей.

Ее муж, тоже проводивший свой отпуск в Шишаках, первый покинул наш кишащий людьми, арбузами и конфликтами приют и уехал в Ленинград. За ним стали разъезжаться и другие, не было дня без отъездов, и вот наступил день, когда надо было уезжать и мне с Галей и девочками.

Сборы мои были недолги, и вот в один солнечный августовский день мы сидели, свесив ноги, на колхозной телеге и Никита Трофимович Воронянский, дед хорошеньких Нины и Гали, вез нас на станцию Яреськи. Билеты были куплены, телеграмма Арсению отправлена. В конце улицы телегу догнали мои мальчики. У меня сжалось сердце, когда я еще раз поцеловала их, сжалось оттого, что я не могла взять их с собой, оттого, что завтра я их уже не увижу и кто знает, когда увижу и при каких обстоятельствах. И с этой болью я поехала за моей синей птицей.

Прелестна была дорога среди полей и мимо Бутовой горы с ее лесом, но потом был долгий путь в жестком вагоне, а еще труднее была безумная пересадка в Киеве, где мы толкались от одного переполненного вагона к другому. К сожалению, в Киеве у нас хватило времени только на то, чтобы побывать в Ботаническом саду, и я безбожно упустила в тот раз случай подробно ознакомиться с этим городом Ольги и Феодосия, Михаила Булгакова и Турбиных. Просчет этот, впрочем, пошел мне на пользу, и с тех пор, куда бы я ни попадала, стараюсь все увидеть, унести в памяти каждую деталь.

Проходил день за днем, мы приближались к Ленинграду. Галю волновала предстоящая встреча с Арсением, их отношения сложились явно не очень-то благополучно.

Я заранее решила, что постараюсь как можно меньше обременять ее своей особой и как можно больше помогать по хозяйству, и на этом решении я успокоилась, стараясь думать о том, как, отыскав синюю птицу, возвращусь к моим мальчикам и маме. Я даже поделилась этими мечтами с Галей, но она облила меня холодной водой, приведя пословицу: «Дурак думкой богатеет», и я не могла в тот момент мысленно не согласиться с этой небогатой мудростью.

Но вот мы подъехали к Ленинграду, наш поезд покружил в лабиринте путей и остановился перед зданием Витебского вокзала. Среди людей замелькала на платформе косоворотка Арсения.

Он был точно такой, как в давние времена, когда терзал меня «150 миллионами» Маяковского: все было на месте — косоворотка, кепка, портфель, неутомимая манера

пропагандировать.

Мы в трамвае поехали на Крестовский остров, где была квартира Гали и Арсения. Это была комната в одном из громадных корпусов на Морском проспекте. Кухня была общая, грязная. Ванной не было.

Галя предоставила мне на выбор одну из кроватей и оттоманку, и я зажила новой, в сущности, бездомной жизнью. Ибо меньше всего было домом это жилье, где никто ничего не берег и не ценил, где полностью восторжествовали антимещанские принципы Арсения, где мне, как говорится, давали по рукам, если я пыталась приукрасить комнату или хотя бы привести ее в порядок. Беспорядочность здесь была доведена до предела.

Пригляднее и уютнее показалась мне после этого жилья квартира тети Лили и дяди Саши на Моховой. Там было всего две комнаты, но в них было чисто. К ним я вскоре и переехала.

Пока не было тети Лили, я чувствовала себя в ее семье очень нужным человеком, почти хозяйкой. От меня зависело, чтобы они все были сыты и довольны жизнью, мне это нравилось.

В моем крохотном коричневом чемоданчике я привезла рукопись новой пьесы, начатой в Шишаках. По вечерам, когда все ложились спать, дядя Саша зажигал лампу на своем чертежном столе и садился чертить, а я запиралась в кухне и, сняв посуду с кухонного стола, принималась за свое сочинение. Впрочем, историю «Ильи Косогора» я опишу отдельно и подробно, с этой пьесы началось мое бытие как драматурга.

Я начала ее летом 1939 года. Начала потому, что прочла в харьковской газете «Комуніст» о конкурсе на лучшую пьесу для колхозного театра. Были опубликованы условия конкурса: не более пятнадцати действующих лиц, не более двух смен декораций, рукопись должна быть перепечатана на машинке.

Я писала, лежа на траве в саду Воронянского. Сад переходил в леваду. Пахло свежим сеном — на леваде тут и там стояли новенькие копны. Удоды пролетали надо мной и проваливались в дупло старой ивы, где у них было гнездо. Иногда из дупла выскакивала головка удоденка с продолговатым клювом и с коричневым забавным хохолком. Но хрустнет где-то сучок — и удоденок мгновенно проваливается в дупло, и там ни возни, ни шороха. Я писала прилежно час за часом, и, хотя эта пьеса не была продиктована ни вдохновением, ни тесным сродством с материалом, кое-что в этой работе доставляло мне настоящую творческую радость: создание судеб и характеров, драматичность некоторых ситуаций, удачно найденное слово. Хотя при этом я прекрасно понимала, что эта пьеса еще отнюдь не я, что мне еще долго предстоит искать себя, то есть точку приложения моих

возможностей в литературе. В то время я находилась под могучим влиянием драматургии Горького и невольно подражала ему.

Впоследствии, через много лет, когда Гослитиздат издавал собрание моих сочинений, мой редактор П. А. Сидоров поместил «Илью Косогора» в том исторических моих произведений. Здесь хочу оговориться: я никогда не считала эту пьесу исторической, она и не замышлялась как таковая. Найдя среди моих шишакских знакомых резко выраженный характер потенциального мироеда, не могший развернуться в условиях колхозного бытия. Я поместила этот характер в иное, «столыпинское время», где он и смог показать все в нем заложенное. Фамилия Косогор тоже была взята из шишакского окружения, остальное же являлось вымыслом, рождавшимся по мере того, как я писала, так сказать из-под пера, — совершенно новое для меня и заманчивое явление.

У меня было мало бумаги, а писалось быстро. Днем, повторяю, я писала на леваде, ночью же работала на лежанке, где спала. Днем моя чернильница стояла на земле среди травинок, ночью — на выступе лежанки. Днем мне светило солнце, ночью я прилаживала на том же выступе обломок свечки, оставшийся от прошлогодней елки. Какой это был крошечный, чахлый, шатающийся огонек! Но и ему приходилось радоваться.

В Ленинград я взяла пачку черновых листков и вырезку из «Комуніста». Купив клеенчатую тетрадь, старательно переписала туда пьесу, попутно исправляя и дополняя ее. Это я уже делала в кухне тети Лили, у большого стола, при электрическом свете. Помню, приятно было сознание, что вот они спят, а я работаю — делаю, как мне казалось, что-то важное. По условиям конкурса пьесу надо было перепечатать на машинке, но об этом не приходилось и мечтать. «Авось сойдет и так», — думала я, отправляя пьесу на конкурс.

Надо было указать адрес автора. Шишакский адрес показался мне несолидным, я присвоила себе адрес Арсения и Гали, живших на Крестовском острове. Теперь нужно было ждать.

Конечно, я не надеялась ни на какую премию. Я ведь не знала тогда, что такое подобные конкурсы. Мне представлялось, что я соприкасаюсь с Парнасом. Зная слабости моей работы и вспоминая обсуждения в ростовском РАППе, я старалась вообразить себе, какие громы грянут из парнасских туч.

Житье мое тем временем было абсолютно птичьим. Сначала меня на месяц прописала в своей квартире тетя Лиля. Потом, когда срок прописки истек, удалось прописаться в квартире Арсения и Галины — тоже временно. Денег было еще меньше, чем в Шишаках. Чтобы доехать от Моховой до Крестовского и обратно, приходилось принимать мелочь от тети Лили и Гали. К

тому же тетя Лиля сердилась, что я езжу на Крестовский, — отчасти потому, что это отвлекало меня от обязанностей прислуги, но главным образом потому, что боялась заразы. Ей казалось, что на Крестовском все больны дифтеритом, скарлатиной, коклюшем, тифом и что я непременно перенесу все эти заболевания в ее дом. Спорить было бесполезно. Наконец она просто запретила мне бывать на Крестовском, а стало быть, видеть Наташу и общаться с людьми, с которыми у меня были общие интересы.

За этим последовал полный разрыв. Во-первых, я нечаянно разбила какую-то вазочку. Во-вторых, и главных, тетя нашла домработницу. Я должна была уступить ей свое место в столовой.

Я решила ехать в Москву. Может быть, моя синяя птица ждала меня там? У меня были припрятаны тридцать рублей, подаренные мне дядей Сашей в день моих именин. Уже не помню, хватило ли мне этих денег на дорогу или я занимала еще у Гали. Помню себя на Московском вокзале. Носильщик покупает мне билет на какой-то глухой поезд, уходящий поздно ночью. Я впервые вижу «Красную стрелу», готовую к отправке. Любуюсь через окна красивыми купе и не догадываюсь, сколько еще мне придется ездить в этом комфортабельном поезде.

Пока что без всякого комфорта, но полная надежд добираюсь до Москвы обычным поездом. Курский вокзал. Метро. Я наизусть знаю адрес Л. Е. Бовэ, так радушно приглашавшей меня. Суеверно загадываю: если она меня встретит хорошо, значит, все сложится удачно.

Она встречает меня как нельзя лучше. Ее жилье тесно, в одной комнате спит она и ее сын Роберт, в другой невестка Любочка со своим маленьким сынишкой. В первой комнате на диване помещается также Аня, когда-то работавшая у Любови Евстафьевны домработницей. Но московское гостеприимство шире ленинградского. Вся семья, в том числе Аня, сердечно меня приветствует. На столе появляются чай и бублики. Любовь Евстафьевна укладывает меня спать на кровати рядом с собой. До поздней ночи она говорит мне слова ободрения. Она верит в мое будущее, это для меня самое дорогое.

То было в сентябре, и вот мы живем вместе всю осень и начало зимы. Мы условились, что из каких-то грядущих доходов я уплачу третью часть наших расходов на питание. (Ибо она считает, что нас трое — она, Роберт и я.) По вечерам мы с нею играем в гусарский преферанс (вдвоем). Пишем друг на друга наши липовые выигрыши. Я пытаюсь работать, еще в Ленинграде я начала думать о пьесе «Старая Москва». Объявлен был конкурс, всесоюзный, я пошлю на него эту пьесу. Но я так мало знаю о

старой Москве, да и вообще, что я знаю? И кто же я в конце концов, и когда кончится эта птичья жизнь? И опять влияние Горького, словно его могучая рука лежит у меня на темени и вынуждает смотреть на вещи его, горьковскими глазами, а не моими.

И вот я ныряю в Москву, чтобы возобновить старые связи и завязать новые. В знакомом доме на углу Большой Молчановки и Борисоглебского переулка я нахожу дядю Илью. Он живет в тех же двух комнатах, где жил в 1931 году, занимается зубоврачебной практикой, выглядит свежо и молодо. Его жена Александра Львовна умерла несколько лет назад, он женат теперь на Наталии Федоровне Любимовой, женщине годом моложе меня, милой и приветливой.

Дядя не очень верит в мою синюю птицу, но ласков со мной и предлагает работать в его кабинете. Там, за столиком, уставленным ступками, и гипсом, и банками с ватой, я нахожу книжную полку, а на ней среди всякого хлама старый, начала века, путеводитель по Москве. Какая находка, сколько прекрасных сведений: названия улиц и храмов, история инженера Балинского с его проектом метрополитена — для меня это клад. Я всему нахожу применение в моей новой пьесе, моя фантазия разгорается, я придумываю семью Сушковых, и Шурку Хлебникова, и Любовь, и цыган, и все придумывается так радостно.

Я начинаю часто бывать у дяди и не раз ночую в его зубоврачебном кабинете, где для этих случаев между письменным столом и бормашиной устанавливается раскладушка.

Но мне еще надо разыскать Александру Яковлевну Бруштейн, писавшую мне в Шишаки после моего письма к Сталину. Я нахожу Серебряный переулок (это очень близко от Борисоглебского). Страшно волнуюсь, нажимая звонок на двери, где висит эмалевая дощечка с именем профессора Бруштейна. Гадаю: кто ей этот профессор — муж? Отец? Почему-то ожидаю увидеть молодую женщину, причесанную у парикмахера и прекрасно одетую. Но меня ведут к седой добела старушке в морщинках, в сильных очках (оказывается, она очень плохо видит) и со слуховым аппаратом (она очень плохо слышит). Но эти еле видящие глаза полны такой доброты и ума, что сердце мое переполняется доверием и симпатией.

Она заставляет меня рассказать все о себе. Говорит, что у меня талант, спрашивает, что я делаю сейчас. Наш разговор все время прерывают: то кто-то к ней пришел, то ее зовут к телефону. Между прочим, приходит Надежда Яковлевна Абезгуз, которую она рекомендует как своего секретаря. Позже я узнала, что

Надежда Яковлевна несет здесь секретарские обязанности из чистого обожания и преклонения перед А. Я. Бруштейн. Что это обожание разделяет с нею множество людей, которым Александра Яковлевна, детский писатель и драматург, помогает своими советами.

Рассказывала мне Надежда Яковлевна и о плохом здоровье «бабушки», как она называла Александру Яковлевну, в частности о том, что знаменитый профессор В. П. Филатов делал ей операцию на глазах и что вскоре предстоит еще одна такая операция. И меня поразило, что столь больной человек так весело смеется, острит, сыплет анекдотами. Я всегда любила посмеяться, и эта веселость «бабушки» Бруштейн привязала меня к ней необыкновенно быстро и прочно. День, когда я ее не видела и не говорила с ней, казался мне пустым. Боюсь, что в этот период я ее изрядно замучила своими визитами и телефонными звонками. Впрочем, не одна я мучила. Она всегда была окружена такими, как я. С радостью я видела, что и она ко мне вроде как бы привязывается и уверенно ждет от меня чего-то.

Иногда я замечала, что меня как бы экзаменуют. То просят почитать вслух газету и наблюдают, как я произношу иностранные имена и географические названия. То искусно выпытывают, читала ли я то или другое и как отношусь к прочитанному. Эти экзамены меня не обижали, даже льстили мне. Я хотела не ударить лицом в грязь и невольно умнела в присутствии «бабушки».

Приближался новый, 1940 год. Незадолго до него «бабушка» вдруг сказала:

— Верочка (она давно меня так звала), вам, должно быть, хочется заработать денег.

— Еще бы! — сказала я.

— Есть одна работа, — продолжала «бабушка», — довольно противная, но можно заработать три тысячи.

Три тысячи! Это показалось мне несбыточным. В тот же миг я решила постараться сделать эту работу и, если получу эти три тысячи, немедля отвезти их маме и мальчикам, явиться к ним с подарками и всякими вкусностями, что выглядело совершенно невозможным в ту пору моей жизни.

«Бабушка» объяснила: есть в Москве такое учреждение — Центральный дом художественной самодеятельности при ВЦСПС. Сокращенно это называется ЦДХС ВЦСПС. Сейчас наступает пора детских елок, массовых детских праздников. Дому требуется сценарий такого праздника. Они используют этот сценарий в домах культуры и во дворцах пионеров, а кроме того, напечатают — при условии, если сценарий будет хорошего качества. Цену

назначили — три тысячи. Но только, сказала «бабушка», им надо срочно, сценарий должен быть готов через два дня.

— Два дня! — воскликнула я.

— Вы сделаете, — сказала она. — Вы сделаете чудно.

Я усомнилась — меня пугал срок, — но сообразила, что ведь между двумя днями еще имеется ночь, а ночью я работать привыкла, и, сообразив, согласилась.

Моя добрейшая Л. Е. Бовэ, узнав о полученном мною сверхсрочном заказе, постаралась создать мне все условия для работы. Большой обеденный стол был отдан в мое распоряжение, и я засела за елочный сценарий.

Я писала лихорадочно. Откуда бралась выдумка? За эти два дня и одну ночь я сочинила несколько сценок, несколько стихотворений и целую маленькую пьесу по мотивам народных сказок. Вдруг вспомнились и сказки, и газетные материалы, которые можно было использовать, и случайно узнанные где-то милые вещи («Майкина остановка»). Отдельные кусочки складывались в нечто целое — в сценарий. И так как я где-то в душе уже поняла тогда, что не боги обжигают горшки, я готова была заранее торжествовать победу.

Конечно, первый блин вышел комом. Конечно, сценарий вышел недостаточно массовым, он вышел камерным, обнаружил мое незнание законов самодеятельности. Я шагнула в эту сферу из замкнутого, отъединенного мира, и понадобилось вмешательство «бабушки» и ее приятельницы А. А. Кудашевой, чтобы это исправить. На исправление мне оставалась еще одна ночь, но мне этого хватило. Под белой висячей лампой в комнате Любови Евстафьевны Бовэ я до утра заканчивала работу, и, когда закончила, правая рука моя болела от плеча до кончиков пальцев.

Утром одним из первых поездов метро я летела на Арбат, к «бабушке».

— Верочка, — сказала она, прочитав исправленный вариант, — если вы возьмете с них за это меньше пяти тысяч, я с вами больше не знакома, так и знайте.

— Не знаю, — сказала я, — боюсь, что не сумею.

— Извольте суметь, — отрезала она.

На другой день я должна была читать в ЦДХС ВЦСПС мой елочный сценарий.

Я приехала туда и впервые заседала в качестве автора у зеленого стола в окружении дам делового вида. Сперва оробела, увидев, что «бабушки» среди них нет (а она обещала быть непременно). В расстройстве я даже покинула заседание и вышла на улицу и сразу увидела «бабушку», спешившую ко мне со стороны улицы Герцена в своей меховой шубке и громадных

очках (ЦДХС на улице Станиславского). Я радостно бросилась к ней, теперь все, показалось мне, должно пойти хорошо.

Я не ошиблась: и читала я хорошо (а как трудно впервые читать вслух собственную вещь, литераторы знают), и слушали меня все эти женщины прекрасно, и похвалам не было конца. Увы, я еще не знала, с каким литературным материалом в этих стенах обычно имеют дело, и принимала похвалы за чистую монету.

Все это было прекрасно, но после обсуждения меня оставили с глазу на глаз со строгой женщиной — директором ЦДХС, и передо мной лег лист договора, и нужно было решать вопрос об оплате. Я очень боялась «бабушки» и ее угрозы отречься от меня, но торговаться не умела, и стыдно казалось мне это. С первых слов директриса дала понять, что о пяти тысячах не может быть и речи. Я, со своей стороны, дала понять, что не может быть речи о трех тысячах. На этом обе мы стали железно, причем обе знали, что мое упорство совершенно бесплодно, ибо куда я могла пойти с моим елочным сценарием, кому он был нужен, кроме ЦДХС? Я боялась, что директриса вдруг возьмет и скажет мне все это, добавив, что я могу забирать мою писанину и идти домой. Но она этого не сказала, и после некоторого толчения воды в ступе мы, наконец, сошлись на четырех тысячах, причем две я должна была получить немедленно, а две ЦДХС обязался перевести мне в Шишаки.

«Бабушка» была недовольна моей сговорчивостью, я же, получив такую уйму денег — две тысячи, была, напротив, бесконечно довольна и ушла с ощущением, что, кажется, отныне мои дела пойдут получше. Я немедленно отдала Л. Е. Бовэ мой долг в общую хозяйственную кассу, дала сколько-то взаймы дяде Илюше, находившемуся тогда в денежном затруднении, и телеграфировала маме, что скоро приеду. И, конечно, побежала по магазинам, покупая то и это для мамы и ребятишек.

Не помню, откуда я набрала столько чемоданов, но в момент моего отъезда из Москвы их было пять. Они были до отказа набиты тканями, обувью, но по преимуществу съестными припасами. В том числе была голова голландского сыра и сотня мандаринов, причем каждый был завернут в папиросную бумагу. Подумав, я часть этих лакомств послала маме посылкой так сказать, авансом.

Я благополучно отбыла из Москвы, сердечно простившись со всеми, кто меня так опекал, и благополучно доехала до станции Яреськи, где мне надлежало высадиться. Затруднение было в том, что поезд останавливался в Яреськах на одну минуту, а носильщиков там не водилось, а чемоданов было пять. Я сделала

так: заранее вынесла весь мой багаж на вагонную площадку и, едва поезд остановился у темной станции, стала один за другим выбрасывать мои чемоданы на платформу. Я слышала, как отскакивали чемоданные крышки, видела, как что-то выпадало и катилось по оледенелой платформе, но что было делать? Наконец сбросила последний чемодан и сошла сама. И пошла от чемодана к чемодану, подбирая выпавшие мандарины и свертки. Не без труда собрав все чемоданы в одну кучку, отправилась искать подводу. На мое счастье, нашла за станционным зданием телегу с лошадью и возницей. Он и привез меня с моей поклажей к маме и мальчикам. Они уже спали, но поднялись на мой стук и при свете маленькой коптилки разбирали мои подарки. Кое-что ели тут же, они соскучились по вкусным вещам.

Я опасалась, что ЦДХС затянет выплату мне остальных двух тысяч, но оказалась неправой: буквально через два-три дня наш шишакский почтальон принес мне перевод. История со сценарием закончилась вполне успешно. Еще через сколько-то времени пришла тощая уродливая книжечка в переплете из бумажки — ЦДХС издал мое сочинение, отпечатав его на стеклографе. А еще впоследствии мой пасынок рассказал мне, что он самолично был на елке, организованной по моему сценарию, и с другими ребятами разучивал сочиненные мною песни. Эта невзрачная книжица — воспоминание о первых, еле приметных шагах моей литературной работы — долго стояла у меня на полке, пока я не отдала ее в ЦГАЛИ вместе с другими материалами.

Все заработанные деньги я отдала маме, чтобы она жила на них в мое отсутствие. Потому что меня опять безудержно тянуло в Москву — продолжать поиски моей синей птицы.

Мы жили первое время по-прежнему в доме Марии Владиславовны Кошевой. С наступлением весны стали, как и в прошлом году, съезжаться гости. Я стала опасаться, что такое скопище жильцов обременительно для М. В. Кошевой, и переселилась в другой дом, стоявший на леваде. Там меня постигла в то лето странная болезнь, выражавшаяся в непрерывной головной боли и в светобоязни. Выходя из прохладной темной хаты во двор, я накидывала на голову мокрое полотенце, иначе солнце пронзало всю голову невыносимой болью. Тем не менее по ночам, когда темней всего, боль становилась особенно жгучей: казалось, в мозгу созрел и вот-вот прорвется нарыв. Не только писать — я ничего не могла делать, каждое движение было мучительно, даже надеть чулки поутру стало трудной задачей. Лекарства не помогали. Я уже стала отчаиваться, как вдруг болезнь прошла так же внезапно, как явилась: в какое-то утро, проснувшись и боязливо взглянув на

солнечные щели в ставнях я, к удивлению своему, ощутила, что голова не болит. Встала, вышла в другую комнату и принялась стирать белье в корыте. Потом расстилала выстиранное белье во дворе на травке, все время прислушиваясь, как там мой «нарыв» в голове. Но «нарыва» больше не было.

В целом лето было хорошее, но за ним пришла осень, гости разъехались, надо было ехать и мне. Очень тяжка была новая разлука с детьми и мамой, и не приснилось нам тогда, при каких обстоятельствах мы свидимся снова. Увы, ехать мне было необходимо, чего было ждать, живя в Шишаках? В один теплый сентябрьский день Н. Т. Воронянский на колхозной телеге отвез меня на станцию.

Опять я окунулась в Москву, опять жила у Л. Е. Бовэ и ночи напролет слушала рассказы о ее молодости, о первом замужестве, о том, как за нею волочился Распутин. Часто бывала у «бабушки» и у дяди Ильи Ивановича, где снова ночевала на раскладушке в зубоврачебном кабинете.

В том году всеобщее внимание было приковано к европейской войне. У всех на языке была линия Мажино и успехи немцев, ледяные предчувствия уже касались сердец. Осень и зима прошли сумрачно. Только мамины письма грели душу, она и мальчики жили нормально.

В конце ноября грянула война с белофиннами, и, съездив в Ленинград повидаться с Наташей, я впервые увидела в подъездах синие лампочки… У Арсения с Галей жизнь шла все печальнее, Наташе с ними было нерадостно. Я мечтала как-то собрать около себя всех детей и жить с ними, но как было это сделать? Ни кола, ни двора, ни копейки заработка после елочного сценария…

Помню очень хорошо, что было 1 апреля (число это запомнить нетрудно). Мы с Л. Е. Бовэ сидели в столовой в ожидании обеда, как вдруг Аня принесла мне письмо. Оно было из Ленинграда, от Гали. Она писала, что на их адрес (который я указала, посылая «Илью Косогора» на конкурс) пришло для меня извещение: «Илье Косогору» была присуждена первая премия 7 тысяч рублей.

Первым моим душевным ощущением было отчаяние: я вспомнила, что сегодня 1 апреля, и испугалась, что Галя меня разыгрывает.

Эта мысль была черным грехом по отношению к милой, доброй, любившей меня Гале, но в тот момент уж очень было велико мое неверие в жизнь.

Удивительно, но Любовь Евстафьевна приняла известие без всяких сомнений.

На другой день, посоветовавшись с дорогой моей

А. Я. Бруштейн, я пошла в Госбанк на Мясницкой (улица Кирова) разузнать, каким образом я могу получить мою премию. Ответ был самый неутешительный. Главный бухгалтер, записав все указанные мною данные, сказал, что Госбанк выдаст мне эти деньги, если я буду иметь в паспорте отметку о прописке в Москве. Опять я испытала приступ удушья: Л. Е. Бовэ жила в ведомственном доме, где нельзя было прописаться, а дядю Илюшу, больше всего любившего покой, я боялась попросить. Выручила опять-таки А. Я. Бруштейн. Узнав о моих затруднениях, она поговорила со своей домработницей Марией Федоровной, и та согласилась прописать меня у себя как свою сестру (благо отчество было одинаковое). Так и было сделано, и через довольно краткое время я получила в Госбанке на Мясницкой свою премию. И такой богачкой, как тогда мне казалось, с подарками и деньгами поехала в Ленинград, затем в Шишаки, затем снова вернулась в Ленинград.

В ту поездку я очень подружилась с семьей Кониковых — Марией Христофоровной, химиком, и ее мужем Александром Леонидовичем, физиологом.

Я еще в Ростове о них слышала, так как с ними дружил В. К. Жак. Арсений и Галя тоже у них бывали, стала бывать и я. У них познакомилась со многими интересными людьми, и в том числе с блестящей рассказчицей Ириной Валерьяновной Карнауховой (детской писательницей, выступавшей также по радио под псевдонимом «Бабушка Арина»). Когда в Ленинград внезапно приехал брат Арсения Яков Старосельский, он тоже стал бывать у Кониковых и сдружился с ними. Эти маленькие вечера со скромной закуской всегда были очень приятными и веселыми. Все ко мне относились дружески и сердечно, и я помаленьку оттаивала, с меня сходили мрачность и нелюдимость. Всегда вместе со мной бывала у Кониковых и Наташа, и я замечала, что и для нее это знакомство полезно, она тоже становилась живей и веселей. Помню, мы в складчину устраивали блины, все женщины нашей компании пекли их, а руководила нами Мария Христофоровна, мастерица на все руки, умевшая всем окружающим передать свое мастерство и энергию.

Кроме блинов запомнилась мне наша коллективная прогулка на Каменный остров — пешком, в чудесный морозный вечер, когда не разобрать было, что сыплется с неба — снег или звезды. То время было островком отдыха; я вспоминаю о нем со светлым чувством.

Но уже подходил 1941 год, и уже встреча его не сулила доброго. Кониковы пригласили меня в компанию, и Новый год мы встретили в чьей-то чужой квартире шумно и неуютно. Было

слишком много чужих несимпатичных лиц и слишком много вина, и нестерпимо грустно мне было оттого, что те, кого я люблю, так далеко от меня. С тех пор я стараюсь встречать Новый год только с самыми близкими людьми, хотя бы в самой будничной обстановке. Исключением была лишь встреча Нового, 1945 года в санпоезде, где вокруг меня были спутники, прототипы героев будущей повести. В ту ночь у всех нас было прекрасное настроение, дыхание победы уже носилось тогда в воздухе, наши войска были в Австрии, И. А. Порохин по этому случаю даже выдал нам какой-то безобидной выпивки.

Но вернусь к зиме 1940/41 года.

34. Домик против лицейского сквера

Через своих знакомых, живших в городе Пушкине (бывшем Детском Селе), Кониковы помогли мне снять крошечную комнатку в Пушкине в семье Сперанских. Семья состояла из матери и дочери, недавно лишившейся мужа. И ту и другую звали Надежда Владимировна, так что заочно о них говорили: Надежда Владимировна старшая и Надежда Владимировна младшая. Дочь работала учительницей — преподавала историю в одной из пушкинских школ. Мать жила с нею. Обе были высококультурные женщины, в их библиотеке стояли книги на разных языках, обе великолепно читали вслух стихи с тем пониманием, исполненным ума и такта, которое не допускает никаких актерских приемов и дает о себе знать естественным прочтением строк, созданных талантливым поэтом (неталантливых эти женщины не читали). Сравнительно быстро между мной, жиличкой, и между ними, владелицами квартиры, установились прекрасные отношения, полные взаимопонимания и доброжелательства.

Условия найма были для меня приемлемы: надо было только оплачивать счета — за квартиру, электричество и прочее такое, — после того как Надежда Владимировна младшая потеряла мужа, им это стало трудновато. И вот я, а затем и моя Наташа получили временную прописку в домик против ворот в лицейский скверик. Кажется, этот домик принадлежал некогда одному из лицейских учителей Пушкина. Помню, как меня восхищало то, что я на какое-то, пусть краткое, время обеспечена пропиской, что Наташа живет вместе со мной, а главное, что это прекрасное место, перейти дорогу — и вот он, лицейский сквер, и в нем сидящий на скамье Пушкин (любимый мой памятник) с его дивными стихами на цоколе, с облетевшими осенними листьями у его ног, а дальше — парки, о которых он написал:

> Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
> Вхожу с поникшей головой.

Уже после освобождения Украины от оккупантов, днем служа секретарем-машинисткой в райпотребсоюзе да копая картошку на колхозных полях, ночью я при свете фитилька, плававшего в блюдце с подсолнечным маслом, стала писать книгу «Остландия» — так называли захватчики временно оккупированные ими области СССР. К этой книге я взяла эпиграфом эти самые строчки

Пушкина о прекрасных садах, горько вспоминая, как они выглядели во время войны.

К сожалению, «Остландия», написанная от руки на страницах старой бухгалтерской книги со словами «Дебет» и «Кредит», пропала в моих странствиях, как и некоторые дорогие мне письма, телеграммы, записки, все то, что копит человек в своей жизни и что он любит и чтит как самое дорогое, но — увы! — что почти никогда не удается сберечь.

Но вернусь к домику против ворот лицейского сквера. Мы с дочкой занимали комнатку, в которой прежде работал муж младшей Надежды Владимировны, начинающий художник. Его работа — портрет Пушкина — висела на стене. Спали мы с дочкой на большом диване, поставленном в нише из полок, сплошь занятых книгами. Комнатка была очень холодная, от всех стен дуло, но на крайний случай имелась маленькая, похожая на тумбочку чугунная печка, которую можно протопить дровами, а в еще более крайнем случае сосновыми шишками и сухими веточками, собранными в парке. И вот эта печка, этот диван, книги, портрет Пушкина и то обстоятельство, что Наташа живет со мной и по утрам я вижу, как она позавтракала перед уходом в школу и как заплела косы, — все это, такое с виду малое, рождало во мне уверенность, что вот так же мы непременно будем когда-нибудь жить вместе все — я, дети и мама. Как это случится, я не умела предугадать, но знала, что это будет, и будет через литературный успех, не иначе. И сколько я тогда набросала никчемных отрывков, каких-то начал и концов чего-то, и припомнить не могу. Отцедились в памяти только два названия: пьеса для кукольного театра по сказке Аксакова «Аленький цветочек» и комедия «Синус». То и другое пропало, да я и не жалею, настолько все эти клочки ни на что не годились. С обеими Надеждами Владимировнами отношения у меня сложились, как я уже сказала, отличные, хоть и не сразу. По многим наблюдениям я знала, что эти высокообразованные и интеллигентные женщины не могут не видеть разницы между собой и мной, что моя недостаточная культурность принимается ими иногда болезненно, что я, должно быть, представляюсь им какой-то взбалмошной чудачкой. И в самом деле: где-то оставила детей, живу птичьей жизнью, ни кола ни двора, и в то же время черт знает на каких основаниях мечтаю стать писательницей и по целым дням что-то пишу на столе против пушкинского портрета — этакое святотатство! — запершись на ключ, и знакомые у меня все интеллигентные и даже ученые. Помню, как медленно обе эти женщины привыкали ко мне, так сказать, принимали меня в свой круг. Как-то в маленькой кухоньке, где на плите грелись бок о бок

наши чайники, я рассказала про моего дядю Сережу, про его увлечение собиранием бабочек. Случайно я произнесла слово «энтомолог» и увидела, что мои дамы при этом улыбнулись, будто я была людоедка Эллочка, произнесшая умное слово. Улыбка была, впрочем, хорошая, необидная, признающая меня ровней. Потом я увидела, что их очень подкупает мое пристрастие к стихам. Потом я съездила как-то в Ленинград, чтобы выкрасить волосы, что я всегда делала от случая к случаю. Вернулась шатенкой с бронзовым отливом, и когда младшая Надежда Владимировна спросила, а как выглядит эта процедура, в чем она заключается, я им все описала объективно, самокритично и, должно быть, смешно, потому что они смеялись обе. И я вдруг почувствовала, что признана ими, что впредь мои литературные претензии здесь не будут считаться беззаконными, и привязалась к ним, как к родным. И Надежда Владимировна старшая даже стала меня учить французскому языку, а младшая — читать мне самые трудные для восприятия стихи, уже уверенная, что я все пойму.

Я уже сказала, что все искали мне работу. Об этом хлопотал и дядя Саша. И вдруг он предложил мне однажды — не хочу ли я поступить на службу в Дом ученых.

Ученых?

Я готова была хоть к черту в зубы, лишь бы укрепиться в жизни. Только что же я буду делать в Доме ученых, с моим-то образованием?

Но дядя Саша объяснил:

— Они устраивают гостиницу для приезжающих ученых, им в эту гостиницу нужна заведующая.

Во всяком случае, подумала я, надо туда сходить потолковать, и отправилась, не мешкая.

Дом ученых с его резными деревянными панелями и уютными гостиными показался мне дворцом.

Наконец, разговор дошел до зарплаты. Почему-то мне казалось, что в этой должности я буду получать прилично, но товарищ, говоривший со мной, сказал:

— Вы будете получать столько-то рублей.

Я даже покачнулась — на эти деньги я бы не могла содержать семью.

— Это по ведомости, — продолжал товарищ. — На деле же, умеючи, вы будете иметь раза в три больше. Ведь под вашим начальствованием будет буфет.

«Вот куда меня принесла моя жизнь!» — подумала я с горечью.

После переговоров о службе я поехала к себе в Пушкин.

Мне отворила дверь Надежда Владимировна — старшая. Он сказала:

— Вам телеграмма.

Со времени смерти брата я очень боялась телеграмм и тут испугалась: не из Шишак ли? Что случилось?

Но телеграмма была из Москвы и подписана фамилией: Завадский. Я знала, что это один из крупнейших театральных режиссеров, только не знала, в каком театре он работает. И вот в подписанной его именем телеграмме я прочла, что Театр имени Моссовета просит меня передать ему мою пьесу «Старая Москва» для постановки в ближайшее время.

Так я узнала, что моя пьеса была отмечена на конкурсе премией (она была разделена между Щегловым — за пьесу «Сокровище Сампо», Афиногеновым за «Машеньку» и мною).

Отпадала мысль о гостинице для приезжающих ученых и о буфете.

Был уже вечер, когда я держала в руках эту телеграмму, заново переломившую мою жизнь. Утром я побежала на телеграф, а через несколько дней уже катила в Москву, переполненная лучезарными надеждами.

В Театре имени Моссовета меня сразу повели по кабинетам. Сначала меня приняла секретарша директора, потом сама директорша, подписавшая со мной договор, затем ее заместитель и, наконец, сам Завадский, чарующе любезный и обаятельный.

Он рассказал, что он-то и открыл мою пьесу в груде присланных рукописей (он был членом жюри конкурса) и сам ее будет ставить.

Затем я читала пьесу коллективу театра. Мне очень хлопали, и, когда я хотела прервать эти аплодисменты, сидевший рядом со мной Завадский сказал:

— Потерпите, может быть, этого уже больше никогда в вашей жизни не будет.

И уж не знаю, что меня дернуло за язык, но я ответила сразу и уверенно:

— Будет! — так что он даже удивился и посмотрел на меня недоуменно.

Я стала каждый вечер бывать на спектаклях, познакомилась с жизнью театра, изучила все его закоулки. Все эти переживания начинающего драматурга прекрасно описаны в «Театральном романе» М. А. Булгакова.

Раза два или три мне представляли режиссеров, приехавших из периферийных театров за моей пьесой, которая еще не пошла в распространение. Мне пришлось попросить театральную машинистку перепечатать пьесу, чтобы иметь в своем

распоряжении несколько экземпляров.

Уж не помню, какие причины понудили меня после установления отношений с Театром имени Моссовета ехать в Ленинград. Скорее всего, это было непреодолимое желание неудачника показаться наконец-то в свете удачи.

Не помню также, сообщила ли я тете Лиле о своем приезде, но она меня ждала и встретила радушно.

Оказалось, что в мое отсутствие звонили из Театра имени Пушкина и просили, чтобы по возвращении немедленно позвонила художественному руководителю театра Вивьену.

Конечно, я позвонила тотчас же. Вивьен сказал, что просит меня прийти и принести пьесу.

И вот через день или два я входила в прекрасное здание Александринки.

Первым встретил меня режиссер Петровых, он, как оказалось, должен был ставить мою «Старую Москву» под руководством Вивьена. Затем мы пошли к Вивьену. Он был еще любезнее, чем Завадский, и сказал, что сам намерен играть молодого Хлебникова, а Ксению будет играть такая-то. Я вспомнила ее в «Маскараде» и сказала:

— Что вы, она не подходит, у нее такой противный голос, — и не поняла, почему Петровых толкнул меня ногой, только обиделась и сочла его неучем. А когда он, выйдя со мной из кабинета Вивьена, спросил:

— Вы, очевидно, не знали, что эта актриса — жена Вивьена, — я была готова провалиться сквозь землю, но, так как идти извиняться было невозможно, постаралась поскорей забыть этот ужасный эпизод.

Начались новые приятности в новом театре: успешное чтение пьесы в коллективе, знакомство со множеством актеров, из которых кое-кого я знала (Гайдарова, например, по фильмам моего детства и отрочества). Особое наслаждение было заходить в великолепный зрительный зал и воображать, как в этих креслах будут сидеть зрители, как будет сиять эта люстра, а на сцене будет идти моя «Старая Москва», будут произноситься те слова, которые я сочинила.

Все, казалось, было на мази, никаких сомнений быть не могло. Начались репетиции, и жена Вивьена не показалась мне в них неприятной, а, напротив, весьма тонкой и умной актрисой, а иные — например, Вивьен и Скоробогатов, игравший старика Сушкова, — казались мне совершенством.

Я, как и актеры, стала каждое утро приезжать в театр к 11 часам, туда были устремлены теперь все мои мысли. С каким наслаждением я садилась в битком набитый дачный поезд в тот

час, когда утреннее солнце пригревало доски железнодорожной платформы перед зданием вокзала в Пушкине!

Какая была радость перед репетицией зайти в будочку на углу Невского и Перинной линии (будочку, где помещалась сосисочная) и съесть пару горячих, прямо из котла, сосисок с порцией горячего пюре, чтобы заправиться перед тем, что теперь составляло мой рабочий день.

Таких прекрасных, лучезарных рабочих дней у меня не было ни раньше, ни впоследствии.

Множество повестей и рассказов сообщают о том, что 22 июня 1941 года с утра стояла восхитительная погода. Таким и я помню этот день.

Воскресенье, ехать в Ленинград было не нужно, так как репетиций по воскресеньям не бывало. Я встала позже обычного и, увидя в окне жаркое солнце, пошла погулять.

Подходя к рынку, я вдруг услышала радио: это было сообщение о нападении Германии на Советский Союз.

Каюсь, я не сразу поняла суть этих страшных слов.

С того мгновения жизнь моя, как и всех вокруг, приковалась к радио, к черной трубе, висевшей над входной дверью нашей квартирки. Она, эта труба, вещала так громко, что можно было ее слышать не выходя из комнаты. Все мы ожидали от этой черной трубы какого-нибудь чуда, которое разрушило бы тяготеющий над нами кошмар, каких-нибудь слов, которые вернули бы нам покой и радость. Но, увы, эти слова не прозвучали.

Вскоре прекратились репетиции пьесы, и общее настроение было таково, что я даже не рискнула задать театру какой-либо вопрос по этому поводу: жены провожали мужей в армию, каждый день уезжали мобилизованные на рытье окопов, даже такой столп Александринки, как Николай Черкасов, записался в ополчение, и мне казалось немыслимым и безобразным заботиться о своих личных интересах.

Все мои мысли были связаны с матерью и сыновьями, которые находились в это время на Украине, в Шишаках. Страшная тревога за них не покидала ни днем, ни ночью.

Между тем немцы приближались к Ленинграду. Эвакуировался Александринский театр, уехали со своими предприятиями Кониковы, эвакуировалось общежитие Консерватории, расположенное рядом с нашим домом, уехала вместе со школой испанских детей, где она преподавала, Надежда Владимировна младшая.

Но куда было эвакуироваться мне? Всем сердцем я мечтала воссоединиться со своей семьей, собрать под свое крыло сыновей, дочь и мать.

Пушкин постепенно пустел. Магазины стояли открытые настежь, на улицах мертвая тишина. Поезда со станции отправлялись неаккуратно. Я с Наташей и Надеждой Владимировной старшей собиралась со дня на день переехать в Ленинград, но мы опоздали.

Запомнилась мне какая-то ночь, я, дежурная ПВО, вышла из дома и села на крыльцо соседнего дома.

Необычаен был вид этой ночной улицы. Откуда-то издали доносился звук одиноких шагов по каменной мостовой. Этот звук словно усиливал мрачную тишину. На другой стороне улицы черные окна были прорезаны белыми бумажными крестами. Из-за угла, где находился вход в лицейский сквер, показался грузовик с военными и штатскими. Сейчас же человек, дежуривший по соседству со мной, остановил его — видимо, спросил пропуск. Машина направлялась в Ленинград.

«Если еще покажется машина, — подумала я, — остановлю ее и попрошу, чтобы меня с Наташей и Надеждой Владимировной старшей захватили с собой».

Но прошел час, другой, третий, а машин больше не было.

35. Целую вечность тебя не видела

Целую вечность тебя не видела, ни лица твоего, ни улыбки, что так прелестно морщила уголки твоих глаз и губ, ни даже почерка твоего прежние письма твои сгорели в огне войны, а новых я не получала и не получу уже. Расставание наше было долгое и многоступенчатое, я спустилась за тобой по крыльцу, заметенному снегом, и бежала до ворот, и метель белыми петлями стелилась по земле. С той ночи она мне сопутствовала всюду, метель кидается мне под ноги, куда бы я ни пошла, и мешает идти, и стужа хватает меня за горло, мешая дышать.

Хочу тебе сказать, что за эту вечность разлуки я очень много узнала. О, тебе известно, какою я мнила себя многоумной, как высоко ставила свое пустяшное знание жизни, вычитанное из книг, и свое воображение, которое могло представить мне все, чего я не видела и о чем не читала. А оказалось, я не знала почти ничего, и вот, оторванная от тебя и от нашей любви, я стала узнавать. Чаще это узнавание было горьким, чем радостным, но были и счастливые узнавания.

Я узнала себя — что такое аз есмь и что мне предназначено делать в мире и вот я по мере сил делаю, осторожно расходую свои возможности, стараясь не зарваться, хотя и это не так-то легко, да, милый, все нелегко в этом мире, на этой земле.

Чего-чего только не узнала я о повседневной людской юдоли, об их делах и страданиях.

Ну вот хотя бы, к примеру: как весело смотреть на пожар.

Я сплю (а почему я сплю в кухне, на узкой продавленной кровати, вплотную приставленной к стене? Уж не помню…) Я сплю и вижу сон, и вдруг голос сквозь сон:

— Вставайте, пожар!

Надежда Владимировна стоит надо мной, уже умытая, свежая, хотя накануне водопровод перестал действовать, и говорит:

— Горит рядом, за дровяным складом, надо вставать…

И тотчас же громкий стук в окно и в дверь, и уже много голосов:

— Вы с ума сошли спать, сгорите живьем!

Я вскакиваю и выбегаю на крыльцо. Оно обращено к забору, за которым находится дровяной склад. И вижу — там, за забором, плещет огонь. В свете сентябрьского утра, еще почти летнего, этот огонь не ярок, не зловещ. Но какие-то веточки от горящих деревьев перелетают через забор в наш двор, а рядом, на дровяном складе, что там? Конечно, дрова, и если они запылают,

это будет целое озеро пламени, и уцелеют ли тогда наши деревянные сараи, и деревья у нашего крыльца, и самое крыльцо, и мы сами?

Горит дом за складом, кто говорит — партизаны подожгли, кто говорит сами немцы, набилось их в этот дом видимо-невидимо, и ну топить все печи, благо дрова под рукой. И дотопились до того, что дом вспыхнул, как солома.

— Дураки, — говорит кто-то из женщин, набежавших с улицы. — Они там у себя не привычны дровами топить, вот и зажглись.

А мне, не знаю почему, вдруг становится весело. Я не могу отвести глаз от огненных языков, взлетающих за забором. Я хочу, чтоб этот дом сгорел. Чтоб сгорели запасы дров на складе. Я люблю ладные дома и красивые вещи. Даже простое березовое полено с темными черточками на шелковистой кожице кажется мне очень красивым, я с любовью беру его в руки. Но не менее люблю смотреть на пожар. Он сожрет все — и пусть! Пропади оно пропадом, коли тут немцы!

Еще прежде, чем я открыла в себе этого страшного человека, разрушителя, я узнала всякие другие вещи. Когда мы были так молоды и счастливы, мы и не воображали, что эти вещи могут нам открыться. Ну, думала ли я когда-нибудь о том, как неприятель входит в город?

Перед тем, как войти, он поливает город огнем, забрасывает бомбами и обстреливает из пушек. Отвратительное мяуканье мин, шипенье летящих снарядов и грохот взрывов наполняют уши, мозг, все тело. Соседки приходят одна за другой, они говорят:

— Уходите в убежище, разве можно сидеть дома, хотите, мы вам займем местечко?

Убежище близко — под Екатерининским дворцом и под Лицеем, в котором учился Пушкин. Есть также щели, выкопанные в земле. Они и в лицейском скверике, и на улицах… Но мы еще не перевоспитаны войной, еще полны гордыни и брезгливости. Нам, видите ли, не по вкусу, что женщины тащат с собой в авоськах керосинки и ночные горшки. Мы живо представляем себе, что за жизнь будет в этих убежищах. Мы сидим дома, под бомбами и снарядами. Я раскладываю пасьянс, Надежда Владимировна читает без передышки русские, французские, немецкие, польские книги. Мы с дочкой сидим на диване рядом, прижались друг к другу: если попадет в нас, пусть убьет обеих вместе. Вот как мы еще ничего не понимаем в происходящем, даже не соображаем, что вовсе не обязательно убьет обеих вместе… Но в непонимании — каше счастье в тот момент.

Днем приходят муж и, жена Поляковы. Они тоже усаживаются

рядом, чтобы быть убитыми вместе. У жены — приступ ее тяжких бруцеллезных болей, а морфий кончился, и достать негде, и она говорит:

— Пусть убьют лучше…

А вечером появляется другой сосед, учитель. Он бегает по комнате вне себя от страха, стиснув руки, как перепуганная истеричная женщина. Он не понимает, как мы можем сидеть дома, когда есть бомбоубежище. Он, впрочем, не хочет идти в убежище: боится быть убитым по дороге, — грохот не умолкает. Он хочет, чтоб мы пошли с ним. Но мы отказываемся… Нам все кажется, что куда легче быть застигнутым смертью в своей комнате, чем существовать среди керосинок и ночных горшков где-то под землей. Убежище представляется нам адом, а наши бедные комнаты с книгами и милыми людьми прекрасным раем.

Мы пьем чай большой компанией, каждый приносит свои запасы съестного, они ничтожны, но все-таки у нас есть хороший чай для заварки, сахар, хлеб. Поляковы принесли печенье… Пьем чай и ложимся спать: я с дочкой на нашем диване, Надежда Владимировна в своей комнате, в одиночестве. Мы все предлагаем составить ей компанию, но она отказывается. Ни на секунду не прекращается гром канонады, и вдруг один удар, сдается, падает совсем уже на наши головы, и Наташа говорит, открыв глаза:

— По-моему, это попало в наш дом.

Она права — утром мы в этом удостоверяемся. В общежитии Консерватории, в зале рядом с нашей квартирой, снаряд пробил потолок и ушел под пол, расщепив паркет на мелкие красноватые щепочки. (Они потом долго служили нам растопкой, когда мы топили плиту.) Все в зале было запорошено серой пылью от разбитой штукатурки. По черному лакированному роялю змеилась трещина, похожая на молнию. Толстые железные брусья кровати свились в спирали. Но большое зеркало на стене даже не треснуло, только покрылось пылью. Почему-то это внушило мне надежду и даже успокоение.

Но ненадолго. Потому что канонада не только не утихала, но становилась все более адской. Я вышла на улицу — тротуары были сплошь осыпаны битым стеклом и кирпичом, в домах рядом с нашим и напротив не оставалось ни одного целого окна, сорванные электрические провода валялись на земле. Я прошлась от угла до угла по мостовой, на тротуар ступить не решалась. Мужчина и женщина, держась за руки, перебежали мне дорогу, женщина плакала навзрыд, мужчина ее урезонивал:

— Ну чего ты, чего! Вон видишь, — показал на меня, — женщина идет себе спокойно.

Они вошли в лицейский сквер, а я в свой двор. У меня была забота: припрятать на всякий случай свои сокровища — несколько луковиц и плитку шоколада, я возлагала на них какие-то надежды, было бы жалко, если бы немцы их отобрали. Теперь я не сомневалась, что немцы придут, мы знали, что город с рассвета оставлен нашими войсками и властями, а этот грохот смерти предварял, чуяло сердце, грозную перемену судьбы.

В нашей маленькой кухне мы похлебали какого-то серого супчика с крупой, сваренного Надеждой Владимировной. После обеда Наташа стала мыть посуду, а я стояла у окна и глядела во двор. Какой-то толстый человек вошел в калитку и прямиком направился в общежитие Консерватории, уже несколько дней пустовавшее (жильцы разбежались).

— Я, гражданка, буду жить здесь, — сказал он, хотя я ни о чем его не спрашивала. — Покамест один, а потом приведу семью. Наш дом на Пушкинской разбомбили, а тут комнаты порожние стоят.

— А у вас есть разрешение? — спросила я и в ту же секунду поняла глупость своего вопроса. Какие уж тут разрешения!.. Гражданин, впрочем, не обратил на мои слова никакого внимания.

— Так я пошел устраиваться, — сказал он, и сейчас же прямо в лицо мне загрохотало, брызнуло колючим… Я отпрянула от окна, Наташа ухватилась за меня, женщины вскрикнули.

— Вы ранены? — спросила меня Надежда Владимировна.

— Нет, нет! — заверила я, сама не веря своим словам. Пол кухни был забрызган битым стеклом, а за окном на земле лежал толстый гражданин, и от его бока, извиваясь, как змейка, текла темная кровь.

— Дай мне йоду и бинтов! — сказала я Наташе и побежала во двор. У нас были бинты и дезинфицирующие средства, закупленные еще в те дни, когда аптека работала нормально. Наташа сообразила, что помимо йода и бинтов мне нужна еще чья-то помощь, чтобы перетащить раненого. Вдвоем мы взволокли его на крыльцо консерваторского общежития и устроили на полу в первой комнате. На его счастье, он был, видимо, человек бывалый и сам командовал, что надо делать. По его указаниям мы сняли с него рубашку и отыскали на жирном белом животе рану, из которой бежала кровь. Я вспомнила что-то из своих книжных знаний и густо смазала йодом кожу вокруг раны.

— Осколок! Осколок вынуть надо! — твердил раненый.

Книжные сведения говорили, что ничего, кроме боли и инфекции, я не могу ему причинить, таща осколок из раны немытыми руками. Боялась я ужасно, ужасно. Но преодолела

боязнь и пальцами вытащила из кровавой раны острый кусок железа, не гладкий, а какой-то губчатый, пористый.

— А заражения не будет? — нелепо спросила я при этом.

— А черт с ним, хоть бы и было, — пробормотал раненый. — Спасибо, сестра, что помогли.

Зато большое было удовольствие бинтовать его чистейшим новеньким бинтом. Бинтовала я долго, старательно, на совесть. Жалко было только, что эти белоснежные марлевые полосы так быстро пропитывались кровью и теряли свою белоснежность. Потом мы напоили раненого водой. Хотели принести ему чаю, но он просил: нет, пожалуйста, холодной воды. Потом мы с Наташей ушли в свою кухоньку. А вскоре туда вошла Надежда Владимировна со странно растерянным видом и сказала:

— Вера Федоровна, взгляните с крыльца на улицу — по-моему, немцы!..

Я вышла на крыльцо, обращенное к дровяному складу. За решеткой на Коммунистической улице стояли солдаты. Три или четыре солдата, ну конечно, не наши, в каком-то зеленом пятнистом обмундировании и не с нашим оружием в руках.

Мы так привыкли за последние дни видеть прибежище от всех напастей у себя дома, что и теперь, не сговариваясь, бросились в наши комнатушки и заперлись там. Как будто задернутые тюлевые занавески и поворот ключа в двери мог нас спасти, защитить, укрыть от того неведомого, страшного, стихийного, что обрушилось на нас. Обрушилось, казалось нам, внезапно, хотя все последние дни мы не могли не знать, что оно обрушится.

А дальше, родной мой, стала я учиться все новым и новым вещам…

Как по кусочкам проживать день. Проснуться утром, вспомнить: «В городе немцы, чужие, враги, всесильные над тобой, и деваться тебе некуда, и негде искать защиты», — вспомнить это и жить с этим весь день невозможно. Но можно, но в твоих силах расчленить день на маленькие, твердо ограниченные кусочки и проживать кусочек за кусочком, стараясь не думать ни о чем, кроме этого проживаемого кусочка.

Утром надо — что? Растопить плиту, поставить чайники. Одного чайника не хватает, нужно два: один — чтобы всем почистить зубы и вымыть лицо, другой — чтобы приготовить чай.

Прежде чем затопить плиту, надо сбегать в консерваторское общежитие, в разбитый снарядом зал, и набрать паркетных щепочек на растопку, иначе дрова очень долго не разгораются. Сбегали, принесли, зашумел на огне первый чайник — товарищи, прошу, можно чистить зубы, — глядишь, и прожит кусочек дня.

Тарахтенье колес по улице — это немецкая походная кухня, аккуратная, как хронометр, везет на позицию завтрак, — а мы в своей кухоньке чистим над раковиной зубы, совсем как в прежние времена, и сливаем друг другу на руки теплую воду из большого медного чайника, потом пьем чай, скрупулезно деля на всех поровну остатки пиленого сахара и ломтик засохшего хлеба, вот, глядишь, прожит второй кусочек похожего на бред дня. «А на обед я вам сегодня сделаю настоящее рагу из конины, будете есть?» — «Еще бы, конечно, будем!» — «То-то!»

Сахара у нас остались пылинки в старой коробке из-под конфет, хлеба нет вовсе, купить чего-нибудь съестного негде, магазинов не стало, булочные и «гастрономы» смотрят на улицу заколоченными дощатыми окнами, в Гостином дворе у двери мебельного магазина лежит зеркалом кверху брошенный шкаф (кто-то его тащил, дотащил до выхода и там бросил), да нам сейчас зеркальные шкафы и ни к чему, нам нужна пища, мы уже соскучились по ней, за несколько дней соскучились по хлебу, каше, по самому простому и насущному…

Но есть надо, значит, надо самим добывать где-то пищу. Соседки хвалят отменные качества желудя. Если его хорошо прожарить и смолоть, получается очень вкусный и питательный кофе. Но до желудей мы еще не дошли, у Надежды Владимировны есть настоящий кофе в зернах, продукт, можно сказать, буржуйский, мы пьем настоящий, душистый, бодрящий напиток вместо желудевой бурды. Но другая подсказка соседок — насчет совхозных огородов — нам очень кстати. На краю города, за железной дорогой, лежат эти огороды, картошка там, правда, уже выкопана, но если еще раз пройтись по этим убранным грядам, то найдешь немало мелких, как орехи, картофелин, превосходная пища! И мы все идем туда, и перекапываем рыхлую землю, и собираем эти драгоценные уцелевшие картофелины. Они желтого цвета или зеленоватого в темных пятнышках гнильцы, но они нам дороже жемчужин… И морковь мы рвем с увлечением, она красивая, сочная, сладкая, старики мои ее едят просто так, без ничего…

А по утрам мы с Николаем Николаевичем ходим за мясом. Встаем раненько и идем в парк.

В золотую осень сады эти особенно прекрасны, золотые арки над головой, золото ворохами под ногами. В золоте лежит на какой-нибудь лужайке убитая бомбой или снарядом лошадь. Николай Николаевич острым ножом надрезает шкуру и отворачивает в обе стороны от разреза, будто распахивает створки двери. А моя обязанность — нарезать куски красного, сыропахнущего конского мяса и дома приготовить из него

кушанье. Я промываю куски конины в растворе марганца, складываю в гусятницу и ставлю в духовку. Добавляю туда лука (мои луковицы берегу теперь на полке за книгами), картофеля и много моркови. Соль мы добыли из какой-то ямы, указанной опять же соседками. Томясь в духовке, конина пускает темно-коричневый сок. Получается даже довольно вкусно. Будь к этому хлеб, совсем было бы хорошо. Но хлеба нет.

Вот так мы живем, по кусочкам проживая день за днем. И нам уже кажется, что это, в сущности, туда-сюда, можно жить и так.

Иной раз происходят странные вещи. Вдруг в квартиру влезает в окно немецкий солдат и уносит не что-нибудь, а книгу, и не какую-нибудь, а «Мать» Горького. Или вдруг супруги Поляковы приносят свернутый в трубку огромный ковер (и как только они его притащили на своих щуплых плечах?), и выражают желание продать его, и даже назначают цену.

Словно наряду с громадным черным демоном войны беснуются вокруг нас еще какие-то плюгавые, но тоже страшные, особенно бесчисленностью своей страшные, маленькие дьяволята, спущенные с цепи главным демоном. Или так должно быть во всяком затяжном бреду — чтобы в главный бред вступали, примешиваясь к нему, мелкие второстепенные бреды, усугубляя его ужас и в то же время как бы отвлекая от него, чтобы хоть на минутку мозг бредящего отдохнул и успокоился чуточку.

Из второстепенных бредов выстроился целый сюжет — ковер был продан именно тому солдату, который стащил у нас с полки томик Горького. Солдат рассказал, что в Германии ждет его невеста, очень хорошая фрейлейн, дочь булочника (показал карточку миловидной блондинки), он, солдат, женится на ней после войны, ковер будет украшать их уютную квартиру, он теперь же пошлет невесте этот подарок. Как он посылал, как добирался ковер из Пушкина в Германию, не знаю. Мне это так же безразлично, как то, откуда взялся этот паршивый ковер. Из мрака войны он возник и во мрак войны ушел, как многое, многое другое…

36. Война

Очень запомнился мне день 1 октября 1941 года. Утром мы с Надеждой Владимировной пошли в лицейский сад. Еще совсем недавно там сидел на скамье Пушкин. Теперь Пушкин был зарыт в землю и на опустевшей площадке печально лежали мокрые желтые листья.

А дома уже ждала нас новость: приходил полицейский с белой повязкой на рукаве и известил, что по распоряжению немецкого коменданта все жители должны к 23 октября, то есть за три недели, уйти из Пушкина. Куда? А куда хотите.

Легко сказать! Пушкин — это как-никак крыша над головой, это вода из парковых источников, это почти свежая конина из того же парка, это книги, накопленные матерью и дочерью Сперанскими. В первый момент мне почудилось, что стоит нам отойти на шаг от всего этого, как мы начнем слабеть от голода и жажды. И куда идти? Куда держать путь? Но тут вдруг Наташа дала единственно верный ответ на этот вопрос:

— Как куда, мама? Мы пойдем к мальчикам, к бабушке в Шишаки. И Надежда Владимировна с нами.

Надежда Владимировна сразу согласилась и обрадовалась, и мне стало легче, и я устыдилась, что не я нашла этот ответ. Конечно, в Шишаки, конечно, соединиться с детьми и мамой.

И мы стали собираться. Это было не так-то просто: что брать с собой, что бросить? Мне-то бросать было не жалко, я, как перелетная птица, ничего не имела, кроме самого необходимого, но у Надежды Владимировны были и любимые книги, и памятные вещи, и она плакала, собираясь.

Мы сшили три рюкзака и стали их наполнять. Тут я пожалела, что успела отвезти к Гале все наши теплые вещи. У нас с Наташей не было ни валенок, ни теплых пальто, наши пальтишки были чистая эфемерность… К счастью для Надежды Владимировны, ее дочь, эвакуируясь, не взяла с собой зимних вещей, и теперь Надежда Владимировна, надев пальто с меховым воротником и меховую шапку, оказалась не только отлично экипированной, но чрезвычайно прилично одетой по сравнению с нами.

Мы уложили в наши рюкзаки все, что могли. Это было очень немного, но проклятые мешки все же оказались очень тяжелыми для наших непривычных плеч.

Тем не менее мы радовались. Радовались перемене, радовались обретенной цели — добраться до Шишак, увидеть близких. Как мы доберемся мы не знали, на всякий случай взяли

с собой все свои деньги, хотя и понимали, что они нам не помогут.

Деньги-то у нас были, а вот хлеба на дорогу не было ни крошки.

22 октября Надежда Владимировна сходила в комендатуру и своими глазами прочла вывешенный там приказ о выселении из Пушкина всех жителей. Говорили, что только немногим разрешено остаться — по именному списку. Что в список этот вошли полицейские и все лица, изъявившие желание сотрудничать с немецкими властями.

Мы решили уходить на следующий день утром. Нужно было решить еще одну задачу — еда на дорогу и папиросы, у меня не оставалось ни одной. Но тут началась серия маленьких чудес, которые я хочу описать подробно.

Вечером 22 октября пошла я в сарай набрать дров и, разметав поленницу, вдруг увидела за нею большую, с полведра, синюю эмалированную кастрюлю, полную квашеной капусты. Откуда она взялась, не имею никакого понятия. Я оттащила ее домой, из остатков картофельной муки испекла на плите подобие оладий, и мы недурно поужинали, несколько оладий даже осталось.

Эти оладьи мы утром уложили в сумку от противогаза, налили в бидончик крепкого кофе — это были наши припасы на дорогу. Я выкурила свою последнюю папиросу и, чувствуя растерянность и звон в голове, вышла на улицу. Мне хотелось взглянуть, уходит ли еще кто-нибудь или мы остались последние. Но я еще ничего не увидела, как вдруг меня окликнул женский голос с мостовой (я шла по тротуару):

— Гражданочка! Вам папирос не надо?

— Надо, надо! — чуть не вскрикнула я. Пожилая женщина в платочке улыбнулась моему изумлению.

Я подошла к ней. Она достала из-за отворота пальто пачку «Беломора» и сказала:

— Только вы мне дайте каких-нибудь продуктов. Что у вас есть?

— Ничего, — сказала я, — только немножко квашеной капусты.

— Ну давайте хоть капусту, — вздохнула женщина, — а то у меня совсем ничего нет.

Я повела ее к себе и отдала ей капусту вместе с кастрюлей, а Надежда Владимировна добавила к этому еще мясорубку.

Видимо, женщина в платочке тоже знала секрет добывания конины из парка, потому что она не только с удовольствием взяла мясорубку, но еще дала нам за нее десяток отличных крупных картофелин. Я их сварила и уложила в противогаз с пакетиком

соли.

В первый же день пути мы их съели не чистя, вместе с кожурой. Могу засвидетельствовать — это вкусно.

Вот так, благодаря этим маленьким чудесам мы вышли из дому с некоторым запасом съестного и с пачкой «Беломора».

Было прекрасное осеннее утро с нежным инеем, легким воздухом. Увы, едва мы сделали несколько шагов по улице, как мне стало ясно, что недалеко мы уйдем с этими рюкзаками: сразу заболели шейные позвонки и трудно стало дышать.

— Вера Федоровна, — сказала Надежда Владимировна, — придется что-нибудь выбросить.

И мы вынули из наших мешков часть поклажи. Под какой-то липой в Екатерининском парке мы положили несколько платьев, пару простыней и новую скатерть, которую я покупала в подарок маме.

Мешки стали чуть полегче, но продолжали очень давить на позвонки. Такая боль бывает, когда очень долго просидишь за пишущей машинкой.

Опять, как сутки назад, прошли через лицейский садик. Как изменился мир за эти сутки! Вчера мы были несчастливы, но все же у нас была крыша над головой. Теперь же мы стали бесприютными странницами без кола, без двора.

Впереди и сзади нас шли люди с мешками за спиной. Мы сразу разглядели, что большинство идет отнюдь не налегке. Женщины несли кухонную утварь, утюги, катили детские коляски и тачки, одна тащила на спине огромное цинковое корыто. Мы невольно ощутили свою неприспособленность, свое бессилие — и ужаснулись.

Я заговорила с идущими. Кто-то из них сказал, что надо идти в Гатчину, там находится эвакопункт.

Шея болела все сильней, а выкидывать из мешков было уже нечего. Мы приостановились, съели по картофелине и попили кофе из бидончика. Первые несколько минут было ощущение, что тяжесть стала меньше.

Нас догнала телега, уставленная ящиками, в ящиках были горшки с белыми хризантемами — должно быть, из пушкинского цветоводства. Я попросила возницу подвезти, посулила денег. Но ему было не до нас, и на что ему были деньги!

А нам становилось все тяжелей. Мы прошли уже несколько деревень, но дорога, казалось, была бесконечной. Бесконечной казалась дорога до Гатчины — а до Шишак!..

Так или иначе, мы добрались до гатчинского эвакопункта.

Это был деревянный павильон дачного типа, битком набитый людьми. Они лежали на плиточном полу, залепленном жидкой

грязью. И мы расстелили на полу наши тощие байковые одеяла и легли среди грязи и затоптанной в грязь соломы.

После войны я ездила в Гатчину, думала найти место, где стоял этот барак, но не нашла ничего, что напомнило бы о нем.

Ночью гудели самолеты, дважды где-то громыхнули разрывы, и странно было желать, чтобы бомбежка смела с лица земли Гатчину и приютивший нас павильон. Желание, впрочем, естественное, потому что самолеты, летавшие над оккупированной землей, были наши и потому что назавтра нам предстоял столь же трудный и унизительный день.

В темноте барака кто-то бредил, и впервые мы на этом ночлеге заразились вшами.

Уже совсем поздно пришел какой-то человек с большой корзиной и роздал всем по пайке хлеба. Хлеб был не нашей выпечки и не нашего вкуса.

День 24 октября не удержался в моей памяти. Беженцы весь день говорили о предстоящей отправке на станцию Веймарн и о наших военных неудачах, гадали, возьмут ли немцы Ленинград, и боялись предстоящей ночи и бомбежки. Я обошла барак и двор вокруг него и поужасалась царившей там грязи.

Так долго, темно и грязно жили мы до вечера, а вечером нас погнали на станцию, чтобы везти в Веймарн по железной дороге.

Если существует ад, то это, возможно, тот товарный вагон, в котором нас везли в Веймарн. Все мы, так называемые беженцы, со всеми мешками, корытами и грудными детьми были затиснуты в эту отсыревшую коробку, где кислорода не хватило для всех даже на первый вдох. Мы сидели на своих мешках у самой двери и были счастливы, когда в щелку этой двери врывался слабый ветерок с ночных полей. Всю ночь плакали ребятишки на материнских руках, и всю ночь беспощадно, невозможными словами ругались измученные, отчаявшиеся женщины, потерявшие в аду свою женскую стыдливость. И ко всему этому присоединилось напряженное ожидание чего-то, против чего мы были бессильны в этой темноте и бесправии. Так что при всем своем отчаянии мы обрадовались, когда в дверной щели посветлело и замелькали палки станционных изгородей. Кто-то отодвинул дверь, кто-то скомандовал выходить. Кто-то сказал, что велено идти на Ивановскую фабрику и там ждать новой команды. Выйдя, я оглянулась и увидела, как за мною выливается из вагона пестрый поток людей, нагруженных пожитками.

Уже в тот день начался снегопад, перешедший вскоре в непрерывную метель. Воздух наполнился крутящимися снежинками, на тонком слое мокрого снега скользила нога, мы брели с трудом. Не отошли и двухсот шагов от железной дороги,

как Надежда Владимировна изнемогла и схватилась за сердце. Я достала свою драгоценность — плитку шоколада, сбереженную от последнего пайка, полученного по карточкам, отломила три дольки, мы съели и запили кофе, и, к радости моей, Надежда Владимировна смогла идти дальше.

Подходили люди, говорили разное страшное. Бледный, унылый молодой человек резонно сказал, что от фашистов в любую минуту можно ожидать чего угодно, что нам нельзя рассчитывать ни на что хорошее (словно мы рассчитывали!). Женщина сказала, что на фабрике, куда нас гонят, каждый день случаются самоубийства, беженцы бросаются в реку или вешаются, предпочитая гибель плену. Я подумала, что это в самом деле лучший исход, и в то же время почувствовала, что у меня на такой исход не хватит сил, ведь рядом со мной шла дочь, у которой на всем свете не было в тот момент никого, кроме меня.

Дорога прошла через какой-то лесок, где на дереве висело что-то длинное, темное, скрученное, как сигара, — это был повешенный. Дорога пошла мимо танка, лежавшего в грязи на боку с повернутыми вбок гусеницами. Рядом лежал обгорелый человеческий череп. Дорога прошла через деревушку с распахнутыми настежь воротами, в одном дворе возились возле телеги немецкие солдаты, в другом скакала, натягивая цепь, черная собака. И при всем при том на окошках и тут были занавески и цветы. До чего живуч человек: его душат, жгут, терзают его сердце, а он живет и живет в окружении привычных вещей. Агрессоры полагают, будто они уничтожат все полностью, — ан нет!.. Вдруг в какой-то деревушке кто-то топит печь, пьет чай, ожидает, чтобы на герани распустились бутоны.

Ивановская фабрика вспоминается как скопище убогих бараков и изб, вообще казалось, что все здания на свете превратились в почернелые избы… Мы вошли в первую попавшуюся избу. Там перед затопленной плитой сидел пожилой человек и курил самокрутку. Так как в вагоне я выкурила всю пачку «Беломора», я попросила у него табачку. В ответ он раскрыл передо мной жестяную коробку от зубного порошка, в ней было какое-то странное зеленое крошево.

— Табачку у меня нет, — сказал человек, — курю сушеный вишневый лист, попробуйте.

Я попробовала. Оно в самом деле курилось, только было странного аптекарского вкуса, и у меня скоро закружилась голова.

На плите вскипел чайник, и человек угостил нас мятным чаем из жестяной кружки, а мы угостили его оладьями.

Разговорились. Человека звали Михаил Федорович, он был из Красного Села и изгнан оттуда так же, как мы. Уже неделю он жил на Ивановской фабрике и сообщил нам драгоценное известие: будто здесь, на фабрике, из потока беженцев немцы отсеивают людей, пробирающихся в Прибалтику, на Украину и в другие республики Советского Союза, и помогают им достигнуть цели их странствия.

— Понимаете, — сказал Михаил Федорович, — немцы заигрывают с этими народностями, поэтому и пошли на такую меру.

Хотя мы и не приняли на веру этих сообщений и соображений, тем не менее Надежда Владимировна немедленно отправилась навести справки и по возможности устроить нас получше. Очень скоро она вернулась и сообщила, что все подтвердилось, здесь, на фабрике, уже отобрана группа людей, направляющихся на Украину, в Финляндию и республики Прибалтики, и что нам троим указано присоединиться к этой группе и жить с нею вместе в особом помещении впредь до новых указаний.

И она отвела нас с Наташей в барак, где было попросторней и почище гатчинского барака и были нары с сеном для спанья, и были эстонцы, финны и русские, подобно нам пробирающиеся в какие-то места. Среди этих людей мы увидели много знакомых лиц — они ехали сюда в одном вагоне с нами.

В том числе были мать и дочь из Ленинграда, солдат латыш и старуха эстонка в ярких вязаных чулках и варежках, усевшаяся у входа в напряженной деревянной позе идола.

Эта картинная старуха по собственной инициативе взяла на себя роль нашего старосты и опекуна: составила список всех членов группы — кто, откуда, куда, зачем. Надежда Владимировна назвалась моей теткой, сестрой моей матери, к которой я направляюсь в Полтавскую область.

Старая эстонка позаботилась и о нашем пропитании. Уж не знаю откуда, но ее заботами появилась пшенная каша и мятный чай, и мы поели и попили горячего, прежде чем улечься на нары. После Гатчины нам тут показалось и удобней, и чище, хотя на деле это вряд ли было так.

Но утром Надежда Владимировна принесла неутешительные известия. Только финнам и прибалтийцам немцы были готовы помочь в их дальнейшем продвижении, для чего, в частности в Нарву, должен был отправиться специальный автобус, все же прочие, в том числе и мы, должны были идти пешком в Гдов или Псков и никуда больше.

— А что мы будем делать в Гдове или Пскове? — нелепо

спросила я у Надежды Владимировны.

— Ну, — ответила она бесстрашно, — то же, что делали в Гатчине и тут: ждать у моря погоды и искать случая продвинуться дальше.

Легко сказать… Мне вспомнились рассказы о беженцах, кончавших с собой, вспомнилась скользкая дорога, и наша рваная обувь, и давешний сердечный припадок Надежды Владимировны, и то, что ночью Наташа жаловалась на боль в горле.

— Не падайте духом, Вера Федоровна, — сказала Надежда Владимировна. Я попробую уговорить коменданта: боюсь, что мы в самом деле не дойдем.

Среди нас одна Надежда Владимировна знала немецкий, а это было в нашем положении громадным преимуществом: звуки немецкой речи все-таки действовали на немцев.

Надежда Владимировна пожелала, чтобы я вместе с нею пошла к коменданту. Я пошла и увидела в невзрачной комнате невзрачного офицера с нашивками. При офицере был горбатенький переводчик в костюме и кепке ширпотребного производства.

Властным взглядом отстранив переводчика, Надежда Владимировна прибегла к своему превосходному немецкому языку. Увы, комендант не поддался. Он категорически отказался допустить нас в автобус, идущий к Нарве, настаивал на Пскове или Гдове. «Цу фусс!» (пешком), — упорно твердил он. Для начала мы должны были завтра же вернуться на станцию Веймарн и уж оттуда двигаться дальше.

Приказ прост: мешки на спину и цу фусс, цу фусс, ножками — транспорта не будет, не воображайте — со станции Веймарн в Гдов или Псков, по вашему выбору.

Но есть слух, что в Нарву беженцев повезет автобус, и Надежда Владимировна уговаривает веймарнского коменданта, чтобы отправили нас в Нарву в этом автобусе. Надежда Владимировна уж и до Веймарна-то добрела с трудом, еле пришла в себя с помощью черного кофе, который мы несли в бидончике из Пушкина, и кусочка шоколада — мне выдали шоколад вместо сахара в тот последний раз, когда я получала паек в Пушкине. А теперь у нас нет ни кофе, ни шоколада…

Но комендант стоит на своем: он сам знает, кого куда отправлять, нам надо идти в Псков или Гдов, и именно цу фусс, потому что транспорта туда не будет.

— Они не дойдут! — заступается за нас горбатенький комендантский переводчик, но и к его голосу комендант глух.

Утром на дворе разыгрывается метель, в мокром снегу скользит нога. Я беру бидоны и иду к колонке набрать воды.

Вдруг передо мной горбатенький переводчик:

— Что вы делаете?

— Набираю воду.

— Да вы черт знает чем занимаетесь, а через пять минут уходит автобус на Нарву.

— Так ведь нам же не разрешили.

— Не будьте дурой! — орет на меня переводчик. — Берите ваших, садитесь и поезжайте!

Спасение? Бросив бидон, я опрометью бегу в барак. Наспех оповещаю дочку, Надежду Владимировну, еще какие-то женщины ухватываются за меня.

Автобус — это просто-напросто грузовик с брезентовой будкой; но никогда никакой международный вагон не покажется мне таким прекрасным и удобным, как эта будка. Поддерживая друг дружку, мы влезаем в нее и с трепетом ждем, когда грузовик тронется. Нам кажется, что уехать не удастся, что комендант нас застукает и погонит в Гдов цу фусс по мокрому снегу… И мы побредем в наших худых туфлях, сгибаясь под тяжестью проклятых мешков…

Я раздвигаю полотнища брезента и смотрю на покидаемый нами Веймарн: жалкие станционные домишки, сосны, частоколы вокруг огородов удивительно, до чего неузнаваемым, нереальным и нереально мрачным война делает самый обыкновенный, самый привычный пейзаж. Казалось бы, что может быть неимоверного, инфернального в дачной изгороди из желтых палок? А вот поди ж ты, истинно адское зрелище, оказывается… Невиданное, зловещее…

Смотрю между полотнищами брезента, и вдруг глаза мои упираются в глаза коменданта. Он стоит совсем рядом и глядит в упор, он узнал меня, сейчас узнает и Наташу, и Надежду Владимировну…

«Сейчас высадит», — думаю я судорожно, но комендант делает знак рукой, и грузовик трогается.

37. Этого письма я ждала и дождалась

И вот мы в Нарве, и мальчик Олег ведет нас по улицам. Он сам подошел, Олег, услышав русскую речь, сам вызвался проводить. «К русским, к русским!» — говорит он. Женщину, к которой мы приходим, зовут Полина Николаевна, дочь у нее замужем за советским офицером и живет в Ленинграде, и потому она смотрит на нас как на дочерних посланцев.

Полина Николаевна начала с того, что расстелила на столе под лампой белоснежную скатерть и стала кормить нас обедом.

Есть вещи, о которых трудно рассказывать, боишься, что тебя поймут неправильно. За недолгий путь из Пушкина в Веймарн, за несколько дней барачной жизни среди беженцев я не только забыла о таких вещах, как скатерть, вилка, мирный свет висячей лампы, — я перестала верить, что они есть на свете. Полина Николаевна своим радушием возвращала нам веру в то, что все есть и все еще будет.

Благословен тот, кто для путника, пришедшего из мрака, зажжет свет, и постелет скатерть, и подаст кушанье. Благословенны возвращающие людям веру.

В этой крошечной гостеприимной квартирке мы и ночевали первую ночь. Но на другой вечер пришел полицейский и увел нас. «Беженцы должны жить в специальных местах, — сказал он, — а то получается непорядок». Нам очень не хотелось покидать наш приют, почем же я знала, что это за мной приходила моя литературная судьба? Да, это была судьба, она повела меня по вечерним улицам и привела в странный зал, холодный и унылый, где окна были закрыты шестиугольными желтыми щитами, а с потолка свешивалась электрическая лампочка на кривом шнуре, и в ее свете двигались какие-то люди в серых лохмотьях.

— Они не похожи на беженцев, — сказала я.

— Вера Федоровна, — сказала Надежда Владимировна, знавшая все на свете, — вы знаете, где мы? Ведь это синагога!

Да, нас привели в синагогу. По узкой лестнице мы поднялись на хоры, там были нары, устланные соломой, здесь нам предстояло жить сколько-то времени. Потом пришла раввинша, маленькая, страшная, похожая на сверток каких-то траурных лоскутков, — вдова раввина, убитого немцами в числе других нарвских евреев. У нее убили всех, вплоть до внуков и правнуков, она одна жила в опустевшей, оледеневшей квартире и просила у всех, в том числе и у нас, чтобы ей привезли дров. Одну из ночей

мы ночевали в этой квартире, набитой свалявшейся овечьей шерстью, и всю ночь мне снились те, кого увели отсюда, чтобы убить.

А те оборванные люди в синагоге были пленные — военнопленные с Эзеля и других островов. Бургомистр Нарвы выпросил их у немецкого командования для городских работ и поселил в синагоге вместе с беженцами. Мы отдали им остатки продовольствия, взятого из Пушкина, подарили им иголки и нитки, а они, когда пришло нам время уходить из Нарвы, смастерили нам саночки, чтобы мы могли везти наши рюкзаки, а не тащить на спине. Вот как выглядело то, что я потом описала в пьесе «Метелица», пьесе, которая много лет пролежала у меня в столе, прежде чем появилась в печати и на сцене.

Даже умный, добрый ко мне А. К. Тарасенков сказал про нее: «Что это вам вздумалось написать такую мрачную вещь?» Н. Коварский выразился резче: «Кому это нужно?» Один за другим театры от нее отказывались.

Тихие жительницы городка Пушкина, приведенные судьбой в это странное место, мы слушали жестокие рассказы этих людей о муках плена, о прежних их профессиях, об оставшихся дома близких, но не это меня поразило. Поразило, когда (это было в первый же вечер) в угрюмом зале с грязно-желтыми щитами на окнах вдруг грянула песня.

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицею девица идет,

чисто вывел молодой красивый тенор, и хор загремел могуче:

Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Обреченные люди пламенно взывали к жизни, останавливали ее, желая перед гибелью на нее наглядеться:

На твою ли на приятну красоту,
На твое ли то ль на белое лицо…

Вот откуда взялась моя пьеса «Метелица», сберегавшаяся до того дня, когда Центральный театр Советской Армии осуществил ее постановку. Спектакль был хорош, но для меня окончательной победой пьесы была ее премьера в Ленинграде, в Большом

драматическом театре имени Горького, где ее поставил Мар Владимирович Сулимов.

Я сидела в зале, и, когда сцена замутилась метелью, когда пошли перед глазами фигуры пленных и в зале синагоги зажглись бра, мне пришла в голову мысль: «Разве не может быть, что кто-нибудь из них, из тех, находится сейчас среди зрителей? Почему же этого не может быть, это вполне может быть, и конечно же он узнает, непременно узнает. Если еще не узнал, то узнает сию минуту, как только грянет песня. Уж песню-то он не может не узнать, уж таких-то совпадений не бывает, эта песня пелась тогда-то и там-то, и пели ее такие-то».

И песня грянула:

Вдоль по улице метелица метет…

Но сколько я ни смотрела (а я смотрела во все глаза), никто не поднялся в зале (а должен был подняться, если б узнал), никто не подошел к рампе (а, конечно, подошел бы, если б узнал)…

Уходя после спектакля, я все оглядывалась, не идет ли кто за мной… Но не шел никто.

И тогда я стала ждать письма.

«Метелица» шла на сцене Ленинградского БДТ несколько сезонов, и все я ждала письма.

Фантазировала: он живет не в Ленинграде, в БДТ не ходит. Но вот получил командировку в Ленинград. Ему говорят: «Сходи в БДТ, это у нас хороший театр». Он спрашивает: «А на что сходить?» — «Да на что достанешь билет». И вот ему выпадает билет на «Метелицу». Он садится на свое место, идет занавес… В зале синагоги загораются бра, летит метель, входят пленные. Кто-то запевает:

Вдоль по улице метелица метет…

— Постойте! — говорит этот человек. — Постойте!

Так я себе рисовала, дожидаясь письма.

Вышло иначе. Хотя письма я все-таки дождалась.

После довольно долгой сценической жизни спектакль БДТ «Метелица» был показан по телевизору. Вот после этого-то и пришло письмо.

Я его привожу слово в слово.

Здравствуйте, дорогая писательница
Вера Панова.

Прошу большого извинения за такое простое обращение к Вам.

Я давно решил Вам написать письмо, но даже не знаю, как обратиться и по какому адресу написать. Я живу в г. Черемхово Иркутской области и работаю здесь на шахтах и разрезах много лет в должности горного мастера.

Недавно я смотрел по телевизору постановку Ленинградского театра, правдивую киноповесть в 2-х частях «Метелица» по Вашему роману или повести.

Я хочу поблагодарить Вас за такую кинокартину, ибо я сам там в эти дни и минуты был участником этой истории. Я был в этом синагоге-лагере с начала его организации и почти до конца 1943 года в городе Нарва. Прошу Вас, если Вам не трудно, напишите письмо мне, и я Вам тоже могу кое-что написать. Конечно, это было так давно.

Вашего адреса я не знаю, но догадываюсь, что Вы состоите в Союзе писателей г. Ленинграда, и я решил написать Вам письмо-розыск.

Мой адрес…

Б. Тарасюк.

Я и теперь жду писем. Я всегда жду писем… Вдруг, например, мальчик Олег (теперь уже, разумеется, взрослый Олег), прочитав этот рассказ, напишет мне: «Ах, как же, помню». Или вдруг тот переводчик жив-здоров и напишет: «Как же, помню, грузовик вот-вот уйдет, а вы с больной девочкой и старушкой останетесь на бобах…»

Только от Полины Николаевны я не жду письма. Несколько лет назад я была в Нарве, и мне сказали, что ее уже нет в живых…

38. В оккупации

Я уже не могу шаг за шагом описать весь тот путь, который мы, Надежда Владимировна Сперанская, Наташа и я, прошли от Нарвы с ее страшной синагогой до села Шишаки на речке Псел, где я надеялась соединиться (и соединилась) с моими сыновьями и мамой. Где мы шли пешком под ледяными зимними ветрами, где ехали по узкоколейной железной дороге в узеньких и холодных немецких вагонах? Где удавалось нам достать хлеба, а где не удавалось? На какой станции видели женщину-беженку, державшую на руках умершего в дороге грудного ребенка? В каком месте нашего страшного пути я, продрогнув в вагоне и не в силах отогреться собственным дыханием, вдруг почувствовала, что засыпаю, и сквозь это засыпание поняла, что засыпать нельзя, что это — конец, гибель? И тотчас же меня стали расталкивать и окликать какие-то чужие женщины, говоря то же, что я думала, — чтобы я не спала, что это — смерть. Совершенно не помню, где все это было, в какие числа. Только факты остались в памяти, один другого страшнее.

Так или иначе, но мы продвигались к цели, и сознание этого нас не покидало, пока мы не приехали в Полтаву. Как ни странно, но именно там нас покинула бодрость — поезда оттуда в нужном нам направлении не шли, надо было идти пешком, люди на вокзале, большей частью жители Полтавщины, рассказывали нерадостные вещи о немецком хозяйничанье.

Наконец мы дошли до Решетиловки и у тамошних жителей нашли приют на ночь. После этой ночи со мною сделался припадок: утром я не могла подняться со скамьи, а когда поднялась — ощутила такую слабость, что не могла ступить. Пришлось вернуться в хату и долго сидеть, пережидая приступ.

Наконец пошли. Опять было снежно и так холодно, что перехватывало дыхание. Надежда Владимировна думала, что сразу за Решетиловкой будут Шишаки, и огорчилась, узнав, что надо еще пройти через Малую Бузовую.

Вот где нас приняли отменно — в Малой Бузовой. Опрятная красивая хозяйка на славу нас угостила, уложила спать, указала дорогу на Шишаки.

Уже пришли в Шишаки, уже прошли мимо почты, мимо магазина и школы, мимо могил героев революции, уже сверху, с горки, я видела нашу Березовку — улицу, где жили мои дети, как вдруг бедняжка Надежда Владимировна спросила:

— Еще далеко?

— Нет, — ответила я, — уже совсем близко.

Она не поверила:

— Сколько? Километров пятнадцать?

— Что вы, — сказала я. — Через десять минут придем.

Было так холодно, что я вынула из мешка мое байковое одеяло и покрылась им с головой. И в таком виде пришла к воротам дома Марии Владиславовны Кошевой.

Не было ни сознания достигнутой цели, ни радости, что путь завершен. Была одна мысль: «Живы ли? Здоровы ли? Здесь ли?»

Дойти до двери и убедиться в этом, и больше ничего не нужно.

Но раньше, чем мы дошли до двери, я поняла — живы. Видно было через плетень, как из «хатыньки» — крошечного мазаного флигелька — кто-то вышел и пошел к главному дому. А оттуда ему навстречу вышла мама и сразу увидела меня, проходившую за плетнем.

Когда мы бросились друг к другу, она сказала:

— Я знала, что ты жива, что ты к нам проберешься.

— Дети? — сказала я.

— В кухне, — ответила мама.

И вот эта кухня с чистым глиняным полом, с белоснежными стенами, с чистенькой кадушкой для воды — кухня домовитой Марии Владиславовны.

Свекровь моя, Мария Петровна, стоит у плиты. Словно не веря своим глазам, она говорит:

— Вера!..

Мальчики, Боря и Юра, вбегают в кухню из комнат. Они выросли и уже не так хороши собой, как прежде, но что это значит для меня?

Я нашла моих мальчиков здоровыми, спасибо бабкам. Узнала, что они по-прежнему играют в шахматы, катаются на саночках, а читают теперь сами.

Это был мой первый взгляд на мир, до которого я добралась. Второй взгляд был более широким.

Неподалеку от дома, где мы жили, стоял обугленный дом полицейского. Рассказывали, что этот негодяй выдал немцам партизан, ушедших от оккупантов в лес. И за это-де партизаны сожгли дом предателя. Очень страшно, говорили, горел этот дом: несколько дней-де горел и не сгорал, пока, наконец, не рухнул грудой самоварных углей. А во главе тех партизан, рассказывали, стоял Куприян Тутка, бывший секретарь райкома партии.

Женщины, на вид скромные и боязливые, пешком шли в Харьков якобы что-нибудь продать или купить на базаре и потом приносили в Шишаки советские газеты, пряча их в лифчике. И одна из этих женщин, ловко стирая в корыте цветастый

бумазейный халатик, говорила:

— О, ненавижу! Пусть только придут наши, своими руками этих проклятых буду убивать!

Жили мы скудно, пищи не хватало, одно время Боря до того ослабел, что по утрам еле мог подняться с постели. Надо было немедленно выходить из этого положения, надо было работать и самой зарабатывать на себя и свою семью.

Мы с Наташей стали работать в бывшем колхозе «Ставидло», который теперь назывался общественным двором.

С непривычки нам было трудно, особенно когда приходилось поднимать мешки по сорок — пятьдесят килограммов. Но мы старались не отстать от женщин ни на прополке, ни на других работах, и они относились к нам хорошо. Даже делились едой, если видели, что у нас к обеду ничего нет, кроме хлеба.

В феврале 1943 года, то есть после поражения немцев под Сталинградом, пошли слухи о дальнейших победах нашей армии и о том, что скоро немцы от нас будут тикать. Но бои шли еще далеко от нас, и в поведении шишакских властей ничто не указывало на близкие перемены. Однако слух держался так упорно, что все в него уверовали. Вере этой способствовали два обстоятельства.

Во-первых, в Шишаках появились итальянские солдаты, бежавшие из-под Сталинграда. На базаре возникла вдруг неимоверно тощая фигура в лохмотьях военной одежды, в драной шапке, напяленной на уши, с черной щетиной на лице. Фигура пошла между столами со снедью, приговаривая два слова: «Итальяно» и «Сталинград». Фигура хромала и выглядела очень жалкой, и из-за столов потянулись женские руки с кусками хлеба. Итальянец благодарил по-французски: «Мерси». Женщины понимали это слово. Иные из них отвечали сурово: «Не ходить бы тебе на нас, теперь не побирался бы». Но большинство не осуждало, должно быть понимая, что не по своей воле шел на нас этот солдат.

Второе, что подтверждало слухи о скором уходе немцев, была статья, напечатанная в одной из украинских газет, не то в полтавской, не то в миргородской. В статье приводилось высказывание Геббельса по поводу Сталинградской эпопеи. Геббельс говорил о том, что в войне возможны всякие случайности и что немецкое командование недостаточно учло громадность советского военного потенциала. Точного текста не помню, но смысл был именно такой, весьма обнадеживающий.

И наконец, в одно мартовское утро мы, встав от сна, узнали, что ночью немцы укатили из Шишак.

В голове и душе замелькали планы будущего. Я начала

писать пьесу «Метелица». Набросала кусочек и листочки спрятала в поленницу, стоявшую в сенях.

Все это действо составляло для меня уже как бы частицу будущего.

В радостных мечтах легли спать. И вдруг раздался громкий стук в дверь. Такие грозные, глухие удары. Сердцу стало холодно. Кто это? Немцы, полиция? В соседней комнатушке спали дети, спала Наташа.

— Кто там? — спросила я, выйдя в сени.

В ответ: «Откройте», — и брань. Голоса не немецкие — очевидно, полицаи.

— Не открою! — сказала я, решив, что если это гибель, то зачем же ее впускать в дом собственными руками.

— Ты с ума сошла! — ухватилась за меня мама. — Я им отворю.

— Не смей! — сказала я.

Голоса из-за двери закричали:

— Отвори, хозяйка, нам только водицы напиться!

— Не отворю! — сказала я.

Тогда они стали бить чем-то тяжелым сперва в дверь, потом в стену дома. Но стена была подперта изнутри поленницей, ее нельзя было свалить ударами прикладов. Мы с мамой ждали, затаив дыхание. Наконец за дверью послышался топот сапог, потом звякнула щеколда на калитке — они ушли.

Так я и не знаю, кто ломился к нам в ту ночь, затерявшиеся ли в селе немцы или украинские полицаи.

Странные были тогда дни, жуткие и в то же время полные надежды. В селе было безвластье — ни немцев, ни наших войск.

И все мы выходили на улицу слушать, не гремят ли выстрелы. В воздухе погромыхивало явственно, но мы опять выходили послушать, не приблизилось ли громыханье.

Оно не приближалось. Оно, увы, отдалялось. Оно отдалилось совсем. Сладкий сон уходил, смывался. В Шишаках опять появились немцы. Чем был вызван их временный уход? Никто не знал, откуда было узнать? Но для всех их возвращение было жестоким разочарованием.

Однажды ночью в сентябре я проснулась от скрипа колес и ржанья лошадей. По улице мимо нашего дома ехали телеги, вереница телег. Я вышла к калитке.

Непроглядно черная была ночь, но еще чернее этой черноты были лошади и поклажи на проезжающих по улицам подводах.

Ржали лошади. Плакали дети. Кашлял кто-то.

Стоя у калитки, я закурила и увидела напротив, по ту сторону улицы, попыхивающие глазки папирос. Там, на

крылечках, тоже стояли, курили, смотрели.

Я не подошла к подводам, не спросила, кто едет, куда, зачем; я поняла.

Утром соседи рассказывали, что из Опошни немцы выгнали всех жителей.

— Всем надо уходить, — говорили соседи. — Либо в кукурузу, либо в лес.

А в полдень ко мне зашла соседка и выработала для меня программу действий.

— В кукурузу прятаться опасно, — сказала она, — лучше в лесу. Я за вами зайду, когда смеркнется, мы тоже идем в лес.

Она сдержала обещание, зашла за нами часов в девять вечера. Мы были уже готовы и пошли сразу же.

Фантастичен был путь через уснувшее, с погасшими окнами село, потом по тихой дороге, потом по лесу. Очень хотелось пить, мы скоро выпили воду, взятую с собой, и пили из лужиц, стоявших в колеях дороги. Наутро разглядели, что вода эта была голубовато-молочного цвета, вкус ее, впрочем, был хорош.

Вслед за соседкой и ее мужем мы углубились в лес. Уже светало. Было прохладно и шелестно. В том месте, куда нас привели, было много людей, одни сидели на небольшой скирде сена, другие прямо на земле, мужчины, женщины, дети, между деревьями виднелись силуэты коровы и лошади.

Утро разгоралось, захотелось есть. Мы сделали шатер, воткнув в землю несколько веток и натянув на них одеяло, все то же коричневое байковое одеяло, которое я принесла из Пушкина. Когда я усадила маму в этот шатер, то ясно представила себе, что у меня для нее нет никакого другого жилья и неизвестно — будет ли. Я послала мальчиков за топливом, а сама расстелила перед мамой полотенце и достала из кошелки наши съестные припасы. Самое ценное из них были подсолнечное масло, сухари. Мальчики принесли сухого валежника и развели костер. Мы поели, я закурила. Уж не помню, что я курила в том лесу, — кажется, кто-то со мной поделился своим самосадом. Среди находившихся там людей немало было знакомых, и уже на вторую ночь Наташа пела с ними советские песни. Было ново и чудесно, что теперь можно, не таясь, петь и про Катюшу, и про любимый город, и про все, что мы любили.

Ровно неделю мы провели в лесу — с 15 по 22 сентября. Иногда шел дождь, и наш шатер промокал насквозь, но нас это не пугало. Как-то раз раздался в лесу собачий лай и прошел слух, будто это немцы с помощью собак разыскивают беглецов, но все обошлось благополучно. По привычке мы с Наташей припадали к земле и слушали, не гремит ли. Земля не гремела.

Мальчики приносили топливо и воду и были очень довольны всем этим приключением. Но, увы, наши запасы съестного очень скоро иссякли, надо было хоть чего-нибудь раздобыть.

Мы с Юрочкой взяли кошелку и отправились на добычу. В лесу видели множество беглецов, некоторых с коровами. Видели, как между деревьями бегал явно встревоженный полицай с жовто-блакитной повязкой выше локтя. У выхода из леса увидели ту самую соседку и ее мужа. Муж сидел на пне, а около него стояли два немца и что-то ему говорили. Поодаль стояла корова. Соседка была бледна и не сводила глаз с немцев. Вдруг она как бы что-то поняла, подошла к немцу, взяла из его руки походный котелок, подошла к корове и принялась ее доить.

Получив молока, немцы успокоились и удалились. Я обратила внимание на то, как поразительно не похожи эти немцы на тех толсторожих молодцов, каких мы видели в Пушкине в первые месяцы войны. Эти, теперешние, были почти мальчики, узкоплечие и тонконогие, с прыщавыми бледными лицами. «Добираются остатки», — подумалось невольно.

Соседка пошла в лес, а мы с Юриком вышли на какую-то улочку, примыкавшую к лесу. Вместо первых двух-трех изб мы увидели сплошное пепелище, а в четвертую вошли. Она была пуста. Подоконник, лавка и весь пол были усыпаны только что снятыми с кустов помидорами. На припечке сидела курица. Видимо, хозяйка хаты выбиралась отсюда срочно.

Потом мы узнали, что эти уходы действительно совершались молниеносно, иначе и быть не могло. Немцы приходили и знаками показывали, что сейчас будут жечь хату. Едва дав хозяевам выйти, они пускали в соломенную крышу ракету, и мгновенно хата охватывалась огнем.

А иногда это была не крыша дома, а старая старуха или дитя, стоящее на крыльце, — та мишень, куда изгоняемый враг направлял свою пулю…

Курицу мы не взяли, хотя она была явно обречена на сожжение живьем, но, каюсь, некоторое количество помидоров в кошелку уложили.

Когда мы вернулись на нашу стоянку, в лесу уже знали, что немцы жгут Шишаки, и все говорили, что придется копать землянки, а я думала — куда же мы денемся с детьми и мамой, как пережить предстоящую зиму. Засыпая в ту ночь, я видела сквозь ветви багровое зарево, это горели Шишаки, горел там и дом, укрывавший нас в последние годы, я это знала, и сны мне снились багровые и черные.

Если не ошибаюсь, 20 сентября над нашими головами зашипели перелетающие через нас снаряды, и мы догадались, что

подходят наши. Мальчики пошли на разведку и рассказали, что видели вдали на лугу перебегающие человеческие фигурки. Люди, прятавшиеся в лесу, стали расходиться. 22-го утром двинулись и мы.

Вышли из леса и увидели незабываемую картину: вслед за нами выливался человеческий поток. Несли детишек, вели скотину, подзывали отстававших собак. Жизнь возвращалась в прежнюю колею.

Навстречу нам шли две женщины. Я спросила:

— Можно идти в Шишаки? Немцы там?

Женщина сказала:

— Та яки там нимцы, там вже наши! — и мы пошли без сомнений.

Шли среди сплошных пепелищ — сожжено было все подчистую. Черные улицы были неузнаваемы. Среди остатков черных стен стояли обгорелые бездыханные трубы. Кое-где люди уже работали кирками и заступами, копали землянки. Кое-где уже сушилось на травке заботливо расстеленное белье. Но вообще людей было мало, должно быть, многие беглецы еще не вернулись в село.

И я остро-остро, словно то была не мимолетная мысль, а удар ножа, ощутила, что то, на что я сейчас смотрю, не просто исторический случай, а частица громадного эпоса, который с годами отольется в песни, былины, картины, романы, в военную и политическую науку, в героические мифы, и в застольные здравицы, и во все то, чем живет, дышит и скрашивает свои дни все человечество, включая меня, и моих детей, и мою старенькую маму, идущую рядом со мной по неровной лесной дороге, где нога ступала то на древесный корень, мостом перекинувшийся через эту дорогу, то на слежавшиеся и отвердевшие, как камешек, опавшие листья, полузатопленные в похожей на зеркальце лужице, то на коровью лепешку, то на мертвого жука, то на неведомо откуда взявшуюся здесь ветку бледно-лилового колокольчика из тех, что выращиваются в холе на ухоженных клумбах нарядного цветника, ветку с большим бубенцом и причудливым извивом стебля, похожего на орнаменты древних наших деревянных строений. Жизнь со всеми своими внезапностями и радостями будто текла нам под ноги, как разворачивающийся ковер, а то мертвое и страшное, что так долго тяготило нас, уходило, будто клочок страшного сна, оно уже догромыхивало где-то вдали последними своими громыханьями, оно рассыпалось в порошок в тех рассказах, которые мы слушали от встречных людей, покуда шли из леса на свои шишакские пепелища.

Мы слушали повесть о том, как сжигали Шишаки и немцы уходили, не оглянувшись на еще одно черное пепелище, оставляемое ими за собой. Но когда выходил на пепелище первый человек, он прежде всего бросался туда, где стояла его лопата, и начинал, как древние его предки, рыть землю, строить землянку для себя и своей семьи, чтобы в подземном затишье пережить свою беду, свою ненависть к разорителям.

Мы слушали рассказы и о том, будто мишенью бывали не только люди, но и скот, молодняк и взрослый, и что с особенным удовольствием фашисты бросали убитых телят в колодцы, чтобы отравить всю жизнь, какая еще оставалась на нашей земле после их ухода. И рассказы о том, как тетка Горпина все это пережила и даже ни словечка этим зверям не сказала, но когда вслед за теленком звери кинули в колодец ее Володьку, закричала Горпина таким голосом, что по всем Шишакам услышали люди этот крик и бросились, забыв страх, к Горпининому дому. И прибежали швидко, но уже ничем помочь не могли — не вернуть Горпине ее Володьки. И даже мертвым она его увидеть не может, дуже глубокий колодец выкопал когда-то покойный Горпинин чоловік.

Домишко, в котором мы квартировали, тоже был сожжен дотла. Я попробовала открыть тайник, в котором перед уходом спрятала зерно. Это мне удалось, но зерна моего уже не существовало, в истлевших мешочках лежало что-то черное, как уголь, обжигавшее руки, дурно пахнущее и для еды непригодное. Не уцелели и те реликвии, которые я спрятала вместе с хлебом. Не уцелело ничего, кроме нас пятерых, которым негде было приклонить голову.

Признаюсь, в душе у меня не было ни капли надежды, когда я, оставив детей и маму около разоренного тайника, побежала к М. В. Кошевой. Конечно, это привычка потянула меня туда, ведь в этом домике я жила и в первый мой приезд в Шишаки в 1931 году, и в трудные годы войны, и вообще навсегда для меня Шишаки связаны с этим уютным, столь гостеприимным для меня домом, где крыльцо спускалось к трем старым плакучим березам и в кухне на лавке стояла кадушка с опущенным в нее большим ковшом. Я не питала на этот раз никаких надежд и не сразу поверила своим глазам, когда еще издали увидела эти три березы, и знакомую красную железную крышу, и посеревший от времени тын, огораживавший двор. А во дворе на зеленой травке ходили, как раньше, цыплята, а на террасе сидела сама Мария Владиславовна в чистом капоте, встретившая меня словами: «Где все ваши? Я вам оставила половину флигеля». И при этих словах надежда — нет, уверенность хлынула в меня. Ибо я знала, что ни

все мы впятером, ни каждый из нас в отдельности не в силах выкопать землянку для жилья, и эти слова М. В. Кошевой были спасением для нас. Оказалось, что, когда пришли к ее воротам немцы, чтобы сжечь ее дом, ей удалось их подкупить какими-то брошками и серебряными ложечками, оставшимися после ее матери, и немцы, покрутившись перед воротами, ушли. И она, оставшись, таким образом, владелицей дома и флигеля, быстро все распределила: сама осталась жить в так называемом «большом» доме (том, перед которым росли березы) и туда же поселила Надежду Владимировну, а во флигеле определила в кухню нашу семью, а в комнату — какое-то совершенно обнищавшее беженское семейство из Харькова. Не знаю, как харьковчане, а в моей семье о Марии Владиславовне до сих пор живет благодарная память, и после войны она писала моим сыновьям, и вышло так, что когда она приехала в Ленинград, продав свой дом шишакским районным учреждениям, и здесь скончалась, то хоронил ее мой младший сын, которого она особенно любила.

Сколько добрых людей вижу я, оглядываясь назад, и никакие житейские беды и разочарования не могут заслонить этих людей…

Плохо было у меня только с топливом. Оно стоило очень дорого, так как людям, жившим в землянках, приходилось тратить его много, и цены на дрова поднялись. Я ходила на постройку нового Дома культуры (старый был сожжен) и подбирала там каждую щепку. На улице подбирали каждую оброненную хворостину. Но где же этим изо дня в день протапливать русскую печь, она требует дров настоящих.

Очень плохо у нас было также с одеждой, особенно с обувью, очень не хватало теплых вещей, мы зябли и часто болели.

Так обстояли наши дела, когда Наташа стала получать письма от отца.

Сразу после изгнания немцев она ему написала в Ленинград по старому адресу, сообщая, что с нею было и где она находится. Письмо получил сосед и написал Наташе, что ее мачеха Галя Беловецкая умерла во время блокады, а отец с дочерью Таней находится в Перми, куда он, сосед, и переслал Наташино письмо.

И вот — хлоп! Пришло письмо из Перми от Арсения, а в письме оформленный по всем правилам вызов в Пермь на имя Наташи и мое.

Помню, меня поразило тогда отношение мальчиков к этому письму. Неизвестно почему, они усмотрели в нем возможность возобновления семейных отношений между мною и Арсением Владимировичем и очень нахохлились. Я их успокоила и убедила,

что нужно ехать. Мама тоже согласилась ехать.

Тогда я, взяв вызов, пошла к секретарю райкома партии, славной женщине, и просила ее помощи. Мне нужно было получить пропуск на выезд в Пермь не только для себя и Наташи, но и для всех членов моей семьи. Секретарь отнеслась к моей просьбе с полным пониманием и сочувствием, и я сразу получила нужный мне пропуск на всех нас.

В письме своем Арсений заверял, что в Перми мне будет обеспечена работа в газете.

Примерно в то же время Надежда Владимировна каким-то образом разыскала свою дочь, Надежду Владимировну младшую, и решила ехать к ней в Кировскую область. Мы мечтали выехать из Шишак вместе, но это не удалось, я с семьей уехала раньше.

39. Пермь

Подъезжая к Перми, мы видели широкую ледяную Каму, прогрохотали по монументальному мосту. Снова я испытала отрадное чувство, что нечто задуманное исполнено, некая цель достигнута, всех довезла до места живыми и здоровыми, теперь надо постараться, чтобы насколько можно нормальнее устроить их, — как-то это удастся?

Увы! Печально и неласково встретила нас станция Пермь-вторая обледеневшим вокзалом, морозным ветром, желтыми сосульками на вагонах, теснившихся на пути.

По деревянной лестнице, врубленной в снежный откос, мы вышли на широчайший проспект. Далеко друг против друга стояли пятиэтажные новые дома. «Это дома рабочих Мотовилихи», — объяснила встретившая нас новая жена Арсения. Я спросила, не работает ли она на Мотовилихе. Она ответила отрицательно: нет, она работает вместе с Арсением в редакции железнодорожной газеты «Сталинская путевка», она там — корректор. А комнату в этих домах город дал ее отцу, эвакуированному вместе с нею и ее матерью из Москвы, в начале войны.

Морозный ветер дул нам в лицо, мешки за нашими плечами были как каменные, сердце болело за ребят, так покорно тянувших эту тяжесть на своих худеньких спинах. Я обрадовалась, когда мы дошли и Галя (новую жену Арсения звали так же, как и предыдущую) открыла перед нами дверь своей квартиры.

Недолга была радость. С первого взгляда стало ясно, что живут в этой квартире трудно и скудно. Еды не было никакой.

На другой день приехал Арсений. Я приступила к нему с расспросами и услышала подробный рассказ о сложностях тыловой жизни и о том, что редактор «Сталинской путевки» обещал мне дать работу в редакции, но я должна быть готова к тому, что этого заработка мне не хватит, так как буханка хлеба на базаре стоит 150–200 рублей, кило картошки — 75 рублей, остальное соответственно.

«Что-нибудь да будет, — подумала я, — не для того же судьба провела меня через круги оккупационного ада, чтобы мы погибли здесь от дистрофии».

Арсений был желто-бледен, с ввалившимися щеками. Видно было изголодался человек.

— Что за люди у вас в редакции? — спросила я.

Он дал ответ в своем роде:

— Ребята шикарные.

Он повел меня в «Сталинскую путевку». Я познакомилась с редактором М. Г. Гуревичем, секретаршей А. Г. Киян, художником Борисом Андреевичем, Ильей Алексеевичем Трифоновым и другими сотрудниками. По их просьбе рассказала им о моих скитаниях по оккупированной земле. Они мне понравились, а по тому, как они меня слушали, я поняла, что и я им понравилась.

И вернулась я к журналистской работе — в «Путевке» и в областной газете «Звезда», куда рекомендовал меня Гуревич. Выяснилось, что я ничего не утеряла из прежних журналистских навыков, моей работой были довольны.

По заданиям двух моих редакций я шла то на заводы, то в железнодорожные мастерские или в диспетчерскую, то в рабочее общежитие. Это было мне привычно с давних времен, хотя силы были уже далеко не прежние. На трамвае ездить не приходилось — он всегда был переполнен, приближался к остановке, со всех сторон увешанный людьми, пробиваться в него нужно было силой, я и не пыталась. Очень мучил меня холод, пронзительные ветры с Камы — зима опять была суровая, слишком суровая для нас, южан, а одежки наши не приспособлены были к морозам.

Вообще в первые мои пермские дни я растерялась — совершенно нечем было кормиться, и плохо бы нам пришлось, если бы не писательская организация.

В Перми жило много писателей из Ленинграда, в том числе — благодарная ему память — милейший и доброжелательнейший Михаил Эммануилович Козаков, с которым я познакомилась в Москве в дни успеха «Старой Москвы». Он познакомил меня со своей женой Зоей Александровной Никитиной, которая при этой писательской группе ведала бытовым устройством и заведовала лагерем для писательских детей, основанным в деревне Черной, в двух часах езды поездом от Перми. Сами писатели жили в городе, в гостинице, которую все звали «семиэтажкой».

М. Э. Козаков встретил меня по-братски и сразу стал опекать. Он дал мне справку, что я член Союза писателей (то была «ложь во спасение», но его авторитет был так велик, что никто не усомнился), я получила ссуду, и, главное, все трое моих детей были приняты в детский лагерь в Черной. В лагере ребятам было обеспечено питание, кров, врачебный надзор, школа… Мы с мамой поселились по соседству с Черной, в деревушке Даньки, так что я ежедневно могла видеть детей, а они меня. Дочь Арсения Таня, сестра моей Наташи, тоже жила в лагере, а сам Арсений некоторое время работал там воспитателем.

В лагере я возобновила знакомство с Ириной Валерьяновной Карнауховой, детской писательницей (с ней я когда-то познакомилась у Кониковых). Дочь Карнауховой Галя тоже жила в

лагере.

Благодаря М. Э. Козакову нам с мамой выдали продуктовые карточки, но получать по ним продукты нужно было в городе, и З. А. Никитина, спасибо ей, предложила мне сдать карточки в лагерь и получать хлеб в лагере. Это меня очень устроило — не нужно было ездить в город, хлеб мне выдавала кладовщица лагеря Александра Карловна. Вообще много хороших людей я узнала в лагере — и Киру Николаевну Липхарт, на дочери которой впоследствии женился мой Боря, и прелестную семью Фуксов, и супругов Гор — писателя Геннадия Гора и его жену Наталью Акимовну. Все они были ко мне очень добры, и со многими очень интересно было разговаривать. Особенно радовало меня то, что дети смогут идти нормальной дорогой.

У Наташи возникла очень дельная мысль — за лето подготовиться и осенью сдать экстерном экзамены за 9-й класс, чтобы попасть в 10-й и в будущем году получить аттестат зрелости. В подготовке помогла ей писательница Е. Н. Куприянова, работавшая в Черной в качестве педагога.

В Даньках мы с мамой жили в избе, где было много тараканов и клопов, хозяйка не любила нас, тяготилась нами, мы болезненно это воспринимали, особенно мама. Единственной радостью там была баня, которая хоть и топилась по-черному, но всякий раз воспринималась как счастье.

По-прежнему хуже всего было с одеждой, все износилось, а взять было негде.

Через Пермское управление по делам культуры я получила некогда присужденную мне премию за «Старую Москву» — так появились деньги для уплаты за получаемые по карточкам продукты.

В то время я уже начинала чувствовать недомогание, сломившее меня впоследствии. Особенно по утрам, при пробуждении, было нехорошо с головой и с дыханием, и я понимала, что необходимо бросить курить, но не хватало воли. Я тогда вплотную занялась пьесой «Метелица», работалось трудно, на ее протяжении надо было разместить десять разнозначных мужских ролей, это было как задача по тригонометрии.

Вдоль стены нашей комнаты стояла длинная лавка, она заменяла мне письменный стол, вместо стула был чемоданчик, на который я садилась, чернильницей моей была школьная непроливайка, но пьеса меня удовлетворяла, я чувствовала, что она говорит правду и учит хорошему. За стенкой гремела ухватом и горшками хозяйка, мама иногда подходила и говорила тихо:

— Извини, я только на минутку тебя прерву.

Мне это не мешало, судьбы заключенных в нарвской синагоге

слагались сцена за сценой, пьеса шла к концу.

Мы прожили уже весну и часть лета, когда как снег на голову грянуло известие: ленинградские писатели возвращаются в Ленинград, детский лагерь в Черной распускается, я должна забрать моих ребят к себе или уезжать с ними куда хочу. Уезжать мне было некуда, и дети переселились в Даньки. В нашей комнатушке стало очень тесно, теснота отражалась на здоровье детей, хозяйка стала к нам еще нетерпимей, как-то вдруг выяснилось, что никакого пайка не хватит на такую семью, мои утренние приступы удушья и головокружения усилились.

Помню, было утро, когда я, проснувшись, не могла одеться. Я понимала, что надо преодолеть слабость, ехать в город, что если я опоздаю на поезд, то семья останется без хлеба, но пол уходил у меня из-под ног, дыхание останавливалось, только жестким усилием воли я заставила себя одеться и выйти из избы под морозный ветер.

Помню тоскливое чувство покинутости в тот день, когда все уехали и Черная опустела. Какими счастливцами казались мне уехавшие, какими лучезарными виделись мне их перспективы, как я хотела в Ленинград! Не знала я тогда, что давным-давно охладели к моей пьесе и Театр имени Моссовета и Театр имени Пушкина, я воображала, что все эти колеса еще крутятся, что там меня дожидается интересная работа, твердый заработок, известность! Розовые сны, пробуждаясь от которых как бы сразу стукаешься головой о каменную стену. Но ведь снилось не от легкомыслия, а оттого, что жизнь посулила, поманила удачей.

В неведении предстоящих разочарований я продолжала строить, как могла, наше пермское бытие. Директор радио Н. А. Волков предложил мне писать для их передач очерки и рассказы.

Я их писала, используя злободневный газетный материал. За рассказ или очерк радио платило мне 75 рублей — рыночная цена килограмма картошки. Иногда за неделю удавалось написать два очерка.

Писала я теперь главным образом в редакции «Сталинской путевки», там же сама перепечатывала на редакционной машинке, там же по большей части и ночевала на редакционном диване, редакция стала моим домом. В Даньках жить становилось все трудней, и мама и дети с трудом переносили эту жизнь, надо было с нею кончать.

Арсений познакомил меня с Людмилой Сергеевной Римской, директором областного книгоиздательства. Она предложила мне сотрудничать в областном альманахе «Прикамье», но у меня как-то ничего не придумывалось…

Тут, на мое счастье, возникло предложение бабушки Андреевны. Так звали симпатичную старушку, редакционную уборщицу. Не знаю почему, она ко мне благоволила, хотя, несомненно, я доставляла ей лишние хлопоты моими ночевками в редакции и полными пепельницами окурков, скоплявшихся к утру.

Узнав о моем положении, она сказала мне, что у нее имеется собственный домик на окраине и что, если я хочу, она готова сдать мне комнатку.

Чтобы решить этот вопрос, она повела меня посмотреть домик. Он находился на Артиллерийской улице. Еще подходя к забору, из-за которого свешивалась черемуха, я подумала: «Хочу сюда».

Мне почему-то знакомым показался этот забор. И так же знаком был дворик, местами поросший мелкой зеленой травкой, и уютная кадушка под желобом, и деревянное крылечко, и когда-то зеленые ставни, выцветшие под солнцем, и маленькая кухня и за нею комната с образами, фикусами и сундуком в углу.

— Вот эту комнату могу тебе сдать, — сказала Андреевна.

В тот день из Даньков приехал Юрочка — повидаться со мной. Я повела его на Артиллерийскую и, заметив, как он смотрел на черемуху, дворик и комнату, спросила:

— Хочешь остаться здесь, не ехать больше в Даньки?

И даже сердце у меня сжалось — так он обрадовался, мой бедный ребенок.

Я с легким сердцем оставила его у бабушки Андреевны, а сама поехала в Даньки, чтобы привезти Борю. Он тоже очень был рад переезду из Даньков. В комнате, которую сдала мне Андреевна, была большая кровать, Андреевна определила ее для мальчиков. Таким образом, жилье для них было обеспечено, теперь надо было устроить маму и Наташу. Сама же я намеревалась ночевать на сундуке либо оставаться, как прежде, в редакции.

Реэвакуация ленинградцев и москвичей тем временем помаленьку продолжалась. Разъехались писатели, подобно мне оставшиеся в Перми после отъезда детского лагеря. Получил вызов в Ленинград и Арсений.

Л. С. Римская помогла: мама и Наташа получили комнату Арсения, мне только нужно было найти денег, чтобы прикупить хоть какой-нибудь мебелишки. Помнится, толику денег я получила от книгоиздательства благодаря опять-таки Л. С. Римской — в виде аванса под неведомо какие произведения для альманаха «Прикамье». Что же, я вскоре покрыла этот долг, и ни «Прикамье», ни издательство не понесли никакого ущерба.

Я забыла написать, что Наташин план сдать экстерном за 9-й класс удался, и в Перми она ходила уже в 10-й. Мальчиков я тоже записала в школу, и они учились нормально, одно было плохо — из-за плохой одежды они очень зябли и часто болели. Не меньше, впрочем, зябли и мы с Наташей. В смысле питания было терпимо — мы имели карточки, бабушка Андреевна каждый день баловала нас самоваром.

Вообще, когда я слышала в то время жалобы некоторых эвакуированных, будто их плохо встретили в тылу, — меня эти жалобы удивляли; я свидетельствую, что мне была оказана всяческая поддержка — и учреждениями, и людьми, да и другим эвакуированным тоже, когда речь шла о насущных вещах, а не о вздорных претензиях.

Весной 1945 года Наташа окончила среднюю школу. Как-то очень хорошо она написала выпускное сочинение, оно было даже цитировано в газете. Мальчики благополучно перешли в следующие классы, я дописала «Метелицу», жизнь шла своим чередом.

Конечно, каждый день давался трудно. Например, мальчики заболели корью, а меня радио послало в командировку в Кудымкар, центр Коми-Пермяцкого округа, в составе отправлявшейся туда бригады. Пришлось ехать, оставив больных ребят на попечении Андреевны и Наташи. В Кудымкаре, впрочем, было недурно, я там даже прилично заработала. Тамошнее издательство заплатило мне гонорар за брошюру о коми-пермяцком художнике-самоучке Субботине-Пермяке. Я была полным профаном в живописи, но написание брошюры, включая изучение материала, заняло у меня двое суток, что казалось издательству совершенно невероятным. Секретарю окружкома, однако, моя брошюра так понравилась, что он спросил у меня, не имею ли я к нему каких-нибудь просьб, касающихся быта, и, когда я откровенно призналась, что мне очень нужны туфли, дал мне записку на какую-то базу, и я получила пристойные кожаные туфли, каких у меня давно уже не было. В Кудымкар я по оттепели приехала в насквозь промокших худых валенках.

Я понятия не имею, читал ли кто-нибудь, кроме секретаря окружкома, мою брошюру, но она была вскоре издана, это я знаю от Л. А. Образовской, писавшей свою кандидатскую диссертацию о моих работах и знающей их судьбу лучше, чем я.

В общем, я вернулась из командировки с деньгами и приодетая и могла полакомить ребят вкусными вещами, купленными на базаре, а они, уплетая эти вкусные вещи, говорили с насмешкой:

— А ведь правда, наша мамочка хорошо пишет!

В ту весну сотрудникам «Путевки» были выданы участки под огороды. Получила делянку и я. Засадила ее только картошкой, кукуруза и подсолнух здесь в городе были ни к чему.

Участки наши находились за городом, ездить туда надо было поездом.

В конце лета мы собрали наш урожай. Я отдала свою картошку Андреевне, она была довольна.

Вообще в то время наша жизнь, как никогда, была связана с картошкой. Вспоминая Пермь, я вспоминаю с благодарностью и ее.

40. Мой дебют в литературе

Война шла к концу, и в городах тыла началась широкая кампания по устройству эвакуированных детей, живших в детских домах, без родителей, без семьи. Редакция областной газеты «Звезда» послала меня собрать материал и написать очерк. Я увидела много поучительного и, между прочим, обнаружила одну знаменательную черту. Наиболее стремились получить ребенка на воспитание те люди, у которых было много детей. Помню одного милиционера и его жену, у них было трое собственных детей, жили они в коммунальной квартире, а между тем как они добивались получить из детдома еще одного ребенка. Им отказывали, ссылаясь на неважное их устройство, а они продолжали, что называется, обивать пороги учреждений, пока не добились своего. Помню, как гордо они уводили из детдома сиротку девочку, держа ее за руки, как жена милиционера строила планы, как она оденет девочку (свои дети у нее были мальчики).

Все увиденное показалось мне таким важным, что захотелось написать не очерк, а повесть, хотя бы совсем маленькую.

Не помню, по каким причинам я писала эту повесть не в своей комнате на Артиллерийской и не в редакции «Путевки», а в маминой комнате, где прежде жили Арсений и его жена. Я написала ее, эту повесть, за три недели, работая денно и нощно. Это были всего три с половиной авторских листа, но для меня это было очень много. Стало быть, я могу написать в прозе нечто более капитальное, чем очерк или газетный рассказ. Мои перспективы раздвинулись, мои надежды укрепились.

Фамилия того милиционера была Пирожков, на Урале это распространенная фамилия, и мою повесть я тогда назвала «Семья Пирожковых». С самого начала я ее готовила для альманаха «Прикамье», куда так давно приглашала меня милая Л. С. Римская. Она знала о моем замысле и приветствовала его.

Закончив повесть, я за две ночи перепечатала ее на машинке в редакции «Путевки» и понесла Римской. Она прочла ее и одобрила, пообещав напечатать в майском номере «Прикамья». И просила писать еще. На радостях я в ближайшие дни писала еще большой рассказ о старой сельской учительнице, но сама видела, что он получился плохим. И хотя он был помещен в той же книжке «Прикамья», где и «Пирожковы», но славы мне не принес, напротив.

«Семья Пирожковых» же сразу стала жить легкой, удачливой жизнью. В редакции «Звезды» устроили читку и обсуждение моей

повести. Собрались работники книгоиздательства во главе с Л. С. Римской и несколько журналистов и писателей, в том числе живший тогда в Перми В. Ардов. Я прочла повесть, кажется, хорошо, сужу по тому, как меня слушали, некоторые даже со слезами. Я вспомнила мрачное предостережение Ю. А. Завадского: «Вдруг этого больше никогда не будет» и с глупой самонадеянностью подумала: «Нет, будет, если я захочу».

Неизъяснимую сладость доставили мне слезы и смех слушателей, и впервые я тогда ощутила, что могу внушать людям хорошие чувства.

Начались высказывания, и я услышала много добрых слов, самые сердечные и лестные — от Л. С. Римской и Ардова. Помню, он сказал, что удивлен, не ожидал… Поругали только неудачную сентиментальную концовку, я ее переделала на другой же день. Вообще почистила текст, стараясь сделать его крепче, жизненней, доходчивей. При описании детей очень помогли мне уже тогда мои наблюдения над собственными детьми, некоторые сценки я целиком списала с натуры.

Спустя годы, в Ленинграде, я вернулась к «Семье Пирожковых» и еще раз переписала ее по просьбе тогдашнего редактора альманаха «Ленинград», ныне покойного Б. М. Лихарева. Переписывая, я поняла, что она неправильно названа, что главное драматическое лицо в ней и несомненно главный характер — Евдокия, и назвала повесть ее именем. Под этим именем повесть с тех пор и переиздавалась, и на экраны вышла, и переведена на многие языки.

Эту скромную повесть я считаю подлинным моим дебютом в литературе, с нее я уверовала в себя и стала писать более свободно.

Как обещала Л. С. Римская, повесть была напечатана в майском выпуске «Прикамья», и вскоре в «Литературной газете» появилась рецензия, где весьма одобрялась «Семья Пирожковых» и очень был обруган (справедливо) напечатанный с нею вместе мой рассказ об учительнице. «Словно это писали разные люди», — правильно отмечалось в рецензии. Я очень благодарна ее автору Е. Усиевич, эта рецензия многому меня научила.

«Прикамье» с моими опусами вышло, если не ошибаюсь, в конце апреля 1944 года, а в мае пермские писатели послали эту книгу в Москву, в Союз советских писателей, чтобы обратить на меня внимание москвичей. Инициатором этого доброго дела была ныне покойная Евгения Федоровна Трутнева, автор многих книг для детей.

Из Москвы написали, что просят меня, когда буду в Москве, зайти в областную комиссию Союза писателей, где намерены

обсудить мою повесть «Семья Пирожковых».

И вот, высадившись в Москве, я пошла в Союз. Председателя областной комиссии А. Д. Карцева не застала, но его секретарша Анна Яковлевна была в курсе дела. Я сказала ей, что не хотела бы, чтобы моя работа обсуждалась теперь, что прошу перенести обсуждение на то время, когда у меня будет готова новая повесть. Анна Яковлевна очень удивилась, но ответила, что она передаст это Карцеву и что желание мое безусловно будет уважено.

Другая же моя просьба, сугубо практическая — достать мне билет до Перми, — никак не могла быть исполнена, и я обратилась с нею в другое учреждение — Комитет по делам искусств на Неглинной. Я не очень рассчитывала на его помощь, зная, как в те дни трудно было достать билет, но там встретили меня с величайшим радушием и сделали больше, чем я просила: дали официальную бумагу коменданту вокзала с просьбой устроить мне билет в Пермь и предложили участвовать в закрытом конкурсе на лучшую пьесу для детей.

Тут же я подписала договор, так что опять возвращалась к детям и к маме с победой.

Смущал меня только срок представления пьесы на конкурс — какой-то фантастически короткий; но я была уже так крепко убеждена в своих силах, что решила об этом не думать. «Что-нибудь будет, — говорила я себе, как-нибудь выйду из этого затруднения».

И действительно, вернувшись в Пермь, я быстро написала эту пьесу. Она называется «Девочки». Жюри конкурса отметило ее поощрительной премией, и она много лет шла в различных театрах страны.

Не покладая рук писала днем, а ночью думала о том, что уже написано, и о том, что еще надлежит написать. Одновременно с этим продолжала работу в газетах и на радио.

В это же приблизительно время Пермское отделение Союза писателей направило меня в Москву на пленум правления Союза. Я не была не только членом правления, но даже членом Союза писателей, но в Перми считали меня писателем и хотели, чтобы на пленуме был их представитель, и хотя меня смущал такой оборот событий, но я поехала.

Я исправно ходила на заседания пленума и впервые увидела там многих писателей, имена которых знала по книгам и газетам, в том числе О. Берггольц, С. Кирсанова, А. Прокофьева. Берггольц была очень хороша собою — тоненькая, в черном платье, с головкой золотой, как подсолнечник. Из знакомых я встретила на пленуме Ю. Юзовского, которого помнила с ростовских времен, В. К. Кетлинскую. Я тогда не знала и не могла знать

взаимоотношений этих людей, и кое-что меня немало удивило, например то, что Прокофьев в своем выступлении бранил «Февральский дневник» Ольги Берггольц, очень нравившийся мне: по тогдашним моим понятиям, поэту выступать так резко против поэта было нехорошо. Прокофьеву много хлопали, это меня огорчило. Но потом на трибуну поднялась Берггольц и, тряхнув своей подсолнечной головкой, сказала:

— Я не буду отвечать товарищу Прокофьеву, я прочту отрывок из поэмы.

И прочла кусок, начинающийся словами: «И на Литейном был один источник», — и как прочла!..

Когда она произнесла последние строчки: «Год Ленинграда, год его зимы, год сталинградского единоборства» — рухнули такие аплодисменты, что казалось — сейчас обвалится потолок. Стало ясно, что победа эта и не была бы столь явной, не выступи Прокофьев против ее поэмы.

Слушала я и выступление Кирсанова и волею случая устроила ему в те дни приятный сюрприз. Вот как это было. В перерыве между двумя заседаниями я прохаживалась по улице Воровского, вдруг вижу — идет Кирсанов. Подошел и спрашивает:

— Не скажете ли вы, как отсюда пройти в Борисоглебский переулок?

В руке у него были цветы, и вид он имел именинный. Я ответила:

— Как же, товарищ Кирсанов, вот сюда, потом направо.

— Вы меня знаете? — удивился он.

Не понимаю, что меня толкнуло, но я сказала:

— Еще бы, товарищ Кирсанов, кто же вас не знает, — и по мгновенно просиявшему его лицу увидела, как приятно было ему это услышать.

«Интересно, зачем я соврала?» — подумала я, но не раскаялась в своей лжи. Им, видно, нелегко живется, подумалось, пусть же у них будут минуты счастья.

Заседания происходили в красивом зале, обшитом резным деревом. К висячей галерейке вела узкая лестница. Я сидела на ступеньке лестницы. Подсел Юзовский, поговорили о Ростове. Какие-то незнакомые люди подходили, интересовались, откуда я, что написала.

Да, на пленуме было для меня интересно и приятно, но пленум кончился, и я вернулась в Пермь — на Артиллерийскую улицу к детям, на улицу Ленина в издательство.

41. «Спутники»

В Перми я начала писать роман «Кружилиха». Сейчас мне представляется, что я начала его писать с того момента, как сошла с поезда в заводском поселке, описанном в «Кружилихе», поднялась по обледенелой лесенке, прилаженной к скату, и вышла на широкую, как шлях степной, снежную улицу. Далеко-далеко друг против друга стояли пятиэтажные дома, неогороженные, ничем не обсаженные, просвистанные ветром. Необъятный закат разливался над этой улицей, где трамвай казался не больше спичечного коробка. Дальше пошли старые постройки, бревенчатые срубы, многие — поставленные еще в прошлом веке; дерево построек почерневшее, суровое; словно углем на белой бумаге нарисован поселок.

Так вернулся с войны мой сержант Лукашин. Взошел по этой лесенке и постучался в один из старых домов. А потом поселился в новом, у жены своей Марийки. Я люблю сержанта Лукашина, хоть он и пришел с войны без орденов. Без орденов и с семью нашивками за ранения — это бывает, и на войне бывает, и в литературе. Никто из критиков меня за него не похвалил, но я думаю, что правильно написала сержанта Лукашина — его чистоту, доброту, бессребренность и спокойную, негромкую отвагу. В схватке Листопада с Уздечкиным все время рядом присутствует Лукашин и, не вмешиваясь в спор, напоминает: «Товарищи, товарищи, существую и я!»

Я приезжала в поселок и на завод по поручениям редакции, и постепенно мой роман заселялся, его герои размещались в этих домах, обретали плоть, голос, судьбу. И хотя я уже писала что-то на своем веку, здесь впервые узнала, как трудна писательская работа и как она сладостна. Десятки раз переписывала каждую фразу, стремясь, чтоб изображение было точным. В поисках выразительности меняла конструкции, сочетания, столкновения частей. Удивительная радость в этих кропотливых, бесконечных, никогда сполна не удовлетворяющих стараниях… Роман был уже наполовину написан. Но тут Пермское отделение Союза советских писателей командировало меня в военно-санитарный поезд № 312.

В один декабрьский вечер 44-го года я пришла в редакцию областной газеты «Звезда», и мне сказали:

— Вас искал Михайлов.

Борис Николаевич Михайлов, поэт и работник «Звезды», был секретарем областного отделения Союза писателей. Я пошла к нему.

В его большом кабинете горела только лампа на столе, а глубина комнаты была не освещена, и в одном из полутемных углов сидели два человека в шинелях.

— У товарищей к вам дело, — сказал Борис Николаевич.

Сидевшие в углу встали и подошли. Это были мужчина и женщина. В офицерских шинелях они выглядели монументально. При дальнейшем рассмотрении женщина оказалась старшим лейтенантом, мужчина — капитаном.

— Они из санпоезда. Хотят пригласить вас с собой. Мы вам дадим командировку.

Я не поняла. Зачем я санитарному поезду? Мужчина в шинели ободряюще улыбнулся. Блеснул золотой зуб.

— Нам нужно ваше перо, — сказал мужчина. — Мы получили из Главсанупра приказ написать брошюру о деятельности нашего коллектива. Для обмена опытом. И для этой цели нам разрешено пригласить журналиста.

— Вам будет у нас неплохо, — сказала женщина, задумчиво рассматривая мое летнее пальто (на дворе был трескучий мороз).

— Выезжаем завтра, — сказал мужчина. — Остановились на два дня полудить кухонные котлы.

— В общем, решайте, — сказал Борис Николаевич, которому мы мешали писать статью. — Я уже всех опросил, и журналистов и писателей, все отказались, вы последняя. Я говорил, что и вы, по семейным обстоятельствам, вряд ли согласитесь поехать. Но они вот сидели, ждали.

Я согласилась и на другой день — уже смеркалось — пришла со своим маленьким чемоданчиком на станцию Пермь-вторая.

Писал один критик, да и сама я вижу: в том, что я пишу, два мотива повторяются с почти назойливым постоянством — мотив поезда и мотив метели. Думаю, оба они врезались мне в мозг в те военные зимы.

Военные зимы были (или казались?) немилосердно, небывало лютыми. А ездить приходилось почему-то все зимой, тоже в условиях небывалых.

Помню, в жестокий мороз с ветром совсем уже решилась, просидев несколько суток на глухой станции, ехать на открытой платформе и попутчиц своих убедила. Они ужасались, тряслись от стужи и страха, но дали себя убедить. Ни у одной из нас лишнего лоскута не было, чтоб как-нибудь утеплиться, и приехали бы мы, разумеется, замерзшими, но в последний миг спало с меня безумие, я словно проснулась и сказала: «Мы с ума сошли: конечно, не поедем», — и мои попутчицы, уже вознамерившиеся было лезть на эту смертную платформу, заулыбались от радости…

Когда я оглядываюсь на те годы, в моих глазах прежде всего встает снежный вихрь высотой до небес, несущийся над железнодорожными путями, и обшарпанные, обвешанные желтыми сосульками трудяги поезда, с криком пробивающиеся сквозь вихрь. И моя память не в силах отринуть эти картины.

И вот среди точно таких поездов, тесно стоящих на битком забитых задворках Перми-второй, я издали вижу нечто ослепительное, сказочно чистое, яркое и нарядное: вереницу темно-зеленых пассажирских вагонов, на каждом нарисован красный крест на белом фоне, — ну новехонькие вагоны, ну только что с завода! Блестит краска, блестят окна, на окнах занавески дивной забытой белизны, не марлевые — полотняные, не простые — вышитые. Как только все это сверкнуло мне в глаза, я поняла — это тот поезд! Поняла раньше, чем увидела вчерашнего капитана.

Он прохаживался вдоль поезда, поскрипывая по снегу начищенными сапогами. Увидев меня, взглянул на часы — дал понять, что я опоздала. Но не сказал ничего, а повел меня в вагон.

Невдомек было мне, когда я с крохотным чемоданчиком входила в штабной вагон, какую роль в моей судьбе сыграет этот поезд, вернее — люди, к которым я иду. Эти люди жили на колесах уже почти три с половиной года, с первых дней войны собрались они в этом поезде и с честью, непорочно несли свою благородную службу. Поезд был один из лучших в Советском Союзе, и командование решило, что поездной коллектив должен написать брошюру о своей работе — для передачи опыта коллективам других санитарных поездов. Я была направлена им в помощь как профессиональный журналист; я была — перо, которое запишет их рассказы и расположит в должном порядке.

Это было организовано так. Каждое утро ровно в половине девятого в купе, где меня поселили (в вагоне-аптеке; там стоял маленький письменный стол, выкрашенный белой краской, и все купе было белое, вымытое карболкой, и вообще я никогда больше не жила в столь стерильной обстановке — ведь в этом вагоне раненым делали перевязки), — в мое купе начинали приходить работники поезда: сестры, санитарки, рабочие. Они приходили по одному, садились и рассказывали обстоятельно, не торопясь, что было с ними за годы войны в этом госпитале на колесах, и что было до войны, и что они любят, и чего ждут.

Присылал их капитан. Далекий от тонкостей нашей профессии, он с замечательным чутьем устанавливал очередность посещений, так их распределял, что из сочетаний разных повествований, характеров, обликов как бы высекались искры, дополнительно и с новой точки зрения освещавшие

складывавшуюся в моем представлении историю. Вслед за пышной, красивой, звонко хохочущей женщиной появлялся грустный парень, не взятый в действующую армию из-за слабого здоровья. За пожилым бойцом — совсем юная девушка-санитарка, за человеком сдержанным и скромным — самоуверенный и самовлюбленный…

Всем им требовался слушатель. Друг другу они давно все рассказали, а тут свежий человек, молчаливый, внимательный. Не перебивает, не говорит: «А вот у меня тоже», — только слушает. И можно рассказывать час, два, сколько хочешь.

Они смеялись, вспоминая прошлое, плакали, вспоминая о своих погибших. Невесты говорили о женихах, мужья о женах. Некоторые пели мне свои любимые песни и романсы. Санитарному управлению нужно было мое перо, этим людям нужны были мои уши.

Но мне-то в ту пору, в конце 1944-го и начале 1945-го, этот поезд был нужнее, чем я ему, бесконечно нужнее! Все у меня тогда дошло до предела, и прежде всего усталость. Я закружилась в газетной работе, и она уже не давала мне удовлетворения, и другое, что я делала, тоже, в том числе уже начатый роман, вышедший через несколько лет под названием «Кружилиха». Я запуталась и не понимала, что у меня получается, а что не получается, и жила в лихорадочном ритме, в котором нельзя продержаться долго. И то, что мне дали — вдруг! — успокоиться, оглядеться, что-то решить для себя и о себе, — было великим благодеянием жизни.

Кто его знает, может, я и существую до сих пор потому, что 312-му санпоезду понадобилось полудить котлы, и сделать это по каким-то причинам пришлось в Перми, а не в другом городе, и как раз подоспел благословенный приказ Главсанупра о благословенной брошюре, и две фигуры в шинелях возникли в кабинете Бориса Николаевича.

И я вплотную соприкоснулась с миром, до тех пор мне незнакомым, оказавшимся странно созвучным мне и давшим могучий толчок моей застоявшейся работе. В хаосе рассказов, песен, слез зарождалась книга о подвиге любви и милосердия.

Долго ехали мы порожняком до Двинска. Там приняли раненых и повезли в Рязань. Настали дни горячие — не до разговоров. Но потом мы опять поехали за ранеными, и возобновилось то, что капитан называл подготовкой материала, — поток повествований и признаний. Я отбирала из них, что годилось в брошюру. Мне хотелось сделать ее хорошо. Но тут у нас с капитаном обнаружилось полное несходство понятий, что такое хорошо и что такое плохо.

— Иван Алексеевич, — сказала я, — давайте знаете какую сделаем книжку: я запишу, что мне рассказывают, их словами запишу — вот рассказ санитарки, вот рассказ врача, бойца, медсестры, — и будут слышны голоса живых людей, их интонации, и книжку будут читать везде, а не только в Главсанупре.

Но Иван Алексеевич посмотрел на меня строго и велел, чтоб была брошюра как брошюра.

— Учтите, — сказал он, — сколько инстанций будет ее утверждать: командование поезда, партийное собрание части, общее собрание части, РЭП и, наконец, Главсанупр. Это не шутки.

И дал мне печатные образцы, которым я должна была следовать.

Я хотела угодить всем инстанциям и очень старалась, но у меня не выходило по образцам. Это огорчало Ивана Алексеевича. Особенно ему не нравились мои, по его словам, слишком короткие фразы. Он брал перо и удлинял их, переделывая точки в запятые. Над некоторыми запятыми, подумав, вставлял: «Исходя из чего» или: «Вследствие чего».

А я по ночам начала писать повесть о санитарном поезде.

Об этом самом? И да и нет.

Инстанции тут были ни при чем, и я населяла мой поезд кем хотела. Женщинами и мужчинами, встреченными когда-то, где-то. Они приходили по моему выбору и зову, в этих вагонах разыгрывались их драмы. И право же, они чувствовали себя здесь как дома.

По-разному может возникать писательский замысел.

Часто в его основе лежит некое пронзительное впечатление, оно дает первоначальный толчок, на него (иногда многими годами) напластываются другие впечатления, встречи, мысли, прочитанные книги. Причем все тянется к основоположному, обжегшему тебя впечатлению.

Это не просто накапливается — происходят своего рода «химические» процессы, от соединения простейших элементов рождается новое, часто неожиданное.

Иногда тот же процесс происходит, так сказать, наизнанку. Судьбы, характеры, детали откладываются в кладовых памяти и хранятся нереализованные, нетронутые. И лежать им без движения, глухо тревожа и обременяя душу, пока не блеснет, родившись от нового живого впечатления, оплодотворяющая мысль, которая оживит и объединит это разрозненное хозяйство. К этому магниту рванется все, что накоплено в закромах, и хозяин — писатель — гляди в оба, чтоб не налетело излишнее, к делу не идущее.

Так написались «Спутники».

Я писала их потихоньку от Ивана Алексеевича, потому что он сердился.

Раза два заставал меня за этим занятием, спрашивал сухо:

— Вы что пишете? Почему не брошюру?

Я признавала: служба есть служба. Не для того я тут, чтобы сочинять повести. Но было выше моих сил не писать то, что хочется. Кроме того, мой сугубо штатский организм возмущался при мысли, что брошюре должны быть посвящены двадцать четыре часа в сутки. Я считала, что если урываю несколько часов от своего ночного сна, то до этого никому нет дела. Иван Алексеевич терпеливо убеждал меня, что я не права.

На этой почве у меня, человека непугливого, был момент настоящего испуга, леденящего кровь.

Это было по пути к Варшаве. С медленностью неимоверной — пешеход мог обогнать его шутя — поезд тащился среди великолепных лесов, утонувших в снегу. Немцев тут уже не было, и наши части прочищали леса от бандитов, которых, по словам встречных красноармейцев, было хоть пруд пруди.

И вот сижу глубокой ночью за своим столиком и пишу о комиссаре Данилове, как он накрыл Кравцова и других за картами и пьянкой, а поезд тащится еле-еле, так что даже не погромыхивает неплотно прикрытая дверь купе, а в вагоне-аптеке ночная тишина, ни души, кроме меня, как вдруг, продолжая писать, краем глаза вижу: дверная щель расширяется. Слежу — так и есть: расширяется — тихо-тихо, и — вот где испуг — в темной щели, на высоте человеческого роста, глаз блестит! Слежу, затаив дыхание, и вижу фигуру в чем-то темном, длинном и нахлобученную шапку, и вдруг дверь рывком настежь, и знакомый суровый голос:

— Опять не брошюру пишете?

— Ну вас, капитан, — говорю я, вытирая пот со лба.

Оказывается, шел проверить, хорошо ли закрыты вагоны. Чтобы на ходу не вскочил невзначай кто не надо. Шел, видит — у прикомандированного журналиста свет в купе. Эх, опять не делом занят журналист…

Сердился он зря: брошюру мы написали довольно быстро и по всем правилам брошюрного искусства. В феврале 1945 года она была утверждена поездными инстанциями, и я высадилась в Москве, сердечно распрощавшись со своими спутниками.

На брошюре стояло имя начальника поезда. Забегая вперед, скажу, что света она не увидела; пока ее утверждали последующие инстанции, война кончилась и санитарные поезда стали расформировываться.

Но ее перепечатали на машинке на отличной бумаге, снабдили множеством фотоснимков и переплели в красный бархат. К ней даже приделана в виде закладки лента с золотой кистью. Ни одна моя книга никогда не будет так роскошно оформлена… В таком виде брошюра и пошла в Музей санитарной обороны вместе с двумя образцово-показательными вагонами ВСП-312…

— Ну, а все-таки, — спрашивают иногда читатели, — были же в поезде люди, изображенные в «Спутниках», — Данилов, доктор Белов, Юлия Дмитриевна, Фаина и другие, не целиком же вы их выдумали?

Читатель заметит сходство между Иваном Егоровичем Даниловым и Иваном Алексеевичем Порохиным, описанным в этом очерке.

Деятельность Данилова — подлинная деятельность Порохина. Много сходных черт в их наружности и биографии. Но многое у Данилова и от других прототипов, не от Порохина. Например, его отношения с женой.

То же можно сказать об остальных героях повести.

Майор Даничев, начальник поезда, был старый ленинградский врач, интеллигентный, мягкий. Я сохранила эти черты в облике Белова, но собственно характер Белова, а также его семейная история Даничеву не принадлежат. Семья доктора Даничева в блокаде уцелела, и я ее не знаю. Сонечка, Ляля, Игорь пришли из других семей.

Гибель Сонечки и Ляли — типический сюжет блокадной трагедии.

Была в поезде превосходная хирургическая сестра — ее работу я описала в повести, — но она была гораздо моложе Юлии Дмитриевны, приветливая, приятной наружности, ни лицом, ни судьбой не схожая с Юлией Дмитриевной.

Из женщин ближе всех к своему поездному прототипу сестра Фаина. Только кончая повесть, я пожалела, что такая отличная женщина уходит из нее неустроенной, и я ее выдала замуж за монтера Низвецкого.

А вот кого, например, начисто не было в ВСП-312, чьей даже тени там не мелькало, — это доктора Супругова. На его месте была милая, тихая, серьезная Татьяна Михайловна Дьячкова, которая тогда приходила по мою душу в редакцию «Звезды» вместе с Иваном Алексеевичем. (Кстати, монументальной она выглядела только в шинели — худенькая была и хрупкая.)

Девятому вагону в «Спутниках» уделено много страниц. Это вагон-аптека, где в дни псковского боевого крещения делали операции, где безраздельно царила Юлия Дмитриевна, где Васька

лежала под пальмой и определяла свой жизненный путь.

Перевязочная с пальмами и зеркалами была в одном конце вагона, в другом находилась маленькая аптека, с прорезанным в двери окошечком, а рядом с аптекой — на месте обычного проводницкого — мое купе со спальной полкой в глубине, двумя стульями и маленьким письменным столом.

Этой чистоте как нельзя лучше соответствовал общий дух поездного бытия: дух благопристойности. Я там не слышала крика, перебранки, разнузданных речей. Все ходили занятые делом, полные достоинства. Друг к другу относились уважительно! Друзья мои, как это было прекрасно, благородно и целебно. И так может быть, в сущности, в любом месте, если люди захотят…

Жить, как здесь жили, — совершенно не то что просто ехать по железной дороге, хотя бы очень долго.

Пусть длинное и трудное предстоит вам путешествие, но вы едете по определенному маршруту, в известный день и час прибудете туда-то. Вы планируете дальнейшие ваши поступки и отсчитываете дни, оставшиеся до приезда.

Здесь маршрут может измениться в любое мгновение, и сколько месяцев и лет (о днях вообще нет разговора) продлится ваша поездка — не знает никто, и время ускользает, как почва из-под ног. Очень это выматывает — этак болтаться во времени и пространстве.

После многодневного изнурительно медленного хода, когда у людей тускнеют глаза и самые стойкие готовы «запсиховать», поезд вдруг помчался со скоростью «Красной стрелы». Вы воспряли духом, вы осчастливлены бодрым перестуком колес, чувствуете себя наконец участником действий, событий! Но через час, полтора, четверть часа все так же внезапно кончается: вас останавливают на бегу и задвигают на какой-нибудь двадцать седьмой путь, между калеченными составами, или отводят на заброшенную ветку, где даже калеченых составов нет, только снежок метет в чистом поле, — и стойте там столько суток, сколько положат неведомые диспетчеры.

А одну ночь, помню, мы кружили вокруг Москвы. Колеса тарахтели усердно, и паровоз так кричал, словно мы куда-то спешили, ужасно боясь опоздать. А нас попросту некуда было поставить и нельзя было двинуть дальше, пока дорога не разгрузится. Вот мы и носились по кругу. Мимо нас пролетали синие лампочки, приземистые железнодорожные постройки, самодельные плакаты у входов в кино и клубы, а больше всего — поезда, бесконечные, неосвещенные поезда, либо грохочущие нам навстречу, либо немо стоящие на снежной земле.

Люди, с которыми свела меня судьба, жили так более трех лет.

Человек, с одной стороны, всегда куда-то едущий, с другой — всегда прикованный к месту, не принадлежащий себе, теряющий ощущение времени, такой человек немалые должен делать усилия, чтобы не потерять равновесия.

Выручал его труд.

Мои спутники сами ремонтировали свои вагоны, потому и ходил ВСП-312 красавцем и щеголем.

Они делали из консервных жестянок кружки и сбывали в сельпо и городские торги, а на вырученные деньги разукрасили вагоны для раненых ковровыми дорожками и шезлонгами. Посчитайте, сколько надо сделать кружек, если за штуку торги платили десять — пятнадцать копеек тогдашними деньгами.

Не буду перечислять их занятия, они описаны в «Спутниках», повторяться скучно. Скажу только, что «психовать» людям было некогда, а также — что главная заслуга в этом принадлежала капитану Порохину Ивану Алексеевичу, который был не только парторгом, но и душой поезда.

Речь шла, понятно, о порожних рейсах. Во время груженых, когда поезд вез раненых из прифронтовой полосы в тыловые госпитали, все было по другому. Но эти дни напряжения всех сил пролетали так быстро по сравнению с днями ожидания. Поезд с ранеными не задвигали на запасные пути, он шел и шел… Впрочем, описано и это.

Когда я пришла, поезд начинал свой очередной порожний рейс.

Для меня эта командировка (я провела в поезде четыре рейса: два порожних — когда мы ехали за ранеными в Двинск и Червонный Бор, и два груженых — когда мы отвозили раненых в тыл), это пребывание в удивительном коллективе ВСП-312 имело то значение, что тут я окончательно поняла: я буду писателем, потому что не могу им не быть, не могу не рассказать о жизненном подвиге этих людей. Расскажу так, как вижу и понимаю. Это и будет посильный вклад мой — и в литературу, и в жизнь.

* * *

Едучи на пленум, я взяла с собой уже законченную (только что) первую часть «Санитарного поезда» (так первоначально я назвала «Спутников»). Написанное, казалось мне, уже не стыдно показать людям.

В областной комиссии взяли мою рукопись и назначили день обсуждения. Вместе со мной должен был обсуждаться В. Овечкин, только что с большим успехом напечатавший в журнале «Знамя» свою повесть «С фронтовым приветом».

Кроме прозы я дала на обсуждение две пьесы — «Старую Москву» и «Метелицу». Меня очень обрадовало, что в числе лиц, долженствовавших участвовать в обсуждении, значилась А. Я. Бруштейн. Я думала: «Она меня защитит», — не догадывалась, что защищать будет не от кого.

Помню, с каким трепетом шла я на это обсуждение. Оно началось с драматургии. К моему удивлению, высказавшиеся бранили мою «Старую Москву» за литературщину, а «Метелицу» хвалили.

Кто-то сказал: «Видимо, у автора не было бумаги, и он на другой стороне листов „Метелицы“ начал писать прозу, я прочел, это очень интересно», — так открылось обсуждение «Санитарного поезда».

Мне постепенно становилось все более неловко, когда на меня вдруг буквально хлынул град похвал. Бедная «Семья Пирожковых», хоть тоже была щедро хвалима, совершенно померкла в блеске этих похвал.

Критик Л. М. Суббоцкий, принимавший участие в обсуждении, сказал, что он покажет эту повесть (собственно, первую ее часть) редколлегии «Знамени», потом я узнала, что он был членом этой редколлегии. Он сдержал обещание — через несколько дней эта первая часть была прочитана Всеволодом Вишневским (главным редактором), Н. Тихоновым и А. К. Тарасенковым, заместителем Вишневского.

В областной комиссии мне сказали, чтобы я зашла в редакцию «Знамени» к Тарасенкову. Я пошла, конечно, сейчас же. Редакция представляла тогда ряд крохотных фанерных комнатушек, похожих на птичник, где чирикали разные дамы. Они, как и Тарасенков, встретили меня отменно любезно, называя по имени-отчеству, и передали мне записку от Вишневского. Записка эта представляла собой лестную рекомендацию в Союз писателей.

Тарасенков тоже очень лестно отозвался о моем «Санитарном поезде», но сказал, что дал прочесть рукопись еще одному человеку, вкусу которого он доверяет абсолютно. Он назвал имя Софьи Дмитриевны Разумовской, дал ее телефон и просил нынче же вечером ей позвонить.

Я позвонила и услышала милый щебечущий голос, говоривший самые приятные слова.

На мой вопрос о договоре с журналом Софья Дмитриевна

ответила, что считает это дело безусловно решенным и что она будет моим редактором.

Действительно, все пошло на первых порах как по маслу. Со мной подписали договор, я побывала у Н. С. Тихонова и приняла его совет дать повести другое, менее скучное название, только еще не могла придумать какое.

Оставалось возвращаться в Пермь и заканчивать повесть, ее надлежало сдать в октябре уже целиком, до последней точки.

Заканчивала я повесть возле кипящего самовара бабушки Андреевны, на редакционных столах в «Сталинской путевке». Мне и хотелось скорее закончить эту работу, и жутко было — вдруг она окажется плохой и никто ее не напечатает. Хотя сознаюсь по совести: то, что я писала, мне нравилось. А я уже догадывалась, что если писателю нравится написанное им, то понравится оно и читателям. Наоборот, то, что сам автор признает неинтересным, читателю ни за что не понравится; более того, автор не имеет нравственного права предлагать читателям то, что не нравится ему, автору.

Начиная со «Спутников», еще в разгаре работы я сокращала рукопись, без жалости выбрасывая целые куски, если они казались мне неудачными. Выбрасывала из рукописи, после перепечатки, из машинописного текста, потом при правке корректур. Такие сокращения я считаю весьма плодотворными, без них, мне кажется, просто нельзя. То, что остается после этих вымарываний, и есть наилучший вариант.

Писала я «Спутников» в общей сложности около восьми месяцев, одновременно продолжая работать в газетах и на радио. Ни одна моя книга не писалась так счастливо и легко.

В начале октября 1945 года я поставила в рукописи последнюю точку и поехала в Москву сдавать повесть «Знамени».

С волнением входила я в знакомые фанерные коробочки, где помещалась редакция. Все мои знакомые были на своих местах и встретили меня еще приветливее, чем прежде, — видимо, то, что работа сделана к сроку, повысило симпатию и доверие к безвестному автору. А. К. Тарасенков так и начал свою внутреннюю рецензию: «Мы не ошиблись, поверив, что повесть будет хорошая». Конечно, у редакции нашлись и замечания, и требования к рукописи. Моим редактором была милая Софья Дмитриевна Разумовская, с которой с тех пор я связана задушевной дружбой. Дружба, правда, родилась не сразу. Сперва мы несколько раз подолгу сидели с Софьей Дмитриевной в ее крошечной уютной квартирке в Дмитровском переулке. Ее работа была очень своеобразна и очень полезна для начинающего автора. Она показывала на какой-нибудь эпитет и говорила: «не так» или:

«невкусно», и, как ни странно, я тотчас ее понимала. Иногда кончик ее карандаша указывал на мои языковые промахи, это тоже было очень для меня важно, ведь я говорила (значит, сплошь да рядом и писала) на южном жаргоне, кишевшем неправильностями. Хочу оговориться, что столь дружественной была лишь наша совместная работа над «Спутниками», уже за рукописью «Кружилихи» я стала очень нетерпимой к любому редакторскому вмешательству, для меня стало важней всего мое собственное, авторское отношение, и, словно поощряя меня в этом, судьба с тех пор посылала мне редакторов столь снисходительных, столь готовых во всем со мной согласиться, что я их совершенно не чувствовала, словно их и не было. Исключение представлял один лишь А. Т. Твардовский, но это уж особь статья, для меня это был не редактор, а старший товарищ, взгляду и вкусу которого я верила больше, чем своим собственным.

В «Знамени» я, конечно, бывала ежедневно — уже не могла жить вне этой среды, без этих людей и их интересов.

Однажды, идя из редакции, я встретила на Старой площади моего Данилова — Ивана Алексеевича Порохина, парторга санпоезда, описанного в «Спутниках». Я издали узнала его рослую фигуру в длинной шинели. Мы спросили почти одновременно:

— Вы как тут?

— Я, — сказал он, — сдаю мой поезд. Здесь, на Белорусском вокзале. Уже все почти сдал, четыре вагона осталось. А сейчас иду из ЦК. А вы?

— А я написала повесть о вашем поезде, она будет напечатана в журнале «Знамя».

— Ну да, — сказал Иван Алексеевич, и видно было, что он мне не верит ни на копейку.

— Иван Алексеевич! — сказала я. — Редакция тут, за углом, зайдемте. Они вам рады будут: они о вас прочли, а теперь увидят воочию.

Иван Алексеевич поверил и пошел со мной.

Когда я сказала: «Вот пришел комиссар Данилов», — из всех трех фанерных клетушек, где помещалась редакция, сбежались люди на него поглядеть и пожать ему руку. И жали и глядели они так, что Иван Алексеевич был тронут и всех пригласил на завтра на Белорусский вокзал в штабной вагон ВСП-312 на прощальный обед, где работники поезда в последний раз собирались вместе перед расставаньем.

«Знаменцы» на приглашение откликнулись дружно. И поезд блеснул напоследок! В штабном вагоне были сняты переборки между несколькими купе, поставлен длинный стол и со всей

знакомой мне стерильной чистотой и благоприличием был сервирован обед.

Уже мало людей оставалось в поезде: доктор Татьяна Михайловна, да две-три медсестры, да столько же проводников — вот, кажется, и все… Мы поздравили друг друга с тем, что это кончилось, и у всех у нас слезы были на глазах.

Обед был плотный до чрезмерности, но совершенно необычный. Накануне зарезали последнего откормленного кабанчика, а кроме него, у радушных хозяев почти ничего не было. И потому свинина была на первое, и свинина на второе, и на третье, и во всех подаваемых блюдах — а их было много наличествовала свинина, но так как был 1945 год и карточная система, то гости всем блюдам воздали должное и остались очень довольны.

Зато неважно было с выпивкой. Иван Алексеевич всегда относился к ней неодобрительно. И тут на столе фигурировала всего лишь одна бутылка, и та неполная, какой-то непонятной коричневой настойки, которую он сам всем наливал понемножку (чтоб не перепились) в стеклянные медицинские банки. Пахла настойка чем-то вроде нашатырно-анисовых капель. Но мы все равно с удовольствием чокались и пели хором.

Больше двадцати пяти лет прошло с тех пор. Но я благодарна судьбе за то, что она тогда взяла меня и бросила в тот поезд, к тем людям.

«Спутники» были напечатаны в 1946 году. С ними пришел ко мне большой литературный успех и начался новый период моей жизни, связанный с непрестанной, не прекращающейся ни на один день, напряженной литературной работой в различных жанрах.

42. Как складывают из кубиков

Весной 1947 года в Комарове под Ленинградом я вплотную принялась за «Кружилиху», начатую еще в Перми, до поездки в санпоезде.

Рано утром я выносила столик в сад и писала, пока не немела рука. Там, в саду, была написана большая часть романа, правда, беспорядочно, это была просто стопка отдельных эпизодов. Пермь уже стала затушевываться в воспоминании, мне захотелось еще повидать ее заводы, людей, улицы, я решила поехать туда. Мама чувствовала себя получше, надо было и ее забирать в Ленинград.

И вот я опять была в Перми, в милых местах, столько мне давших. На этот раз я одна жила в гостинице «семиэтажке», в приличном номере, где был даже телефон. Сев на пол, я взяла рукопись «Кружилихи» и стала раскладывать ее, как пасьянс. Из кусочков складывала главы, тут же заполняла пробелы. Заметила, что часто при ином расположении кусочков, при иных стыках между ними возникают новые неожиданные интонации, усиливается впечатление.

Узнав о моей новой работе, мои друзья журналисты и литераторы выразили желание послушать ее. Я прочла им несколько глав, и они одобрили их.

С заводов приходили ко мне люди, рассказывали много интересного, что пригодилось при описании Кружилихи. Я с утра до вечера ходила по городу, впитывая его пейзажи, заходя в разные места, которых раньше не знала.

В Перми, в «семиэтажке», застало меня сообщение о присуждении мне Государственной премии первой степени за «Спутников». Вечером позвонила мне Л. С. Римская и сказала, что постановление будет передано по радио завтра утром. Утром, встав, я села у репродуктора. Не успел он произнести мою фамилию, как раздался телефонный звонок. Это Л. Л. Арбенева хотела первою меня поздравить. Затем в течение всего дня без перерыва шли звонки и телеграммы. Лучшая телеграмма была от Бори и Юры: «Грузите велосипеды бочками, братья Карамазовы». Дело в том, что я обещала мальчикам, в случае если получу премию, купить им по велосипеду, и они мне об этом напомнили, пародируя телеграмму Остапа Бендера к миллионеру Корейко.

Вечером того дня мы с Л. С. Римской и С. М. Гинцем скромно поужинали втроем в ресторане, чтобы отметить событие. Следующие дни до отъезда прошли в доработке «Кружилихи».

В Ленинград я вернулась в августе вместе с мамой. Она сначала жила на даче в Разливе, потом переехала в Дом

творчества в Комарово. К несчастью, дни ее были уже сочтены…

По пути, в Москве, было приятное происшествие. Я зашла в Союз писателей, и там мне без всяких с моей стороны просьб вдруг дали книжку на промтовары. Я пошла в универмаг и по талону купила маме отличную шубку.

В Ленинграде же, получив премию, первым долгом купила ребятам велосипеды. А кроме них обувь, штаны и все, в чем они столько лет так нуждались. Какое было удовольствие покупать все это!

Но вернусь к «Кружилихе».

В свое время, после первого успеха «Спутников», журнал «Знамя» предложил мне договор на новое мое произведение. Я договор подписала. Теперь, закончив роман, надо было везти его в «Знамя».

Я застала там перемены: вместо Тарасенкова заместителем редактора был С. И. Вашенцев, не было завредакцией Любови Иосифовны, но все же это была знакомая, безгранично доброжелательная редакция, я вошла в нее уверенно и радостно.

Вашенцев принял от меня рукопись и сказал, что о дальнейшем мне сообщат. Он позвонил в тот же день и сообщил, что Тарасенков уже прочел мой роман, а теперь читает Вишневский.

Я жила в тот раз в какой-то комнатке, куда устроил меня Союз, быстро устала от Москвы и мечтала, чтобы скорее определилась судьба романа.

И довольно скоро меня позвали в редакцию к Вишневскому. Он сидел за своим столом у большого окна, встретил меня приветливо, пригласил сесть, но далее разговор принял пренеожиданный и пренеприятный оборот — он накинулся на меня с упреками.

— Как! — воскликнул он экспансивно. — Это советский директор?! Что он у вас говорит, не хочется повторять! — Имелся в виду, конечно, Листопад. Какие он у вас совершает поступки! Впрочем, я прочту еще раз. Там есть кое-что — эта милая старушка, жена главного конструктора, эта интеллигентка Нонна, эта мать Листопада. Вы одаренный человек, но, к сожалению, не обо всем мыслите правильно. В общем, подождите, пока я прочту еще раз. Я дам вам ответ в пятницу, приходите утром. Впрочем, приходите лучше в четверг, пятницу моряки считают тяжелым днем, — завершил он кокетливо.

И вернулся к упрекам, обвиняя на этот раз в том, что я описала Листопада и Уздечкина как антагонистов, тогда как коммунисты должны уметь находить общий язык. Он явно не понимал моего замысла и пытался навязать мне нечто свое. Я уже

восставала против этого всем сердцем, как вдруг увидела, что он… плачет! Да, он отошел к окну и краем занавески утирает подлинные слезы — я поняла, что он, во всяком случае, бесконечно искренен, доверие мое к нему восстановилось мгновенно, ни до, ни после этого я не видела плачущего редактора.

Во время этого разговора попеременно открывались две двери кабинета, встревоженные лица сотрудников заглядывали и исчезали, когда Вишневский махал на них рукой.

В четверг я опять пришла и опять сидела перед моим судьей, а он говорил:

— Первого сентября мы должны по графику сдавать номер в набор. Мы можем задержать сдачу до второго сентября, в самом крайнем случае до пятого. Если вы к этому дню успеете внести поправки…

Я собиралась ответить, но звякнул английский замок в двери, и быстро вошел Вашенцев.

— Да, да, — заговорил он. — Самое позднее мы сдаем номер в типографию пятого, по графику должны сдавать первого, после пятого ни одного дня не можем тянуть.

— Сергей Иванович, — сказала я. — Вы же слышали предыдущий разговор какое тут может быть пятое, а тем более первое, ведь в романе не остается камня на камне, его надо писать заново, с самого начала.

Я говорила, а Вашенцев как-то странно махал мне рукой. Потом он сказал:

— Все зависит от вас. Если вы управитесь до пятого…

— Да! — сказал Вишневский. — Надо непременно управиться до пятого.

— Зайдите ко мне, Вера Федоровна, — сказал Вашенцев.

И в его крохотном кабинетике мы договорились мгновенно: я напишу сцену дружественной беседы между Листопадом и Уздечкиным (эта беседа написана и находится в главе «Ночью») да еще переделаю название романа. Он был назван первоначально «Люди добрые», Вашенцев посоветовал название «Кружилиха».

— Может быть, «Люди Кружилихи», — усомнилась я.

— Нет, — сказал он. — «Кружилиха» — это будет хорошо.

Мне тоже вдруг показалось, что это будет хорошо, что помимо названия завода это слово передает взвихренность, стремительность нашего переходного бытия. Я согласилась.

— Но Вишневскому не нравится, — сказала я.

— Что вы, — сказал Сергей Иванович. — Если бы не нравилось, разве он так бы говорил с вами?

И я почувствовала, что он прав. И, бодро вернувшись домой, стала сочинять разговор Листопада с Уздечкиным.

В тот же день случилось еще одно приятное. Позвонил А. К. Тарасенков, сказал, что романом заинтересовался «Новый мир» и редактор его К. М. Симонов, которому Тарасенков дал прочитать мою рукопись, хочет со мной повидаться.

Вечером позвонил сам Симонов и прислал за мною машину, и я поехала в «Новый мир».

Первый раз я тогда увидела Симонова, и очень он мне понравился. Понравилось не только то, что он похвалил «Кружилиху» и предложил передать ее «Новому миру». Понравилась и общая его приветливость к людям. И непринужденность в обращении — он сидел в редакции в рубашке с засученными рукавами, без пиджака и без галстука.

Рукопись я, однако, отказалась забрать от «Знамени» — у меня ведь для этого не было никаких оснований.

Через два-три дня я душевно простилась со «Знаменем», причем Вишневский назвал меня «большим и светлым талантом», и поехала в Ленинград.

С нетерпением ждала я одиннадцатого номера «Знамени», где должна была появиться «Кружилиха». Что ж, пришел и этот день.

Пришел и другой, когда «Литературная газета» открыла на своих страницах дискуссию о моем романе.

Сразу ясно было, что задача дискуссии — разгромить «Кружилиху». Большинство участников дискуссии обвиняло меня во всевозможных грехах и промахах. Повторялись все обвинения Вишневского. Много писалось дельного, но были и глупости вроде того, зачем-де Листопад не ходил с женой в театр.

А за этим потянулись разные библиотечные кружки — они готовили читательские конференции, посвященные разгрому «Кружилихи», со всех сторон меня стали звать на эти конференции. Я не шла, полагая, что через какое-то время устроители конференций скажут мне спасибо за то, что я не пошла. Помню, как усердно звала меня заведующая библиотекой завода «Электросила», заманивая тем, что они подготовили очень полезные для меня читательские выступления. Я уже кое-что понимала в этих делах.

В те же дни я получила несколько анонимных писем. Неизвестные доброхоты посылали мне вырезку из «Крокодила» — пародию А. Раскина на «Кружилиху».

Все это закончилось, когда в газете «Культура и жизнь» появилась статья в защиту «Кружилихи». Мой роман не дали уничтожить. Он вышел отдельным изданием в издательстве «Советский писатель». Далее он переиздавался почти так же

много, как «Спутники», потом стал выходить в разных странах.

Но за то время, что он находился в центре внимания дискуссии, на нашу семью обрушилось горе.

Моя бедная мамочка после долгой тяжелой болезни скончалась в Комарове 2 января 1948 года. 4 января мы ее похоронили на Шуваловском кладбище, а 6 января Союз обязал меня быть в Москве на обсуждении «Кружилихи».

Обсуждение происходило в том же зале с красивой деревянной резьбой, где я когда-то была на пленуме. Обсуждение заключалось главным образом в том, что выходили участники дискуссии и на словах повторяли то, что они писали в обвинение роману. Лишь два-три человека решились произнести несколько слов в защиту «Кружилихи». Я видела, как бледный В. А. Каверин под аккомпанемент этих грозных речей вышел из зала. Видела сидевшего у стены Вишневского и ждала, не выступит ли он в защиту романа. Но он не выступил. Когда заседание кончилось, я подошла к нему и глупо сказала:

— Что же вы, Всеволод Витальевич, меня не поддержали?

Он ответил очень резонно:

— Я напечатал ваш роман, что больше я мог для него сделать?

Поддержали другие. Борис Горбатов подошел ко мне и сказал:

— Все равно вы написали роман, который будет жить.

А милая моя Туся Разумовская шепнула мне:

— Вера, я тебе предсказываю премию за «Кружилиху», запомни мое предсказание.

Я ей не поверила, но она оказалась права: Совет Министров присудил мне премию.

После московского обсуждения совершенным сюрпризом было обсуждение в Ленинграде.

Я не хотела его, мне надоело слушать обвинения, порою смехотворные, порою несправедливые, к тому же в Ленинграде все писатели были уже как бы своими, а перед своими быть заушаемой особенно горько; но избежать обсуждения в своем коллективе было нельзя, в назначенный вечер я была в Доме писателя на улице Воинова. В зале и гостиных было много народу, своего и постороннего.

Я сидела у круглого стола, а против меня сидел докладчик — критик Павел Петрович Громов, перед ним лежали листки с тезисами, я смотрела на него и думала: «Что-то ты обо мне сейчас скажешь, Павел Петрович?»

Я тогда была еще заражена предрассудком, утверждавшим, будто Москва всем городам задает тон и если она чему-нибудь

сказала «нет», то по всей стране скажут то же. Другой предрассудок говорил, что один в поле не воин; и то и другое, как я потом познала на опыте, — совершенная неправда: и мнения у людей свои собственные, и высказывают их люди откровенно, и один в поле очень даже воин, если выходит убежденно и бесстрашно.

Тогда же, ослепленная предрассудками, я даже не очень слушала П. П. Громова, когда он заговорил: так я была уверена, что он дудит в ту же дуду, что московские критики, нападавшие на «Кружилиху». И вдруг, вслушавшись, выяснила, что он говорил вовсе даже и не о «Кружилихе», а о «Василии Теркине» Твардовского.

«Что это значит? — подумала я. — Неужели разговор о „Кружилихе“ отменен, а меня об этом даже не известили?»

А Громов внезапно для меня стал сопоставлять Теркина с моим романом и наговорил в адрес романа множество хороших слов, таких хороших, что мне стало ясно — в Ленинграде обсуждение пойдет доброжелательно.

Он понял, что я хотела сказать в «Кружилихе», умница Громов. Он цитировал из романа те самые места, которые процитировала бы я, если бы вздумала защищаться от нападок. Цитировал много, не жалея времени.

Кроме профессора Плоткина, все выступали с похвалами «Кружилихе», в том числе А. Б. Никритина и милый мой М. Э. Козаков. А если нет-нет раздавались отголоски той «дискуссии», то Громов, Л. Левин и Б. Костелянец, усевшись в ряд, с места давали выступавшему дружный и остроумный отпор. Так что обсуждение в Ленинграде не расшатало, а укрепило мои писательские позиции.

Спустя несколько лет, после нападения критиков на мой роман «Времена года», Ю. Герман сказал:

— Панова каждым новым своим произведением делает ставку ва-банк, отсюда ее популярность.

Должна сказать, что ни разу я не делала этой ставки, я просто писала, что мне хотелось и как хотелось, а потом приходили критики и мне же «объясняли», что я хотела этим сказать, как будто они могли заглянуть в мои мысли. Думаю, что и всегда в литературе было так и что отсюда такое нагромождение ложных оценок и дутых репутаций. Думаю, что до сих пор в этой области не сказано ничего более разумного, чем пушкинские слова: «Ты сам свой высший суд». Наиболее справедливо было бы довериться совести самого писателя. Многих литераторов я перевидала — богато одаренных и малоодаренных, неуверенных в себе и безмерно самовлюбленных, но почти не встречала таких, которые

отстаивали бы свои неудачные произведения. Тут есть какая-то точка, за которую ни за что не перейдет уважающий себя человек. Бывали, конечно, исключения, но их мало. Писатель всегда знает, хорошо или худо он написал. И очень редко во имя выгоды он отступит от своих художнических взглядов и назовет черное белым. Те, кто о писателе думает иначе, либо заблуждаются, либо клевещут сознательно.

В романе «Кружилиха» среди многих действующих лиц есть целая группа мальчиков, работающих на производстве.

Впервые я увидела этих мальчиков в железнодорожных мастерских, куда редакция газеты «Сталинская путевка» направила меня за материалом для очерка. Я знала, что ушедших на фронт бойцов заменили на производстве женщины и дети нашей подлинно богатырской Родины, знала, что даже на минном заводе есть юные рабочие, что они не только бесстрашно делают мины, но и возят их по претрудной дороге, пренебрегая опасностью для жизни, так же мужественно, как пренебрегали ею советские воины на фронтах, лицом к лицу с фашистскими танками, под ливнем осколков и пуль.

Все это мы, люди тыла, знали, но тут, в железнодорожных мастерских, я впервые воочию увидела эти худенькие лица, эту мужскую деловую сосредоточенность за работой, эти детские руки в копоти и масле, держащие инструменты. А тут еще мастер, водивший меня от станка к станку, рассказал мне о том, как этим ребятам, его ученикам, попалась откуда-то однажды книга А. Дюма «Граф Монте-Кристо», как они ее читали по очереди, устанавливая очередь жеребьевкой, и до того увлеклись и отвлеклись, что стала страдать трудовая дисциплина и он, мастер Корольков, отобрал у них книгу. И как-то сразу я приняла решение: обязательно ввести в роман «Кружилиха» таких вот юных патриотов и этот эпизод с книгой, и даже родились слова «дети завода», ставшие затем названием одной из глав «Кружилихи». А впоследствии этот мотив юношеского героизма прозвучал и в рассказе моем «Володя», написанном в 1959 году, и в рассказе «Валя», где героиня занимает рабочее место матери, погибшей в первый год Великой Отечественной войны при бомбежке, и в фильме «Вступление», сделанном режиссером Игорем Таланкиным по этим рассказам.

В процессе доработки романа в круг «детей завода» вошли Костя Бережков и передовая юная работница Лидочка. Первого, талантливого рационализатора, я нашла на металлозаводе. Вторая работала на конвейере и давала высочайшие производственные показатели, за которые была награждена кроме всеобщих восторженных похвал орденом «Знак Почета». Именно

по ордену я отличила эту белокурую девочку с длинными локонами, в нарядном светлом платьице. Отличив, стала о ней расспрашивать. К моему удивлению, отзывы о ней были на редкость противоречивы. Одни ей удивлялись, расхваливали, превознося чуть не до небес, другие же, оставляя без внимания и грамоты, и орден, говорили о ее эгоизме, черствости, пренебрежении к людям, работающим хуже, чем она. Из всех этих пылких устных характеристик я и складывала характер Лидочки, за который меня так сурово осудили критики по выходе романа в свет (он был напечатан в журнале «Знамя» в 1947 году).

Критики утверждали, что передовой рабочий не может быть черствым эгоистом и, наоборот, эгоист не может быть передовым рабочим. В Лидочкином случае это еще сложнее, так как черты черствости и даже жестокости она вносит и в свои отношения с обожающим ее хорошим молодым человеком Сашей. Тут мне нечего ответить товарищам критикам, кроме того, что я думаю о моральном существе человека иначе, менее односложно, о чем впоследствии высказалась совершенно откровенно в моей исторической повести «Кто умирает?». И что именно такую Лидочку обрисовали мне в свое время люди из ее коллектива в том живом горячем разговоре, который состоялся тогда у конвейера.

Так как критики подмечают все — такая уж их специальность, — то не обошли они своим вниманием и Костю Бережкова, заработавшего своими рацпредложениями девятнадцать тысяч рублей за один месяц. Критикам почудилось, будто я таким образом во главе рационализаторского дела ставлю личный заработок рационализатора, а я только описала факт, о котором мне рассказали на металлозаводе. И видела этого парня, небольшого ростом физкультурного юношу, с обыкновенными чертами лица и обыкновенной русой прядью, спускавшейся на высокий славный лоб.

Рассказываю об этом так подробно для того, чтобы показать, как складывался этот мой роман — факт к факту, лицо к лицу, так дети складывают картинки из кубиков. Позднее, когда я впервые ознакомилась с произведениями прекрасного немецкого писателя Томаса Манна, я заметила, что таким же способом созданы почти все его романы. Этот способ мне понравился, он дает возможность описывать жизнь во всех ее проявлениях, и с тех пор я все свои вещи, даже совсем маленькие, стала складывать именно так.

Так написана «Кружилиха» не только в целом, но и в большинстве действующих лиц. Я точно знаю, например, как зародился бывший кулак Мартьянов. Я проходила вблизи от

железнодорожного полотна между станциями Пермь-первая и Пермь-вторая и увидела каких-то невзрачных людей, сидевших на рельсах. А затем на заводе мне показали пожилого рабочего и сказали, что он бывший кулак, приехавший в Пермь в 1929 году, с тех пор работает на заводе и совершенно переродился: дисциплинирован и трудолюбив, дружит со старыми кадровыми рабочими и хвалит Советскую власть. При всем том в разговоре оказался любителем острого словца, веселого поворота, дельности и всякого здравого смысла. Его речь, манеру говорить я почти буквально перенимала от него самого. А старый рабочий в романе уже был: старик Веденеев, и я этих двух стариков подружила, и в картинку лег еще один кубик.

Самым трудным персонажем оказалась для меня Нонна Сергеевна, инженер-конструктор, понадобившаяся мне необходимо, так как я и сама не очень люблю романы без женщины, без любви. Эта Нонна бесконечно ускользала от меня. Я не любила техники и не интересовалась ею, и все мои обращения к многочисленным молодым женщинам-конструкторам, при всей интересности сопровождавших эти обращения разговоров, ничего для романа не давали. Именно в поисках этой Нонны (имя было сочинено заранее) я в 1947 году снова поехала в Пермь — возобновить поиски, глядеть и слушать еще и еще. И я нашла! С завода имени Дзержинского ко мне в гостиничный номер пришла милая молодая женщина, очень красивая, с теми чертами лица, которые Тургенев в «Вешних водах» придал своей Джемме. И вот после стольких моих бесплодных исканий эта женщина вдруг села на гостиничную койку, накрытую безобразным шершавым одеялом, и, с первых слов поняв, чего мне от нее надо, удивительно просто и понятно рассказала, как после института пошла работать к главному конструктору завода, человеку знаменитому и избалованному вниманием. Как у нее на работе складывались отношения с начальством и с товарищами, как она чуть не вышла замуж за молодого художника из рабочей семьи, какое разочарование и стыд испытала, когда ее первая работа не была принята рабочими, — словом, все то, из чего я сложила биографию моей Нонны. Не помню фамилии этой милой женщины, посетившей меня по просьбе моих знакомых, знавших о моей незадаче. Помню только ее наружность, и как легко и непринужденно сидела она на койке, сложив руки на согнутом колене, и как доступен для меня, невежды, был ее рассказ о технике ее работы, да еще помню, что звали ее отнюдь не Нонной, как-то совсем иначе, но имя Нонна, часто повторявшееся в романе, стало уже таким привычным, что я не нашла возможности окрестить мою

героиню как-либо иначе. Так она и осталась Нонной и для читателей, и для меня. И даже тогдашний редактор «Знамени» Вишневский, прочитав мою рукопись и говоря со мной о ее героях, сказал о Нонне так:

— Эта ваша Нонна — такая типичная русская интеллигентка, такой бодрящий вихрь — ух! Неудивительно, что она нравится матери Листопада, это ведь, по существу, тот же вихревой характер, о котором сказано: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Должна сознаться откровенно, что из читателей моя Нонна мало кому понравилась, ее гораздо больше ругали, чем одобряли, в письмах ко мне бранили ее за гордость, неуживчивость, почему-то за нечуткость — неужели из-за того, что она не приняла ухаживаний ничтожного Грушевого?! Но к Грушевым не склоняются гордые вихревые характеры. Той, что может на скаку остановить коня, не по пути с Грушевыми.

А мне моя Нонна нравилась, я чувствовала в ней большую притягательную силу.

Незадолго до опубликования «Кружилихи» я пришла по делу в издательство «Советский писатель», мне навстречу из директорского кабинета вышел писатель Борис Горбатов, восклицая: «Говорят, вы написали роман с очень интересными женскими характерами».

А когда все это к концу лета 1947 года было написано и сгруппировано, и уже был найден последний кубик — поездка Листопада в машине вокруг города и метель, и найдена последняя победная фраза Мирзоева: «Приехали, Александр Игнатьевич», — я по старой детской своей привычке разложила на полу стопки исписанных листков и в последний раз стала исправлять рукопись. На этот раз задача была поставлена мною такая: перетасовать эти куски и кусочки романа таким образом, чтобы добиться как можно большего эффекта от столкновений разных кусочков и целых глав. Помнится, три или четыре дня я просидела за этим занятием, очень меня увлекшим.

Заново склеила мозаиковые частички в главах о приключениях Мирзоева в день его встречи с воскресшим комбатом, о потере Уздечкиным казенных денег. Нашла новую концовку для ночного разговора стариков Веденеева и Мартьянова. Придумала рассказ о том, как Толька уходит из семьи, поставить в конце главы «Любовь». Я делала это, и мне эта новая конструкция нравилась. А по своему маленькому, крохотному опыту я уже знала, что произведение непременно должно нравиться автору. Ибо, если оно ему самому не нравится, какое право он имеет преподносить его читателю? Как он

отважится преподносить другим людям то, что отвергает сам? И меня всегда поражает, более того, оскорбляет, если на вопрос о его делах литератор отвечает:

— Да вот написал повестушку, — полагая, что такая скромность его украшает.

А это никакая, на мой взгляд, не скромность, а безответственность по отношению и к самому себе, и к другим людям, и к своей профессии.

Все мы много пишем, братья-писатели. Немногих можно назвать ленивыми. Но из написанного следует публиковать, думается мне, лишь то, относительно чего ты уверен, что хоть нескольким людям оно принесет радость. А в чем не уверен — сунь в ящик, пусть лежит, бог с ним.

Мне хотелось бы заключить эту заметку несколькими словами о романе «Граф Монте-Кристо», которым так увлеклись ребятишки из Пермских железнодорожных мастерских. Не говоря об увлекательных приключениях Эдмона Дантеса, приключениях, от которых у всякого мальчугана непременно закружится голова, этот единственный в своем роде роман пленяет и взрослые сердца ясностью моральной позиции и духом справедливости, которым он напитан. Во многих ли книгах мы встречаем эту принципиальность и непреклонность, с какою в конце романа наказано всякое злодейство и награждено все честное и благородное?

А какое множество исторических, географических и всевозможных иных познаний дает эта книга, которую я, взрослый, зрелый человек, перечитываю каждые два-три года. На мой взгляд, жестоко поступил мастер Корольков, отобрав у ребят эту радость. Я ему об этом сказала тогда напрямик, но он ответил вполне логично:

— Может, оно и так, но дело, товарищ Панова, есть дело, а план есть план.

И мне, что называется, нечем было крыть.

43. «Ясный берег»

После войны я несколько раз обменялась письмами с моим поездным капитаном Порохиным, прототипом Данилова в «Спутниках». Иван Алексеевич писал из Вологды. Какое-то его письмо известило меня о том, что, демобилизовавшись, он вернулся на прежнее место — директора республиканского треста молочных совхозов в Вологде — и живет там же, где жил до войны.

Из другого письма, написанного с какой-то несвойственной для Ивана Алексеевича туманностью, я, подумав, поняла очень огорчившее меня неудовольствие его на меня за то, что в «Спутниках» не названа не только его подлинная фамилия, но даже не указан номер санпоезда, по каковому номеру уважаемые Иваном Алексеевичем соратники его и друзья могли бы понять, что под И. Е. Даниловым автор разумеет его, И. А. Порохина. Я поняла, что обида Ивана Алексеевича праведная, что я по недомыслию допустила нечуткое, небрежное отношение к заслуженному человеку и что, по справедливости, такие вещи в нашем деле недопустимы, должны осуждаться со всей суровостью морального закона.

В письме о тресте совхозов Иван Алексеевич описывал свои совхозы, и какие у него насчет них рисуются планы, и какие он намерен провести улучшения во всех областях хозяйства — куда до этих улучшений тем рационализаторским мероприятиям, которые он проводил в санпоезде! В одном совхозе, в частности, уже строится гидроэлектростанция.

И какие на этой стройке обнаружились народные таланты, и какие трудовые подвиги совершили строители станции. Простодушный и честный голос Ивана Алексеевича звучал в этих строчках, и, понятно, я возликовала, когда вслед за ними прочла, что Иван Алексеевич и другие работники треста приглашают меня приехать в Вологду и осмотреть все описанное выше собственными глазами. И они надеются, что мне у них понравится и что я, может быть, захочу написать книжку, как написала о санпоезде.

Я поняла из этого приглашения, что Иван Алексеевич великодушно прощает мне мою нечуткость, дает мне возможность эту мою ошибку загладить полностью.

И вот села я в темноватый поезд на темноватом ночном вокзале и поехала в Вологду.

Там на перроне меня ждал Иван Алексеевич в шинели без погон, а на вокзальной площади — его директорская «Победа».

Я побоялась попросить, чтобы меня сперва покатали по Вологде: не обернулось бы новой обидой для Ивана Алексеевича. И мы поехали прямо в гостиницу, где был мне приготовлен номер, а в номере — обильная закуска и среди тарелок — бутылка вина, про которую я спросила:

— Что это, Иван Алексеевич, вы изменили своим привычкам?

А он ответил:

— В мирное время, я считаю, можно себе позволить иногда малость.

И мы выпили эту малость и закусили колбасами и селедкой, а затем сразу же он заговорил о деле. Да, меня опять звали написать книгу, но теперь уже не брошюру по ведомственному заданию, а такую, какую мне захочется, «с интонациями», как выразился Иван Алексеевич. Он думал, видимо, что я тотчас прельщусь таким предложением, и был явно обескуражен, когда я сказала откровенно, что в деревне жила мало, и то не в русской, а в украинской, сельского хозяйства совсем не знаю, только по повестям и романам, а потому было бы гораздо полезнее для треста и для литературы, если бы вместо меня за дело взялся бы какой-нибудь другой, более подходящий для данного случая литератор.

— А кого бы вы посоветовали? — спросил Иван Алексеевич.

Я сказала, что нынче много очень хороших писателей, и среди них есть большие знатоки и земледелия, и скотоводства, и других отраслей сельского хозяйства, которые, возможно, придется затронуть в книге, а также много художников слова, прекрасно умеющих описать человека-работника, человека-бойца. Что я, например, высоко ставлю писателя Бориса Николаевича Полевого.

— Да как же я ему напишу, — возразил Иван Алексеевич, — когда я с ним незнаком, даже не знаю, что он написал?

— Ну это ничего, что вы с ним незнакомы, — сказала я. — А написал он замечательную книгу, которую все читают и хвалят, называется «Повесть о настоящем человеке». И если хотите, я съезжу в Москву и приглашу его от имени вашего треста.

— А он лауреат? — спросил Иван Алексеевич.

Я почувствовала неловкость.

— Может, — спросила я, — вам Федина привезти из Москвы для вашей электростанции? Кстати об электростанции, — сказала я, — не особенно интересный это нынче материал для писателя. Уж в скольких повестях и романах они описывались.

— Так наша не такая, как описывают, — возразил Иван Алексеевич. — Вы разве не прочли, я же вам писал, что ее паводок снес.

— Вот представьте, — сказала я, решив не уступать. — Я уже пять или шесть раз читала, как первую электростанцию сносит паводок.

— Так ведь то из головы, — сказал он. — А нашу в самом деле паводок сносил.

Мне становилось все труднее спорить. Если этот человек задавался целью, он шел к ней напролом через любые преграды. Или, может быть, у него мелькнула простительно суеверная мысль: «У нее легкая рука: ее книжке о нашем санпоезде повезло. Может быть, повезет и книжке о нашей электростанции». Может быть, поэтому он и держался за меня как за автора? Но я тоже всю жизнь была упрямой. И я сказала то, что думала:

— Нет, Иван Алексеевич, не буду писать об электростанции, не получится у меня. Вот, может быть, вы мне поможете узнать людей в ваших совхозах. Тех, о которых вы так хорошо пишете в письмах и рассказываете: этих молодых директоров, пришедших на хозяйственную работу после демобилизации, этих доярок, знатных телятниц, шоферов, просто обыкновенных сельских жителей, помогавших на стройке электростанции. Да чтоб побольше их набралось, разных.

— Вот школа тоже, — сказал оживившийся Иван Алексеевич.

— А как же, и школа, — согласилась я. — И школа, и контора совхоза, учителя, ученики, бухгалтеры, зоотехники. Дайте мне с ними поговорить, как я разговаривала с людьми в санпоезде, может, мне и на этот раз забрезжит книжка, которую люди прочли бы без скуки.

И пока я это говорила, в углу, за круглым столом, за одинокой бутылкой и тарелками с колбасой мне вдруг загрезился берег с поникшими вербами и чистым песком. И на этом берегу множество людей разных возрастов и профессий, и одна верба достала ветвями до реки, и какая-то галка, черная, как уголь, чиркнула крыльями по серебристой осине, и мальчик пробежал, гоняясь за бабочкой, а позади за этим всем высились громадные скирды сена, и я еще не знала, получится ли у меня книга и какая она будет, но знала твердо, что в ее названии будет слово «берег».

— Лично я не смогу с вами поехать, — сказал, заключая, Иван Алексеевич. — Дела, некогда разъезжать. Подождите немножко, вернется из отпуска наша Шурочка, она вам лучше все покажет, чем я.

— А кто это Шурочка?

— Наш старший зоотехник. Трестовский. А на меня не обижайтесь, что не еду с вами. Нельзя!

— Ну что вы, — сказала я.

Александра Михайловна вернулась дня через три, и тотчас

мы с ней поехали.

Прежде всего мы поехали в ту самую гостиницу, где я остановилась. Там, предупрежденная Иваном Алексеевичем, дожидалась меня старая женщина, знатная телятница. Я узнала ее сразу, потому что в то утро в областной газете был напечатан ее портрет и интервью с нею. Интервью начиналось словами: «Я родилась в таком-то году, в бедняцкой семье». Звали старушку Настасья Петровна.

Мы с ней сидели за столиком в углу и смотрели друг другу в глаза. На груди у нее был орден Ленина, голова повязана платком в мелкую черную крапушку. Вдруг она сказала:

— Я родилась в тысяча восемьсот таком-то (последнюю цифру не помню) году, в бедняцкой семье.

— Настасья Петровна, пожалуйста, не надо, — попросила я. — Лучше расскажите мне, прошу вас, были ли вы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

— Ой, была, — вздохнула старушка.

— Расскажите, пожалуйста, как вы на ней были.

И тут она мне рассказала удивительную, высокую и чистую историю, как она поехала со своими коровами в Москву на выставку и как потом брела с ними к себе домой, в совхоз.

Я тут же записала ее рассказ, почти дословно, я люблю так записывать. И этой записью был заложен фундамент повести «Ясный берег». Это было название и книжки и совхоза, в котором происходит действие. Там, в этом совхозе, поселились и молодой его директор Коростелев, и юная доярка Нюша, и эта самая Настасья Петровна, воспитательница и оберегательница совхозных телят, и учительница Марьяна, и бухгалтер Лукьяныч, и разные другие люди. Но главное для меня, что там поселился пятилетний мальчик, Сережа, сын Марьяны.

Уже давно, со времен работы в газете «Ленинские внучата», тема «ребенок» жгла мне руки: словно я в них держала что-то горячее и хрупкое, что может разбиться, и потому надо скорей его куда-нибудь пристроить.

Это Сережа шел по берегу перед серебристыми осинами и ловил бабочку. Это он чуть не утонул, когда, плывя в челне, услышал призывный крик своей ручной галки Гали-Гали. Это его добрым и заботливым отчимом стал Коростелев.

Книгу «Сережа» я написала не скоро, в 1955 году. «Ясный берег» был дописан и напечатан в журнале «Звезда» в 1949-м. И хотя в «Сереже» совсем другой материал, так сказать, суммированный, скопленный за много лет наблюдений над детьми, в том числе собственными, но, конечно, из «Ясного берега» вышли и Сережа, и его верный симпатичный товарищ

Скверный Васька.

Из собранного материала я, вернувшись, стала строить повесть «Ясный берег». Первый ее набросок был так слаб, что хотя повесть немедленно приняли в журнал «Звезда» и заключили договор, но я решила все переписать заново, невозможно было и подумать, что столь невыразительный текст появится под моим именем. В редакции удивились моему решению, они ведь не предъявляли мне никаких претензий, даже отговаривали меня от переделки; но мне было, что называется, себе дороже.

Очень быстро я переписала повесть, ввела новые главы, новых героев, изменила акценты и интонацию повествования. Повесть не стала хорошей, но, несомненно, обрела более крепкое дыхание, я могла ее напечатать не стыдясь, а некоторые места, например об эвакуации совхозного стада, я и теперь, когда эта работа стала такой далекой, считаю вполне удавшимися.

Повесть была напечатана, ее похвалили в печати, премировали, в последующие годы она вышла во многих издательствах Советского Союза и за рубежом на разных языках. Но в глубине души я продолжала считать ее слабее «Кружилихи» и «Спутников» и задумывала новые вещи.

44. Рассказы «Валя» и «Володя»

В день, когда эвакуировался в Новосибирск театральный коллектив, я поехала на Московский вокзал посмотреть, как это происходит, я хотела увидеть как можно больше. И вот я стояла на залитой августовским зноем Лиговке. За мной было здание гостиницы и забитые досками окна какого-то большого магазина, а вправо и влево вдоль Лиговки текла громадная человеческая очередь, где были люди всякого вида и всех возрастов, от глубоких стариков до младенцев в цветных одеяльцах и нарядных пододеяльничках.

У каждых ворот тоже была очередь, люди надеялись найти во дворах воду для питья, жара была смертоносная. Вдоль очереди прошла продавщица мороженого с лотком на груди, и я и стоявшие со мной люди удивились, что она без вреда для себя совершила этот проход. Карманы ее белой курточки отвисали от насыпанных в них денег.

Уже ни глотка газированной воды невозможно было достать на Лиговке и прилегающих к ней улицах.

Иногда группы людей отделялись от очереди, их вызывали, и они уходили, осчастливленные на миг, в вокзальный двор, и через некоторое время оттуда доносился гудок уходящего паровоза.

Так увезли рабочих химкомбината, потом артистов оперы и балета, потом еще кого-то.

Мне надоело стоять на месте, я тоже заглянула в вокзальный двор. Там кроме длинных, еще не забитых людьми составов, приготовленных к отправке, я увидела нечто совершенно неожиданное — великолепного громадного льва, выглядывавшего из товарного вагончика. Царь зверей тоже отправлялся в эвакуацию. Когда через несколько лет кинорежиссер Игорь Таланкин готовился снимать фильм по моим рассказам «Валя» и «Володя», я ему про этого льва рассказала: и какой он был, и как тревожно, поблескивая как у кошки, смотрели его небольшие глазки из вагончика, и как он, бедняга, вздрагивал-вздрагивал от паровозных гудков и вдруг зарычал таким рыком, который перекрыл все жалкие гудки, создаваемые человеческой техникой.

Игорю Васильевичу все это понравилось, и он достал живого льва и снял его для будущего фильма. Но на этот раз у моего даровитого друга не получилось. И лев попался не авантажный, хотя доставали его долго и трудно, не щадя, как говорится, затрат, и рык у него вышел какой-то не грозный. А прототип, виденный мною, рычал так, будто вся Сахара, вздыбившись

своими огнедышащими песками, шла на Гитлера и его рати. А тут живое творение природы, не понимая желаний и расчетов человека, выдало лишь по своим возможностям, и эффекта не вышло. Тот, первый, когда рыкнул, то показалось, что это рычит, гневаясь и угрожая, весь Ленинград, город царственный и не уступающий ничего.

Вот тут-то мы, что называется, и обмишурились с Вами, милый Игорь Васильевич. Конечно, это не наша вина — с природой, если она заартачится, сладить трудно, а все досадно.

Налюбовавшись на льва, вернулась я на Лиговку. Очередь там еще выросла, особенно вправо. Особенно дети бросались в глаза. Они заглядывали в щели досок, которыми были забиты окна большого магазина. В щели видны были дамские шляпы на болванках и гипсовые женские ноги в шелковых чулках. А женщины в очереди были в платках, и рюкзаки на их спинах были так набиты, что ясно было — вряд ли туда можно втиснуть хотя бы пару шелковых чулок. У их ног на асфальте были их дети. Они спали на асфальте, ели на асфальте, переодевались на асфальте. Некоторые с блаженством на личиках пили воду из жестяных бидонов, иногда из игрушечных. Девочки в белых и розовых бантах сидели на какой-то штанге, как воробьи на проволоке. И окончательно расхотелось мне уезжать.

Сразу после Лиговки я, в своем азартном желании повидать как можно больше, поехала на Витебский вокзал. Там я видела тот митинг ленинградских ополченцев и сцены прощания их с родными, которые описаны в «Вале». Вернулась домой с сердцем, измученным тоской, и с твердым решением не уезжать.

Но все-таки в моих военных скитаниях мне пришлось побывать в эвакуации в городе Перми на Каме. Работая там в газетах, я часто бывала по их заданиям на предприятиях, где наряду со взрослыми работали дети, мальчики и девочки, и где я каждый день видела в скверике мокрые щиты с объявлениями, где требуется рабочая сила либо ученики. Откликались на объявления главным образом эвакуированные детишки. Их трудоустройством занимался Пермский горсовет.

Повествование, начало которого шло от Лиговки августа 1941 года, стало находить свое продолжение на пермской почве, а затем, в 1945 году, уже по возвращении моем в Ленинград, когда я вплотную столкнулась с людьми, пережившими блокаду, и приняла в себя их пронзительные рассказы, сама жила жизнью реэвакуированных, вечно в поисках приработка и в мечтах о том, чтобы поскорее отоварить мясные и жировые талоны, продолжение это нарастало уже почти непроизвольно. Когда в 1946 году я с другими писателями была на встрече с работниками

ЦК комсомола, я поделилась моими замыслами написать о тыловых детях военных лет, но окончательно рассказы «Валя» и «Володя» были доработаны только в 1959 году. Значит, восемнадцать лет ушло у меня на создание этих простеньких рассказов…

Может быть, это вышло оттого, что я долго не могла определить жанр этих произведений. Сперва я задумала сделать из накопленного материала большой роман, но работа не пошла, и я поняла, что решение мое неверно. Тогда я решила сделать не один роман, а пять. Чтобы каждый из этих пяти заключал в себе какой-нибудь этап Валиной жизни. С этой задумкой тоже решительно ничего не вышло. Мне самой стало скучно писать об этих этапах. Наконец я поняла, что, собственно, передо мной находится. Пять романов превратились в два небольших рассказа, где вместо одной героини Вали оказалось два героя — Валя и Володя.

Правда, пришлось ввести много новых действующих лиц: Олега с его матерью, тетю Дусю, Ромку с его женой Зиной и других, иногда даже не имеющих имен, например мать Василька или детдомовскую кухарку — жену дяди Феди, колхозницу, правящую лошадьми. Зато я до сих пор помню ту радость, которую испытывала за этой работой, в которую можно было уложить все запомнившиеся черты военных дней, вплоть до висящей в небе серебряной колбасы и девочки, несущей в авоське капустный кочан.

Как я радовалась, когда у меня написалась Большая Девочка, которую уводит из очереди ее любимый, или пейзаж, сопутствующий отъезду Вали и Люськи из детского дома. Вообще великая вещь — сокращение, сжимание написанного, превращение материала из жидкого месива в твердые сгустки. Я не могу себе представить литератора, который, начав с первой строчки, пишет все свое сочинение до последнего слова, не отходя, как говорится, от кассы. Обязательно в какой-то час, когда голова мыслит особенно ясно, он подступит к своей рукописи с целью сократить ее. И не страшно, если он сократит лишнее. В нашем деле, по моему мнению, надо помнить, что слово серебро, а умолчание — золото… Нужно верить в мыслительные способности читателя. Если писатель чего-то не досказал, читатель мысленно доскажет сам, на основании собственного опыта. Когда же все, до последних деталей, разжевано и выболтано — читатель не находит работы для своей мысли и начинает скучать за книгой. А ведь давным-давно сказано, что все произведения искусства хороши, кроме скучных.

Когда эти рассказы были опубликованы в журнале «Октябрь»,

где их с чрезвычайным радушием принял покойный редактор «Октября» писатель Ф. И. Панферов, то некоторые писатели письменно выразили мне свой протест против определения этих произведений словом «рассказы».

В числе этих опротестователей был Юрий Нагибин. Я ему ответила, вероятно, очень невежливо и даже невежественно, что, на мой взгляд, никаких жанров нет вообще. Мне и в самом деле часто кажется, что в наши дни, в связи с кризисом романной формы и распространением формы литературного киносценария, точное определение жанра в литературе стало чрезвычайно затруднительно.

В самом деле, где граница между рассказом и повестью, между повестью и киносценарием? Пока что на эти вопросы нет ни одного вразумительного ответа. Это, конечно, очень развязывает руки писателю. Правда, и оглядываясь на прошлое, я не понимаю — почему блистательный роман Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» назван очерком? А его же очерк «Воительница» воспринимается при чтении как явление жанра драматургического. Иной раз даже печально видеть, как еще, в сущности, не устроено наше хозяйство. Но помочь его устройству можно только одним: непрерывными поисками старых и молодых, многоопытных и ничего не умеющих.

45. «Евдокия»

Я уже рассказывала, что редактор ленинградского альманаха Б. М. Лихарев в начале 1959 года обратился ко мне с просьбой несколько переработать (вернее, дописать) мою старую повесть о рабочей семье, о женщине Евдокии, принявшей под свое крыло нескольких сирот и создавшую этим сиротам счастливое детство. Я с удовольствием вернулась к этой повести, наскоро написанной еще в Перми в трудные годы эвакуации и печатавшейся только один раз в альманахе «Прикамье». Борис Михайлович Лихарев одобрил новый вариант повести (теперь я ее назвала «Евдокия», по имени главной героини).

Под этой женщиной я разумела нашу Родину — истинную матерь всех обездоленных и нуждающихся в заботе.

Вскоре после опубликования «Евдокии» ко мне вдруг внезапно (судьба всегда приходит внезапно), без предварительного уговора, без телефонного звонка, пришел известный кинорежиссер Сергей Аполлинариевич Герасимов, один из создателей и руководителей советского кино.

Не знаю (не спросила), был ли его визит абсолютно случайным, или он прочел в альманахе «Евдокию», думаю — первое, потому что о «Евдокии» он не заговаривал, а стал убеждать меня попробовать свои силы в кино. Я имела уже на этом поприще нерадостный опыт работы над киносценарием «Спутники», это были, как говорится, сплошные слезы, во всяком случае — сплошные неприятности, и в результате фильм не вышел на экран. Эта история оставила во мне такие тягостные воспоминания, что я ни за что не соглашалась на новые опыты на этом пути. Герасимов приводил всевозможные доводы, уговаривал меня, как раскапризничавшегося ребенка, потом вдруг сказал:

— А давайте посмотрим, что из вашей прозы можно было бы положить в основу литературного киносценария.

Я быстро прикинула, что же у меня есть подходящее, и вдруг вспомнила, что в самом низу моего книжного шкафчика лежит папка с несколькими машинописными экземплярами «Евдокии», и сказала:

— Есть одна маленькая рукопись, но она очень слабая, ученическая.

— А вы нам покажите, — сказал Сергей Аполлинариевич. — Я, знаете, ищу что-нибудь для одной моей очень способной ученицы Тани Лиозновой. Жаждет девочка что-нибудь сделать, а найти ничего подходящего не можем.

И сказал, что завтра пришлет ко мне одного из работников студии имени Горького и тот привезет ему в гостиницу мою рукопись.

Обещание он сдержал. Минута в минуту, как было договорено, явился ко мне молодой человек, забрал рукопись и сказал, что она будет у Герасимова в руках самое большее через полчаса, так как они приехали в эту командировку вместе и живут в одной гостинице.

Как пахнуло на меня дыхание новой судьбы, когда на другой день Сергей Аполлинариевич позвонил мне по телефону и сказал, что из моей крохотной повести может выйти очень интересный и значительный сценарий. Я не сразу поверила и продолжала отнекиваться, была даже греховная для литератора мыслишка: «Вот еще, опять связываться…» И вдруг как-то ослабела духом, сникла, согласилась…

Герасимов сказал: «Ну вот, охмурил девушку», — и мы условились, что я приеду в Москву и там сейчас же явлюсь на киностудию имени Горького. В этой студии я познакомилась с Татьяной Михайловной Лиозновой, молодым режиссером, и с редактором Валерией Павловной Погожевой и дружу с ними по сей день. Они так радушно меня приняли, с таким доверием отнеслись ко мне, еще ровно ничего не сделавшей для кино, так меня этим доверием подбодрили, что я уверенно и радостно ринулась с головой в эту новую, неведомую мне работу. И когда сотрудники киностудии имени Горького собирались на обсуждение первых неумелых вариантов моего будущего сценария, и когда Татьяна Михайловна Лиознова (я, впрочем, почти сразу с ее разрешения стала называть ее Танечкой) показывала мне фотокарточки актеров и актрис, будущих исполнителей будущего фильма, у меня было чувство приближения какого-то нового праздничного свершения, в котором главными созидателями являемся мы с Танечкой и который тысячам людей либо даст радость, либо внушит досаду и разочарование. Разумеется, не мы с Танечкой на самом деле были этими созидателями. Таня была ученицей Сергея Герасимова, я же стала его ученицей по мере того, как шла работа над сценарием.

Сергей Аполлинариевич читал все мои ученические варианты, терпеливо критиковал их, давал мудрые, практикой подсказанные советы, подбрасывал мысли о дальнейших судьбах воспитанников Евдокии. Я многим обязана этому превосходному, ярко творческому человеку и воспитателю, совместившему в себе писателя, режиссера и замечательного актера. Не сомневаюсь, что людьми, более сведущими в вопросах кино, чем я, будут

написаны о Сергее Герасимове подробные исследования, я же просто благодарно храню в памяти его поучительные беседы и те счастливые мгновения, когда он, желая повеселить собеседников, разыгрывал перед ними маленькие сцены, преимущественно на сюжеты, связанные с литературой и искусством, сверкая при этом своим прекрасным актерским талантом и исполнения и созидания, так как все эти сценки сочинялись им тут же, экспромтом, в течение разговора. Он знал, что его дарование доставляет зрителям радость, и, не боясь, щедро показывал его людям. Помню, например, позже, в Коктебеле, он играл в шарадах, а оторвавшись, в этой же комнате варил пельмени, которые сам лепил и очень любил.

В общем, при всей моей робости и неумении сценарий «Евдокии» был дописан, поставлен, и через сколько-то времени фильм вышел на экран, а еще через сколько-то мы с Таней радовались, читая о нем добрые отзывы в газетах, и зрители приняли его с сочувствием, и так я вошла в орбиту кинематографии, и до сих пор тянет меня в этот удивительный мир, не похожий ни на театральный, ни на литературный, до сих пор, хотя испытала за это время не одни радости на этом поприще, но и разочарования и досады.

46. Очень трудная работа

В декабре 1949 года «Литературная газета» попросила меня написать статью для новогоднего номера. Я не придумала для нее названия и решила просто начать ее традиционным приветствием: «С Новым годом» и затем описать новогоднюю ночь, полную тостов, и елок, и предпраздничной беготни по гастрономическим магазинам.

Статья была написана, напечатана, пришел новогодний номер газеты. Со времен «Трудового Дона» я непременно читаю свои вещи, когда они приходят напечатанными. И всегда мне кажется, что в этом виде они звучат совершенно иначе, чем в рукописи, даже завершенной. Прочла я и эту мою статью на газетной полосе, и вдруг она мне показалась вовсе не статьей, а законченным вступлением в какой-то большой роман. В маленьком доме на окраине большого периферийного города я увидела праздничный стол и елку в зажженных свечках, за столом сидела героиня романа, уже немолодая женщина, ее звали — ну конечно, ее звали, как одну мою знакомую, Дорофея Николаевна. Она была не простая обывательница, она что-то значила в этом городе, в ее домике был телефон, он вдруг залился звонким голосом в соседней комнате. Вот отсюда пошла разматываться нитка романа «Времена года», из летописей города Энска.

Это была длительная и очень трудная работа. Пожалуй, из всех моих сочинений она стоила мне наибольшего количества не только времени, но и раздумий, и крови. Мне хотелось сделать роман очень современным, на лицах и фактах сегодняшнего дня, и в то же время дать много разных судеб, возвращаясь при этом к прошедшим годам, и в то же время открывать какие-то просеки в будущее. Хотя ретроспективный взгляд уже был мною испробован и в «Спутниках», и в «Кружилихе», и в «Ясном береге», но это были пробы, а не то абсолютное овладение приемом, какое мне было нужно для «Времен года». И я с тяжкими усилиями описывала события, происходившие в прошлом, а особенной крови стоил мне Степан Борташевич, отец Кати и Сережи, так как этот тип человека мне бесконечно чужд всю жизнь. Впрочем, думаю, мне удалось сложить его опять-таки из мелкомозаичных частиц, таких, как его «забуренье» по мере достижения высоких должностей, из его служебной «Победы» с брезентовым верхом (такая машина была тогда у Ленинградского отделения Союза писателей), из отбойного писка телефонной трубки и, наконец, трагического выстрела за дверью его кабинета и кровавой лужи на ковре.

При разработке этой судьбы и характера очень помог мне своей консультацией ныне покойный Иван Владимирович Соловьев, тогдашний начальник милиции города Ленинграда. По моей просьбе он любезно посетил меня и рассказал пропасть интересного, а главное, доподлинного и о Борташевиче, и о следователе Войнаровском, и о Геннадии Куприянове с его преступным окружением — Цыцаркиным, Изумрудовым, Малюткой.

Роман был напечатан в ленинградском альманахе в 1953 году и, кажется, имел успех.

Тогдашний редактор альманаха Александр Иванович Черненко на писательском собрании сообщил, что номер альманаха с «Временами года» был заказан даже из Польши.

На этот раз тираж этого довольно-таки непопулярного альманаха был 30 тысяч — небывалая в истории альманаха цифра. Потом роман был перепечатан полностью журналом «Новый мир», а затем стал выходить отдельными изданиями и с тех пор многократно выходил на русском языке и на иностранных.

47. Что недописано в «Сентиментальном романе»

Когда я его написала, мне казалось, что я сбросила с плеч многопудовый груз самых юных моих впечатлений, человеческих образов и неодушевленных предметов, которые носила в себе чуть не полвека (роман был написан в 1958 году и вскоре опубликован).

Какой это был груз, какой тяжести, можно представить себе почти наглядно, если учесть, что в него вошли многие здания моего города Ростова-на-Дону, его церкви, магазины, рынки, его мостовые с булыжником крупным и расшатанным, как старые зубы, не говоря уже о людях всевозможных классовых групп и занятий, начиная с политического карьериста Ильи Городницкого до благонамереннейшей и тишайшей комсомолочки Зойки и от старого спекулянта старика Городницкого до «левака» Фильки Сторчука — со всей своей одеждой, судьбами, чертами характера. Откуда я знала их, каким образом?

Для того я так подробно и вспоминаю свою жизнь, чтобы это понять.

Иногда лично, иногда из людской молвы, ведь уличный фольклор вообще так богат, особенно в южных городах. Я лично вместе с некоторыми моими друзьями пользовалась какое-то время кредитом в кафе «Реноме инвалида», кстати, кафе с таким названием в Ростове моей юности имело несколько филиалов, но мы, помнится, бросили свой якорь в том маленьком узком заведении, что находилось на Садовой улице, близ Николаевского переулка. Его директор, названный для краткости в романе Главным инвалидом, мною выдуман, вплоть до его наружности, которую я складывала из черт, присущих грекам, евреям, армянам, которых было так много среди мелких ростовских нэпманов, например: «добрые толстые брови», «коричневые глаза»… Так же собирательно сработаны и фигура Зои Большой, обаятельной барышни, стоявшей за буфетной стойкой «Реноме», и фигура подпольного белогвардейца Кучерявого, впрочем, его внешность родилась из его душевных качеств, а сочетание этих двух фигур повлекло за собой появление собаки Дианы и пещеры Кучерявого, и Диана и пещера тут вдруг оказались нужными и легли в роман как-то даже непроизвольно. И, вероятно, от тех же причин эти двое вплелись в судьбу Ильи Городницкого, молодого прокурора. И все это писалось просто, без усилий и без натяжки, хотя в этом романе мне больше всего пришлось дописывать,

вставлять скрепы, перелистывать листки моей памяти. (Например, воспоминание о брильянтовой брошке в виде якоря отложилось в памяти еще с детства, а где и когда — не помню, и из детства же пришли такие мелочи, как Зойкин аквариум и игры в «айданы» и «кремушки». В Ростове произносили «гайданы», вот как изменилось русское слово «бабки», катясь вниз по географической карте.)

Итак, чувство облегчения, выздоровления, свободы охватило меня, когда я написала этот роман. Критики, отрицательно относившиеся к моему творчеству, число которых с выхода в свет «Времен года» сильно возросло, пытались зачеркнуть «Сентиментальный роман» на том основании, что он не похож на роман Островского «Как закалялась сталь», но за меня вступились другие. К дискуссиям я уже привыкла. Но это — внешняя сторона дела. Внутренняя же его сторона заключается в том, что я перестала испытывать прекрасное чувство освобождения от тяжелой ноши, мне даже кажется теперь, что я слишком много не дописала о моем городе.

Больше всего это относится к людям, хотя в романе столько действующих лиц. В меньшей степени — к предметам гораздо менее существенным, хотя и нельзя сказать, что они вовсе лишены значения.

Куда, например, девались те специфически южные объявления и рекламы, давно перешедшие в анекдоты и обросшие седыми бородами. Я имею в виду такие развязно-безграмотные рекламы, как знаменитая (правда, приписываемая Одессе) реклама натуральных фруктовых соков:

Если хочешь сил моральных
И физических сберечь,
Пейте соков натуральных
Укрепляет грудь и плеч.

Или приклеенное к оконному стеклу рукописное объявление, которым мы любовались на Среднем проспекте по утрам, идя на работу: «Портной принимает всевозможную починку. Тут же продается мусорный ящик».

По молодости лет мы не замечали трагичности этого объявления, смеялись над его безграмотностью. Подобные мелочи восстановить легко, вот человеческие образы, цепляющиеся за мою память, восстановить куда труднее.

Вот уцепился за память щегольски одетый, в меховой шапочке пирожком, какой-то старый человек, с темным больным лицом, с черными кругами вокруг глаз, гладко выбритый и

напудренный розовой пудрой. Он вечно топчется на одном и том же фешенебельном пятачке между редакцией «Трудового Дона» и воротами городского сада. Я встречаю его чуть ли не каждый день, но не знаю, кто он, чем занимается. И вдруг кто-то говорит, что это знаменитый автор модных песенок, что поются с эстрады.

И на том же пятачке — иногда один, иногда с кем-нибудь из сотрудников «Трудового Дона», иногда с эффектной экстравагантной девицей в ярко-зеленом клетчатом пальто, в темных очках и с дымящей трубкой во рту прохаживается совсем другого вида человек — одетый модно и дешево, голова в крупных светлых кудрях, голубые мальчишеские глаза, чуточку овечий профиль — это Юра К. О нем я знаю многое, так как он иногда заходит в редакцию и охотно говорит о себе. Он — сын медсестры, работающей в клиническом городке. Эта бедная женщина на грошовый свой заработок сумела дать Юре самое лучшее образование — пристрастила его к книгам. Юра, можно сказать, живет с книгой — с книгой ходит по своему пятачку, с книгой сидит, бочком поместившись на стуле, у редакционного стола, с книгой стоит, греясь у редакционной печи. Он сам пытается писать, но ему не нравится — и справедливо — то, что он пишет, и потому он старается восполнить эту свою незадачу тесным общением с миром литературы и искусств. Он знаком со всеми писателями, как начинающими, так и успевшими себе создать кое-какое имя, — с Александром Бусыгиным, Иваном Ольшанским, Иваном Рахилло. Знает он также всех архитекторов, актеров, всех немногих художников и всех бесчисленных музыкантов Ростова. Девица в зеленом пальто — его жена, Юра на ней женился, пленившись ее трубкой. Он восхищался ею, однажды даже сказал в редакции:

— Могу сказать не хвалясь, что я являюсь обладателем самых красивых ног в Ростове.

Но так как мы с секретаршей Любой немедленно воззрились на его собственные ноги, отнюдь не соответствовавшие его рекомендации, то он смутился и громко рассмеялся, он обладал юмором, вообще был вполне интеллигентным молодым человеком.

От него я впервые услыхала стихи Гумилева, он знал их наизусть и на залитых дождем асфальтовых улицах Ростова читал мне «Шестое чувство» и «Заблудившийся трамвай».

Чтение не довело его до добра — в феврале или марте 1928 года разнесся слух о том, что ему пришлось переселиться куда-то к лопарям.

Я встречала его после этого еще дважды. Один раз в Ростове летом 1935 года. Он рассказал мне, что его уже освободили и о

том, как он ездил изучать жизнь лопарей.

Другая встреча была в Москве — в конце 30-х годов. Зачем-то я пришла в «Комсомольскую правду» и кого-то дожидалась, сидя на скамье в длинном коридоре. И вдруг в конце коридора появился Юра К. Я не сразу его узнала, так как он был во френче из грубой ткани цвета хаки, а прежде я всегда видела его в разутюженных брючках-бутылочках и в туфлях «шимми». Но он подошел и назвал меня по имени, и я узнала его. Он был очень счастлив ему разрешили сотрудничать в газетах.

А вот три девчурки то и дело перебегают мне дорогу — то в пахнущем белой акацией переулке, то на Садовой под самым носом старомодного трамвая. Это — сбитая крепко, как железо, ныне покойная Лена Ширман в матросской блузе, из-под которой на груди выглядывает полосатая тельняшка, с пышно взбитой копной вьющихся волос (ей пришлось их сбрить, когда она болела тифом, а отросши, они стали виться необыкновенно буйно). Она, как и обе ее спутницы, училась в Ростовском университете, работала в многотиражке завода «Ростсельмаш», вечно возилась с какими-то подававшими надежды окололитературными мальчиками и девочками, издавала рукописную стенгазету под названием «Эгостенгазета», ибо писала там только о себе, о своих чувствах, мыслях, впечатлениях. Эта стенгазета — род дневника висела у нее над кроватью. Кровать стояла в непритязательной комнате в домике, принадлежавшем отцу Лены — капитану дальнего плавания, а домик был окружен садиком из жасмина, миндаля и роз.

И в это царство духовности, поисков и сладчайших ароматов пришли эсэсовцы и зверски убили и Лену, и ее родителей. Из всей семьи осталась только сестра Лены Алита…

Не знаю, сохранилась ли «Эгостенгазета». Хочу думать, что она в каком-нибудь архиве, ибо нельзя же, чтобы совсем-совсем пропало наследие, оставляемое такими людьми, к которым принадлежала Лена, — всегда ищущими, всегда устремленными к духовному.

По моему мнению, должно быть сохранено все мало-мальски возвышающееся над обыденностью, тем паче стихи и дневники. Ведь по таким документам впоследствии складывается история. Вероятно, князь Курбский, сочиняя свои письма к Ивану Четвертому, полагал, что это простые «отписки», ставящие своей целью оскорбить грозного царя, уколоть его, и не догадывался, что это суть свидетельства истории и поэзии. А историки грядут, они захотят увидеть и узнать все, и не надо укрывать от них ни одной буквы современной коллективной летописи.

48. Исторические повести

Должно быть, у всякого человека в некий период жизни возникает особенно горячее чувство кровного родства со страной, в которой он явился на свет и прожил жизнь. И когда это чувство кровной близости появляется, тогда уже человека не собьешь ни россказнями о прелестях жизни в других странах, какими бы они ни выглядели процветающими, ни посулами всяческих благ, какие он может в этих тридевятых царствах получить.

И непременно к этим чувствам любви, гордости, благодарности присоединяется необходимость поделиться своей любовью, объяснить свою гордость и свое преклонение, заявить, что предмет его любви самый прекрасный, самый возвышенный, самый богатый всем, что только есть достойного хвалы и преклонения.

Вот все это охватывает меня всякий раз, как я перечитываю историю России. В сущности, я не знаю как следует никаких других историй. Мне не очень интересно читать о крестовых походах, о войне Алой и Белой розы, о борьбе якобинцев в эпоху французской революции. Но меня безгранично интересуют все события и загадки истории моего народа, даже давно, казалось бы, отгаданные исторической наукой, вроде того, было ли на самом деле призвание варягов, или — был ли Лжедмитрий обманщиком и авантюристом или подлинным царевичем, сыном Иоанна IV. Лично мне кажется, лично я убеждена, что он был подлинным Дмитрием, спасенным сперва своей матерью и спрятанным ею в катакомбах под Угличем, а далее спасаемым и поддерживаемым знатнейшими боярскими родами, могшими претендовать на русский престол, в том числе — Романовыми, достигшими своей цели в 1613 году.

Всплеск вот именно таких ощущений, настроений, мыслей и привел меня в начале шестидесятых годов к замыслу о создании цикла исторических повестей. Первой возникла повесть «Кто умирает», благожелательно принятая и напечатанная журналом «Звезда». Мне хотелось написать во весь рост князя Василия III, отца Иоанна Васильевича Грозного.

Второй моей исторической повестью была повесть о Феодосии, одном из устроителей Киево-Печерской лавры. Складывалась эта повесть тоже из «кубиков» — сперва написался его разговор с матерью, когда она, измученная раскаянием и разлукой, приходит к его келье повидать его и он отказывается ее видеть.

Сперва нужный мне материал я черпала у знаменитого

историка Соловьева, потом у меня в руках оказался «Киевский патерик» и возникла возможность написать несколько кратких вставок о других братьях монастыря, в том числе сюжетные истории об отце Исаакии, страстотерпце Иоанне, а также о пострижении Варлаама, сына боярина Вышаты, и вражде между попом Титом и дьяконом Евагрием, о знаменитом Шимане, предке князей Шуйских, и о ряде мелких бытовых подробностей в жизни монастыря. В ходе работы возникло разделение повести на три части: «Восход», «Полдень» и «Закат» — эти три эпохи религиозной идеи.

Устоявшийся, довольный своими достижениями Феодосий Полудня уже мало чем напоминает восторженного юношу, бегущего из дома своей богатой матери к богу. И уже совсем на того юношу не похож Феодосий Заката, Феодосий, барски сидящий на специально для него сделанной скамеечке под благоуханной липой, Феодосий, принимающий от мирян золото на построение церкви и пишущий для дарителя рекомендательное письмо к самому господу богу с твердой уверенностью, что за его святую жизнь рекомендация его будет уважена.

А после Феодосия я написала «Сказание об Ольге», об этой великанше, славянке или варяжке, одною из первых начавшей созидать Русское государство. Здесь очень трудно было собрать материал, особенно достать достоверное описание Ольгиной поездки в Константинополь. Наконец, я достала превосходный сборник Беляева, где не только был напечатан тот перевод сочинения Константина Багрянородного о пребывании Ольги в Царьграде, не только дано описание — правда, краткое — тогдашнего Константинопольского двора, но даже помещена иллюстрация, изображающая тронный зал с сидящим на троне Константином.

А в старой, забытой, но тем не менее превосходной книге писательницы Виноградовой «Жизнь европейских народов» я встретила описание Софии и того блюда, которое Ольга подарила патриарху.

Кстати, один читатель написал мне, что Ольга, при ее гордости и самолюбии, не могла принять от императора денежный подарок. Но, во-первых, подарок этот в точном тогдашнем выражении 15 милиариссимов взят из сочинения самого императора («О церемониале»), во-вторых же, в те времена к денежным подаркам относились не так, как в наши дни: еще именитейшие библейские цари, по преданию, ездили друг к другу со всевозможными дарами, в том числе серебром и золотом.

Есть какая-то особенная сладость в таком скрупулезном

собирании материала, в пригонке «кубиков» друг к дружке для получения достоверной картины. Даже художественную литературу читаешь иначе, чем обычно: вдруг в неинтересном романе или в статье попадется крупица, пригодная для твоей цели, вдруг внезапно блеснет какая-нибудь искорка, могущая разжечь твою фантазию либо дать уже написанному событию новый, лучший поворот.

Упомянутые здесь три повести вышли отдельной книжкой под названием «Лики на заре», когда к ним присоединился «Феодорец Белый Клобучок».

Эта жалкая, с двойным дном и непомерными претензиями фигура, одна из ярчайших в княжении Андрея Боголюбского, привлекла мое внимание как почти точный прототип знаменитого Никона, вызвавшего своей деятельностью столько волнений в царствование Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Как Никонова патриаршая панагия, иерейский крест Феодорца залит кровью. То же властолюбие, та же заносчивость беспримерная. Только конец Никона был менее ужасен: Феодорца попы приговорили к отсечению рук и ног и к ослеплению; нравы при Алексее Михайловиче были уже несколько помягче, чем при Боголюбском.

49. Пьесы

О некоторых моих пьесах я уже писала, хочу рассказать и о других.

Пьеса «Сколько лет, сколько зим», довольно долго ставившаяся в театре, длинна, в ней много героев. Уже не могу сейчас вспомнить, откуда возникло и как развивалось каждое из этих действующих лиц, но твердо знаю зерно, вернее — крохотное зернышко, из которого выросла пьеса.

Это были просто-напросто две длинные деревянные скамьи, стоявшие лицом друг к дружке на Симферопольском аэродроме. За спинкой одной из скамей были воткнуты в землю какие-то полуржавые металлические гнутые трубы, по трубам вилось какое-то растеньице вроде крученого паныча или декоративных бобов. Эта незатейливая конструкция осеняла обе скамьи, образуя как бы беседку, в которой люди могли бы посидеть и побеседовать, не удаляясь далеко от здания аэровокзала, откуда каждую минуту могла прозвучать весть о начинающейся посадке. И впрямь, там часто сидели целые компании, беседуя и прислушиваясь к вокзальному радио. А я в этой беседке была одна и только смотрела да слушала. И вдруг среди сообщений о посадках и задержках я услышала:

— Гражданина такого-то, потерявшего документы, просят обратиться к дежурному по аэровокзалу.

Фамилию гражданина я не расслышала, она была какая-то самая обыкновенная, вроде моей, — Попов, Петров, но что из этого, я в ней не нуждалась.

Уже несколько лет была у меня припасена очень нравившаяся мне фамилия Колосенок. Кажется, товарищ с этой фамилией занимал какую-то должность не то в Петрозаводске, не то где-то в Белоруссии. Вероятно, должность была крупная, если фамилия его дошла до меня, не связанной ни с Белоруссией, ни с Петрозаводском. Но Колосенок как руководящий работник меня не устраивал, мне хотелось чего-то гораздо проще, рядовее, что ли. И тут пришлось занять профессиональную позицию — сесть за стол, взять перо и лист бумаги и строить своего Колосенка. Декорация была уже налицо — интерьеры аэровокзала, его служащие, толпящиеся в зале пассажиры, взлетающие в небо самолеты.

Я покинула мое место на скамье, пошла в здание вокзала и осмотрела то немногое, что могло пригодиться при сочинении пьесы: гигантские расписания по стенам, дощечки на дверях, телефонную будку с длинным хвостом очереди, ряды кресел для

ожидающих, отметила несколько лиц в очереди к телефону, румяное личико официантки, бегущей с металлическим блюдом сверху, из вокзального ресторана, пожилого продавца газет и книг, записала номера нескольких маршрутов. А затем, уже по возвращении в Ленинград, были в течение нескольких месяцев занятия именно чисто профессиональные. Поиски того, что называется «кто — кто?». Или, как сказала одна актриса: «Кто кому дядя?» И затем, конечно, медлительные и трудные изыскания, что этот «дядя» сделал либо сделает в пьесе, и почему сделает, и хорошо или плохо содеянное им. И из зернышка стали развиваться под пером взаимоотношения, характеры, сопричастности и хитросплетения судеб.

И все пригодилось — и таблички на служебных дверях, и официантка с ее отдельным сюжетом, и особенно в аккурат стал в пьесе выдуманный мною миляга Колосенок, повлекший за собой и простейший флиртовой романчик, и сложные сопоставления с другими героями пьесы.

А вот пьеса «Надежда Милованова» возникла из дневниковой записи. Несколько лет подряд, живя летом в писательском Доме творчества «Коктебель» вблизи Феодосии, я на жарком балкончике своей маленькой комнатки вела незатейливый дневник, записывая сюжеты, лица, иногда кусочки диалогов из тех пьес, которых еще не было, но которые я хотела бы написать.

Теперь, оглядываясь назад, я должна сказать, что это немудреное занятие, которому я посвящала ежедневно несколько часов, отмечая эти часы стоявшим передо мной примитивнейшим круглым будильником и не разрешая себе утомляться, что эти часы не только сразу увлекли меня, но и оказались весьма продуктивными. Из мимолетных записей вышли две пьесы: «Еще не вечер» и «Надежда Милованова». Последняя имеет еще два названия: «Верность» и «Поговорим о странностях любви». Все три соответствуют содержанию пьесы, так что я ни разу не стесняла право театров выбирать для постановки любое. Почему возникли три названия? А это уже относится к судьбе пьесы, ибо каждая пьеса имеет свою судьбу, и почти никогда эти судьбы не повторяются.

Не сумею рассказать с точностью, как именно из отрывистых, иногда мне самой непонятных записей получился «Еще не вечер». Может быть, это просто эхо.

Давным-давно, в Перми, я написала пьесу «Бессонница», где описывается пианист, очень талантливый, потерявший на войне руку. В пьесе «Еще не вечер» Константин Олесов, тоже одаренный пианист, пьянством разрушает всю свою жизнь. Его вина больше и судьба сложней, чем судьба музыканта из «Бессонницы», так как у

него есть любимые дети, которые горько страдают от его порока.

Да, видимо, «Еще не вечер» — это отголосок той давнишней слабенькой драмы.

В «Надежде Милованове» все пошло от того, что в какой-то день я записала в моем дневнике неожиданно мелькнувшую в мозгу моем сценку: вьется дорога, на ней стоит столбик с дощечкой-указателем, на дощечке написано: «Миловановка».

Милованов — это тоже припасенная (чуть не с детства) фамилия, которую мне так и не довелось куда-нибудь пристроить. И, рассердясь на себя за это, я тут же устроила эту фамилию на дорожном указателе. Но ведь кто-то должен эту надпись прочитать. И возникли стоящие на дороге фигуры мужчина и женщина, им для чего-то очень спешно нужно было в Миловановку.

Они вообще вели, так я записала, жизнь странную и бродячую, жили всюду почему-то без прописки, вообще были, так сказать, далеки от так называемой реальной жизни, однажды их даже хотели откуда-то выселить как непрописанных.

Всему этому надо было найти и причины, и слова для описания. И между этими двумя людьми обязательно должна была, показалось мне, быть самая большая и святая любовь, и носительницей ее должна была стать главным образом женщина, которой я тут же отдала фамилию Милованова, о ее спутнике же даже не упоминается, какая у него там была фамилия.

Писалась пьеса легко, и судьба у нее была не тяжелая.

А пьеса «Как поживаешь, парень?» родилась из кем-то рассказанной истории о том, как некая девица, желая получить прописку в Ленинграде, упросила какого-то несообразительного рабочего паренька, только что получившего комнату в новом доме, вступить с нею, девицей, в фиктивный брак, скрепив его регистрацией в загсе. Затем, прописавшись на площади фиктивного мужа, вышла замуж уже не фиктивно, по любви, и прописала у себя нового супруга, какого-то прохвоста, а доверчивый паренек, владелец комнаты, остался, как говорится, на бобах. Из этого, в общем ничтожного, но столь болезненного для действующих лиц столкновения людских интересов неожиданно потекли всевозможные моральные проблемы, сюжеты, сплетения судеб. Стало ясно, что парень не остановится на первом плачевном опыте, будет искать чего-то, что либо утвердило бы это первое горькое разочарование, либо опровергло бы его, вернуло бы ему прежнюю безграничную веру в человека.

Но исходя из характера парня, я решила, что он непременно обожжется еще раз, и гораздо больнее, чем в приключении с фиктивным браком. И привели на ночной вокзал странную

женщину, говорящую стихами и очаровывающую моего бедного парня своей необычностью и мнимой таинственностью. Затем начался непременный при написании пьесы процесс: герои освоились в произведении и стали хозяйничать в нем — заговорили что-то свое, мною не предусмотренное, даже не всегда сразу понятное, когда приходится додумывать, уяснять неведомо каким образом сложившиеся ситуации, сплошь посвящая этому занятию свои бессонные ночи. Кто воспитал в герое такую чистую, такую чрезмерно доверчивую душу? Это могла сделать только очень любящая мать. Появляется мать, и сцена их прощания, и ее советы, и розовое утро, строящее башни из розовых облаков, и мысли Заботкина, и простенькая Оля, так беззаветно его любящая.

В Московском театре имени Маяковского светлой памяти Николай Павлович Охлопков очень тонко, по-режиссерски прочел это мое сочинение и дал крупную, запоминающуюся фигуру матери и картину прощания ее с сыном, а переписку матери с Заботкиным и Олей дал на кругу, огороженном мачтами высоковольтной передачи и как бы воспроизводящем нашу планету. Из этой пьесы я затем сделала простенький сценарий «Саша», вышедший в «Ленфильме», — последняя моя работа в кино. Последняя ли? Что-то говорит мне, что я еще вернусь в этот странный и манящий мир кино, и вернусь не только потому, что писателей туда призывают, но прежде всего потому, что хочу вернуться.

Просто бывают у всякого литератора периоды, когда сюжет не висит на кончике пера и фантазия ищет, ищет чего-то и не может найти. Но это всегда ненадолго, в какой-то миг фантазия загорается снова, память извлекает из потемок какие-то лица, голоса, впечатления, забытые происшествия, и опять ты в форме, и опять рука тянется к перу. И чем больше зреет душа, жизненный опыт, тем больше хочется писать обобщенно, выпукло, чтобы мать была не просто матерью, но как бы собирательным образом матерей, и круг на сцене, управляемый невидимым механизмом, был не просто кругом, но планетой Земля с ее мачтами высоковольтной передачи и перекличкой человеческих голосов. Григорий Михайлович Козинцев говорил мне как-то, что его волнует проблема показа связи человека с космосом, я полагаю, что это то самое, о чем я сейчас написала. И причина этих волнений и поисков совершенно ясна: попав в космос, как можем мы не ощущать его близость, как можем о нем не думать, не чувствовать органической связи с ним?

50. Рассказ «Трое мальчишек у ворот»

Этот рассказ просто не мог не написаться, потому что все нужное для него несколько лет подряд было под рукой. Мы жили тогда на углу Марсова поля и Мойки, из моего окна были видны Марсово и шпиль Михайловского замка, я видела из своей комнаты, как проезжали по Марсову полю милицейские мотоциклы и большие машины, покрытые блестящим черным лаком и похожие на огромных черных жуков.

И праздничная иллюминация была видна из этого окна, и золотые, малиновые и зеленые вспышки праздничных салютов за нашим Кировским мостом, и памятник Жертвам Революции, и даже вечный огонь у входа в маленькое кладбище этого памятника, и сделанные по старинному образцу красивые фонари, электрический свет которых так не подходил к их благородной форме.

И ворота, фигурирующие в рассказе, были воротами нашего дома, и всегда возле них маячили мальчики, по возрасту они были, впрочем, скорее парнями — во всяком случае, они, несомненно, читали книги для старшего возраста, а не для младшего, только стояли они необязательно по трое, их было иногда больше, иногда меньше, но при воротах они присутствовали обязательно, в будни, и праздники, и в любую погоду.

Из этого окна, высунувшись, я видела однажды, как в черной машине подъехал к памятнику какой-то старик в светлом плаще и зажег что-то от нашего вечного огня и с этим чем-то уехал по направлению к Петропавловской крепости, а в «Ленинградской правде» было в тот день сообщение, что город наш посетили польские гости, и я сделала законный вывод, что человек в светлом плаще был поляк.

Мне понравилось, что, заимствуясь нашим вечным огнем, он стал на одно колено и что он носил свой простенький плащ как мантию, и на все это вместе со мной смотрели мальчишки, стоящие у ворот неколебимо, как часовые.

И вот в какие-нибудь полчаса или час сложился рассказик, и один бог, как говорится, ведает, сколько таких рассказиков рассыпано вокруг нас на каждом шагу, только нужно научиться видеть их и поднимать прилежно. Ведь для этого рассказика пришлось только придумать каждому из трех мальчишек что-нибудь свое, а для профессионала это не представляет трудности.

Я придумала для одного мальчишки, будто он бросил курить, остальным двум по незатейливому хобби, и этого оказалось вполне достаточно, рассказ пошел жить. Я сама видела и слышала, как какая-то седая дама, видимо учительница или воспитательница, сидя у нас на Марсовом поле на скамье, вслух читала этот мой рассказ детишкам среднего возраста. И парни у ворот его прочли, имею на это неоспоримое доказательство. Однажды, когда я проходила мимо них к своему подъезду, чей-то мальчишеский голос, одновременно и грубоватый, и как бы ласкающий, отчетливо произнес мне вслед: «Трое у ворот».

51. «Сестры»

Тут опять, как в «Кружилихе» и в пьесе «Сколько лет сколько зим», началось с декорации.

На этот раз это был Коктебель, мой обожаемый Коктебель с его горами, из которых каждая имеет свою собственную оригинальную красоту, с синим морем и синим небом, сложенными вместе, как две половинки чечевичного плода, с его бронзовыми обитателями, среди которых сразу отличаешь курортника от местного жителя, потому что местный несравненно более бронзов, чем курортник, хотя последний только и делает, что лежит на пляже и мажет себя маслом для загара везде, где только возможно, даже между пальцами ног.

Это там, на зеленом склоне, среди гор, рассказала мне местная жительница, почтовый работник, как трудно живется среди этой красоты местным людям, особенно молодежи.

Все кончают среднюю школу и жаждут работать, а работать где? Есть школа, несколько санаториев, писательский Дом творчества, аптека, почта… Везде все укомплектовано, и люди держатся за свои места… Доступ свободен лишь в колхоз, это пожалуйста. Но юношам и девушкам, хлебнувшим образования, хочется идти дальше.

К работе на земле привыкли с детства, поэтому труд в колхозе уже не светит для этих, отведавших меда, такой лучезарной звездой, как для предыдущих поколений.

— Когда, — говорила старая почтальонша, — начнутся и у нас большие стройки, только тогда решится эта проблема, только тогда заживут наши раны. А сейчас просто больно смотреть на бедных ребят, когда они, например, услышат, как какие-нибудь горожане-туристы или дачники заговорят между собой на иностранном языке. Они смотрят, как будто думают: разве я не мог бы (или не могла) этому научиться, и что им скажешь? Ясно, могли бы.

От этого немудрящего, как будто даже не впервые услышанного рассказа и пошел расти рассказ «Сестры». Сперва я ввела младшую — Галю, как представительницу самого юного поколения, перед которым так остро встали вдруг проблемы работы и образования — в сущности, главные проблемы человеческой жизни. Потом, вследствие того что скучно было писать вторую такую героиню, придумалась старшая, с виду такая благополучная сестра, окончившая Московский университет, овладевшая профессией, которую любит и которую ни на что не променяет, как сразу и очень остро ощущает умненькая Галя.

А потом в рассказ вошли другие женщины — диковатая, насквозь земная Мачеха и старая учительница, учившая обеих сестер, и все они явились сестрами, эти русские женщины и девушки, и на фоне этого всеобщего сестринства уже не кажется психологически недостоверным, я думаю, ни взаимная любовь, которой после многих лет жизни врозь вдруг проникаются Галя и Актриса, ни то, что безмужняя и бездетная Актриса принимает решение взять Галю к себе в Москву из этого благословенного южного местечка, куда люди стремятся хоть на несколько дней.

52. «Конспект романа»

Стареет все на свете. И кажется порой, что в том числе неудержимо, темпами удручающими, стареет форма романа. На эту тему пишутся статьи и собираются симпозиумы, в которых участвуют самые-самые мастера мировой литературы. Все озабочены, все ищут — от США до Японии.

В том числе однажды захотелось поискать и мне. «Не знаю: завистью ль меня лукавый мучил, иль, может быть, мне рыбный стол наскучил», но только захотелось написать роман в форме совсем еще не бывшей, выкинуть коленце, или, как еще лучше выразился Саша Черный, вытанцевать штуку.

Губернатор едет к тете…
Пристяжные на отлете
Вытанцовывают штуки.

«Литературная Россия» просила меня написать для нее что-нибудь небольшое, по ее территориальным возможностям. Я подумала: «Напишу-ка ей роман в форме конспекта».

Нужен был прежде всего сюжет. Я бросилась к уличному фольклору.

На примете уже были две ленинградские уличные истории. Их рассказывали друг дружке старухи-пенсионерки на бульварных скамейках и в очередях в поликлинике.

Одна история к тому времени была, увы, использована моими товарищами писателями. Это премилая история о том, как на улице Пестеля (был известен номер дома и номер квартиры) жильцы коллективно вырастили крокодила. Они впустили его в ванну совсем крохотным и сообща кормили, и вырос совсем настоящий большой крокодил.

На мою долю осталась другая жемчужина ленинградского фольклора — о старушке-пенсионерке и старичке-генерале.

Не забудьте, что это рассказывают именно старушки-пенсионерки, вышедшие погулять в сумерки с собачкой или с палочкой. Не забудьте и воздайте хвалу живительному оптимизму уличного фольклора.

Дескать, была одна такая в Ленинграде старушка-пенсионерка. До того бедная, что даже собачки у нее не было, только подаренная кем-то палочка, без которой старушка совсем бы не могла ступить ни шагу. Выходила она с этой палочкой вечером на бульвар и садилась на лавочку подышать воздухом. И

вот заметила, что стал к ней подсаживаться какой-то старичок. Так же бедно одет, как и она, если не хуже. Папироски делает себе сам — насыпает из спичечной коробочки табачку в кусочек газеты и скручивает. И даже иногда у прохожего просит закурить — спичек, видать, нету.

Ясно — пенсионер.

— Да, пенсионер, — отвечал он, когда она спросила прямо.

И они поговорили о счастливом двадцатом числе, когда приносят пенсию. А потом почему-то разговорились о домашнем хозяйстве: как наилучшим образом варить кофе и кто какие любит пирожки. Она любила подовые (печеные), а он — жареные. Она — побледнее, а он — поджаристые.

Так поговорили несколько раз.

И вдруг он — хлоп! — делает ей предложение. И вдруг он — хлоп! оказывается не простым пенсионером, а союзного значения. Какой-то, в общем, генерал с большими заслугами.

Она ни о чем таком даже заподозрить не могла, когда свалились на нее это генеральство и союзное значение. И, конечно, дала свое согласие.

И пошли они с бульвара под ручку.

Я ввела эту историю в мой «Конспект романа», далее использовала в пьесе, которую недавно закончила. И тут и там я рядом с этой историей о стариках написала ряд историй о молодых.

И еще сделала поправку: и в «Конспекте романа», и в пьесе удалила слишком сказочного и паточного генерала. Просто себе женятся одинокие старики, и все. Это я постаралась оказать малюсенькую редакторскую помощь старушкам, которые сочиняют такие прекрасные повести и потом рассказывают их друг другу на бульварных скамейках.

53. Общение с читателями

Я вошла в литературу и стала членом Союза писателей СССР в 1946 году, то есть в возрасте 41 года, когда уже многое в литературе стало мне понятно на личном опыте и я уже не могла безоговорочно верить суждениям литературной критики тех лет как в отношении моих книг, так и в отношении книг других авторов. У меня стали вырабатываться собственные мнения о книгах, и, конечно, я все больше дорожила мнением читателей и встречами с людьми, прочитавшими мои книги. Помню первую свою встречу с ними в Ленинграде. Группа писателей, в том числе я, была направлена Союзом на встречу с читателями какой-то библиотеки. Не помню, какой именно, помню лишь, что встреча происходила в Аничковом дворце, в красивой комнате и что, называя пришедших писателей, библиотекарша назвала меня лауреатом, а я им еще отнюдь не была, дело происходило зимой 1946/47 года, а лауреатом я стала лишь летом 1947 года. Позже я догадалась, что библиотекарша приписала мне лауреатство, прочитав о моих «Спутниках» очень одобрительную статью в «Правде». Она, так сказать, опередила события, не более, но присутствовавший на собрании Юрий Павлович Герман при ее словах взглянул на меня, и при тогдашней моей мнительности мне подумалось — а вдруг он и другие припишут ошибку библиотекарши моей беспардонной наглости и бахвальству, и помню, я всем лицом почувствовала, как я покраснела от мучительного стыда.

Так неудачно началась моя первая встреча с живыми, подлинными читателями. После этого таких встреч было много: и в библиотеках, городских и военных, и во дворцах культуры, и в Политехническом в Москве, и на крейсере на Таллинском рейде, и в громадной аудитории одного из цехов завода в Ленинграде во время обеденного перерыва, где, как сейчас помню, при виде людей, слушавших меня с галереи, впервые мелькнул у меня в голове облик бездельника Геннадия Куприянова, не знающего, что такое труд и отдых, что такое самолично заработанный кусок хлеба, что такое литература, не знающего вообще ничего, чем живет нормальный человек. Не знаю с чего, но это он в воображении моем тогда прошел за спинами мужчин, женщин, подростков, разговаривавших со мной с галереи над отдохновенной пустотой громадного цеха. Мне за этого Геннадия в свое время здорово досталось от критики, но я от него не отреклась и не отрекусь, слишком явственно видела тогда я его грязные нестриженые волосы, и разболтанную походку, и

наглость, и нежелание считаться ни с кем и ни с чем, и несоразмерные претензии на мирские блага.

Но вернусь к моим читателям. Очень скоро кроме встреч я стала общаться с ними письменно. Первое полученное мною по почте читательское письмо было из Харькова от группы женщин. Их было человек двадцать, они все расписались под письмом. Среди них были работницы, служащие и домохозяйки. Они организовали кружок вышивания, рукодельничали прилежно и изобретательно, устраивали даже выставки, но им не хватало материала для работы, а именно: известных всем вышивальщицам ниток мулине. И вот, писали они, какие от этого у них в кружке происходили аварии: одна из них хотела вышить кисть сирени, но у них в магазине только один грубый лиловый цвет, а для кисти сирени требуется много оттенков, чтобы вышло хоть сколько-нибудь похоже. Еще несколько милых примеров приводили женщины, прося меня помочь им в их нужде, так как в Ленинграде, писали они, мулине, по слухам, достать нетрудно. Это была правда истинная, и я с большой охотой исполнила их симпатичную просьбу, представляя себе, какая это должна быть изящная и в то же время эпическая, почти гомеровская картина, когда двадцать женщин сидят и вышивают разноцветными нитками сирень, розы и всякие другие цветы, творчески углубясь в свое занятие и отвлекшись им от кухонной нескончаемой страды. Я повидала вышивальщиц, живя на. Украине, и знала, что вышиванье — не пустое препровождение времени, что оно украшает жизнь, как всякое другое художество, и развивает в человеке любовь к искусству, фантазию, прилежание. Мне приятно думать, что где-то в огромной прекрасной Украине, может быть городе Харькове, где я побывала в жизни всего один вечер, существует кисть сирени, вышитая в какой-то мере и благодаря моему крохотному, совсем незаметному усилию.

Не знаю почему, но многие читатели считают, что если человек написал несколько книжек, то он знает уже все на свете и во всяком деле может дать совет. Меня же многие читатели после «Спутников» посчитали врачом, чуть ли не хирургом, и нередко обращались ко мне с серьезными медицинскими вопросами. Одна женщина, ухаживающая за больной матерью, спросила меня в письме, какое снотворное я считаю наиболее безвредным для ее матери; старик паралитик запросил насчет диеты; неизвестные мне родители справлялись, в какую клинику следует поместить их больного ребенка. И всякий раз мне ужасно неловко было отвечать «не знаю», и порой я начинаю думать, что мы, литераторы, претендующие на то, чтобы приносить людям

пользу, обязаны не то что все знать — это, увы, невозможно, — ко, во всяком случае, существовать в окружении всевозможных справочников, в том числе медицинских и правовых, ибо громадное большинство писем заключает в себе вопрос: как обуздать пьяницу и хулигана мужа и разводиться с мужем или нет? Как понятно каждому, особенно всякий раз угнетает меня последний вопрос, ибо тут не помогут никакие справочники, надо быть всевидцем, пророком, а этого не бывает с нами, не могло бы быть с самим Львом Толстым, а что уж говорить о нас, малых сих.

Был один телефонный звонок, я сняла трубку и услышала женский голос:

— Вы писательница Панова?

— Да.

— Мне необходимо повидаться с вами, как можно скорей.

Зная, что некоторые читатели считают нас, литераторов, за совершенных бездельников (подумаешь, действительно, работа — сочинять), я спросила:

— А что значит «как можно скорей»?

— Если можно, сейчас.

— А кто это говорит?

— Ваша читательница, учительница.

— Сейчас, товарищ, я не могу, — сказала я. — А не можете ли вы рассказать ваше дело по телефону?

— Нет, по телефону это нельзя, вы не поймете, да и у меня язык не повернется. Я должна рассказать вам лично, лицом к лицу, даже на ухо, как женщина женщине.

— Это будет не насчет развода? — спросила я.

— Нет, нет.

— И не о том, что муж пьет?

— Нет, нет.

— И не о том, как воспитывать детей?

— Нет, и вы ни за что не догадаетесь, сколько бы ни перебирали. Только тогда поймете, когда я вам расскажу.

— Хорошо, — сказала я. — Тогда давайте встретимся завтра в Союзе писателей, вас устраивает? Скажем, в два часа вам удобно?

— Удобно, спасибо. Так я приду.

Писатель — человек прежде всего любопытный. На другой день с часу дня я сидела в Союзе писателей и не отрываясь глядела на дверь. Я думала: какая она? По телефону голос у нее тихий, мягкий, безответный. И почему-то мне представлялось, что войдет этакая жертва легкомысленного романа, растоптанная жестоким разочарованием, повидавшая виды, крикливо одетая, вызывающе, будто назло всему и всем, причесанная — словом,

этакое помятое растерянное дитя неудачно сложившейся жизни.

Ничего подобного. Вошла обыкновенная, абсолютно обыкновенная женщина. Даже серенькая: серенькое платье, невыразительное лицо, чуть седеющие волосы, тишина в чертах и в движениях. Конечно, учительница. И конечно, обделенная женской судьбой и примирившаяся с этим.

Для чего-то она еще раз сказала:

— Так я могу говорить с вами, как женщина с женщиной?

— Безусловно, — сказала я.

И как женщина женщине, на ухо, запинаясь и мучаясь, она рассказала, зачем ей нужно было со мной повидаться и почему ей кажется, что, кроме меня, ей никто не может помочь.

Я передаю ее рассказ в третьем лице, ибо это, конечно, не разговор у казенного письменного стола, забросанного бумагами, а новелла, сочиненная самой жизнью.

Она — ленинградка. Родилась в Ленинграде, выросла в нем, знает наизусть его переулки, мосты, магазины. Но так странно, что в крошечный магазин под вывеской «Пуговицы» в конце Садовой линии Гостиного двора она в тот вечер вошла в первый раз в жизни. Вдруг обнаружила, что надо купить каких-то ерундовых пуговиц для наволочек, вспомнила эту вывеску и пошла. Да, я угадала, ее женская судьба сложилась бесцветно — верней, не сложилась вовсе. Не было ни брака, ни романа, хотя бы неудачного. Ничего не было, и она, думая о себе, называла себя старой девой. Не было ничего, кроме ошибок, одна другой плачевней. Ошибалась, когда у нее зарождалась иллюзия, будто кто-то к ней относится с большей приязнью, чем к другим знакомым женщинам. Ошибалась, когда воображала, что сама к кому-то потянулась сердцем. И даже поводы к ошибкам становились все реже и реже, и жизнь стала казаться бременем, возложенным неведомо за какие вины. В магазин «Пуговицы» она пришла под вечер. Вдоль Садовой уже горели фонари. Было туманно и скользко от жидкой грязи на асфальте. И ровно ничего не ждала она, стоя у прилавка, где под стеклом были разложены пуговицы всяких сортов и размеров. Ровно ничего не ждала в тот миг, когда за ее локоть взялась чья-то рука. Она оглянулась, увидела шершавое пальто, кепку, часть бритой щеки — больше ничего. Разговора она не запомнила. Кажется, он спросил, где она работает. Кажется, сказал, что он тоже учитель. Кажется, попросил разрешения ее проводить. Она не помнила, почему согласилась. Кажется, его твердая рука и запах ворсистого пальто внушали ей доверие «ведь это иногда бывает, правда, товарищ Панова?». И они пошли к ней. Ей стало страшно неловко, когда они вошли в ее комнату. И не потому неловко, что неважно было

убрано и наволочки без пуговиц, а — смешно — потому, что на окне не было ни одного цветущего растения, только колючий алоэ да какая-то неказистая пыльная бегония. Это до того выпирало на первый план, что даже как-то не думалось о том, что сейчас произойдет. Просто было совестно, что не завела себе хоть одну веселую гераньку. А когда произошло то, что должно было произойти, обнаружилась катастрофа. Он сказал, что это война его изувечила, и это была правда, но, к стыду ее и вечному проклятию, ей подумалось, что зачем же он ей в таком случае, что это был бы за союз, с какой стати она, никогда не державшая оружия в руках, должна отвечать за ужасы войны. И она сказала ему все это, будь проклят ее язык. Она сказала ему это, и он тотчас ушел, не сказав ни слова. Наклонясь над пролетом лестницы, она смотрела, как опускается вниз, в небытие, его полосатая кепка, и тут только ей в голову пришло все то, что могло бы случиться в ее жизни, если бы эта кепка не исчезла так сразу.

Что она наделала! Она бы купила герань алую или розовую и поставила бы на подоконник, и любовались бы вместе, каким нарядным стало окно. Она заболела бы гриппом, и он из своих рук давал бы ей лекарство и читал ей вслух. Он уходил бы, а она его ждала и вслушивалась, когда же раздастся звонок. Он ее нашел, искал ее долгие годы после войны и наконец нашел в невидном магазинчике под вывеской «Пуговицы». Нашел и угадал среди женщин, толпившихся у прилавка, и так твердо взял за локоть, поверив, что это она. А она прогнала его — из-за чего: того, что так неважно по сравнению с той жизнью, полной взаимного сочувствия и доверия, какая у них могла быть и непременно была бы.

И она должна его вернуть. Она не может умереть мирно, пока не вернет и не скажет ему, что поступила ужасно безобразно и по какому-то непостижимому импульсу, ведь никогда в ней не бушевали страсти, ее считали такой рассудительной и уважали за спокойный нрав. И почему она приняла такое вздорное, необдуманное решение, она сама не может ответить. Что с ней будет теперь? Те же наволочки без пуговиц, тот же безобразный алоэ, растопыривший свои колючки рядом с бесцветной бегонией, и ни твердой руки, и ни одного существа, о котором было бы отрадно заботиться. Конечно, еще можно завести кошку и дрожать над нею весь остаток жизни. Она должна его вернуть! Но как найти? Найти ту полосатую кепку среди миллионов кепок на улицах и в магазинах. Пойти опять как-нибудь вечером в магазин «Пуговицы»? Она ходила уже несколько раз. Он не появился. Даже полосатой кепки ни одной она не встретила в магазине. Ей

советовали обратиться в гороно. Там ей не могут помочь, потому что она забыла номер его школы. Она ходила к редактору «Ленинградской правды». Он не мог напечатать ее объявление. И как написала бы она свое объявление? Тогда она подумала обо мне: я, как женщина, пойму ее, а поняв, напишу рассказ, а он прочтет этот рассказ и будет ее искать, ведь он знает, где она живет.

Увы, я не нашла в себе мужества написать этот рассказ, так сказать, по горячим следам. И только сейчас его написала, через много лет. Я знаю, что они не нашли друг друга, иначе она бы мне написала или позвонила, так мы условились. В туманный слякотный вечер, в желтом свете фонарей, на длинной Садовой сошлись и разминулись два несчастливых человека, слишком поздно понявших, в чем их счастье…

А может быть, это и к лучшему? Может быть, он со временем разглядел бы, что нашел не ту, и жестоко разбил бы этим открытием ее и без того наболевшее сердце. Может быть, и она бы разглядела, что не так уж тверда и надежна рука, взявшая ее когда-то за локоть. Да, вполне, вполне возможно, что судьба избрала верный исход. Ведь это же правда истинная, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Этих писем особенно много получила я за годы моей литературной работы. Не только пишут, но и по телефону звонят, и после библиотечных встреч ждут в коридоре, чтобы спросить: «Скажите, а как, вы считаете, надо воспитывать детей?» И опять — не знаю, хотя и вырастила троих.

Я воспитывала их, исходя из обстоятельств и требований каждого дня, не составляя никаких планов, не загадывая, что из этого получится. Заболевал — шла за врачом и в аптеку. Отказывался мыть лицо — левой рукой наклоняла над тазом, а правой обмывала измазанную рожицу. Через какое-то время каприз проходил, мальчуган начинал с восторгом умываться сам. Надо было кому-нибудь сходить в лавку — посылала детей. Заметила, что стали баловаться куреньем, не читала наставлений, полагая, что сами отстанут, пресытясь, потому что ведь — гадость, вроде рыбьего жира или касторки. И точно — отставали. Считала полезным ознакомить их с какой-нибудь книгой не ждала, пока доберутся до нее сами, читала им вслух. Пела песни. Старалась, чтобы пища их была полезной.

Больше ничего не знаю. Думаю, что каждый должен, обязан сам искать способы, как воспитывать своих собственных детей. Знаю, что нельзя бить, нельзя ни к чему принуждать ребенка ни кнутом, ни пряником, и знаю, что, выказывая ему любовь,

сделаем его лучше, чем выказывая жестокосердие и непонимание.

А папы и мамы все пишут:

«Расскажите же, как мне воспитывать моего Вову (или Юру, или Мишу)».

Я понимаю тревоги этих пап и мам. И очень жалею, что не могу им помочь подробными советами.

Вообще все, что пишет нам читатель — в похвалу или хулу, дельно или не дельно, — его святое право. Для него существуем, для него пишем. И за все время моего общения с читателями я рассердилась только на одно-единственное письмо, вернее, на его автора. Автором была девушка из Перми, служившая в какой-то профсоюзной организации. Она имела какое-то отношение к сбору членских взносов. И вышло с ней вот какое дело: собирала-собирала она эти взносы и растратила их.

Нет, я не за это сержусь. Такое — и даже куда хуже — в жизни бывает. Я бы не рассердилась и в том случае, если бы она попросила у меня денег, чтобы покрыть эту растрату, но она попросила денег совсем на другое. Она даже просила меня не заботиться о ней в этом отношении, так как, по ее словам, ее друзья давно уже уплатили ее долг.

Но вся эта история, написала она, стоила ей столько нервов, что она теперь нуждается в лечении на самом лучшем курорте. И вот на этот курорт она и просила у меня денег. Я, может быть, и за это на нее не так рассердилась бы, хоть это и показалось мне с самого начала безнадежной тупостью и нахальством. Но меня добил конец ее письма.

«Я не виновата в растрате, — писала она. — Виноваты мои родители, которые приучили меня к такой хорошей жизни, что я уже не могла жить без роскоши».

Я не хочу входить в рассмотрение того, какую роскошь могло позволить себе это беспутное существо на профсоюзные взносы трудовых людей, меня возмутил этот бесчеловечный упрек, адресованный родителям, эта готовность свалить свои антиобщественные поступки на кого угодно, вплоть до родной матери. Если это — результат слишком большой любви родителей к своему ребенку, я даже готова взять назад свой совет насчет этой самой любви к ребенку и полностью предоставить дело собственному усмотрению пап и мам в зависимости от характеров и свойств их чад.

За три первые мои большие книги — «Спутники», «Кружилиху» и «Ясный берег» — мне была присуждена Сталинская премия, и все три раза это происходило очень скучно, я узнавала о награде по радио — либо своими ушами слышала,

либо сообщали друзья, как было с «Кружилихой». И всякий раз воображение подсказывало мне какие-то мало выразительные обсуждения: какие-то столы для заседаний, крытые красным либо зеленым сукном, листы каких-то протоколов с лиловыми буквами да серый свет от занавешенных окон, и скучными казались эти картины. Ведь среди точно таких предметов секретариат ленинградского отделения Союза писателей, членом которого я была с 1947 года, присуждает тому или другому литератору творческую командировку в какой-нибудь город, не всегда отмеченный на карте большим кружком. В общем, обыденно, без ликования, без живительных мыслей происходили эти награждения.

Но вот был май 1954 года, был майский день, сияли нежным золотом все ленинградские шпили, и я ехала куда-то в такси вдоль светло струящейся Мойки — от Марсова поля к Дворцовой площади, а рядом со мной сидел очень молодой, очень белозубый и очень приветливый шофер и держал на сиденье мою только что вышедшую книгу «Времена года». И, помолчав, вдруг обратился ко мне со странным вопросом:

— Вы за эту книгу получили премию?

— Нет, — сказала я, — за другие.

— Ну, это напрасно, — сказал он. — Я других ваших книг не читал, а за эту обязательно дал бы вам премию.

— Почему же? — спросила я.

— Потому что интересная, — ответил он, — это раз. А два то, что правду пишете. Не смотрите, какой он там начальник, а пишете то, что есть и что я тоже знаю. И вот по этим двум причинам я бы и дал вам премию, будь моя воля.

И верите, друзья: со всех шпилей и куполов звонко и певуче хлынуло на Ленинград солнце при этих словах, желтая краска на домах заиграла всеми цветами радуги. Голуби весело заговорили на карнизах старого казенного дома, мимо которого мы проезжали. А что начало твориться на серебряной Мойке, какие там вспыхнули фонтанчики из елочной канители и мелкой серебряной монеты — это и рассказать невозможно.

И все эти чудеса произошли оттого, что незнакомый мне человек, читатель моей трудно написанной книги, своей волей присудил мне за эту книгу премию. И премия была выдана так простодушно, искренне и весело, не на заседании, а в крошечной кабине такси, насквозь пронизанной весенними лучами, как вязальными спицами.

Я знаю, что такие случаи были в жизни почти каждого литератора. И что все мои однокашники дорожат такими читательскими отзывами не меньше, чем орденами и медалями:

суд читателя, пусть совсем мало эрудированного, пусть даже не очень-то грамотного, — это наш высший суд, наш золотой фонд, это суд хозяина нашего — народа, для которого мы работаем и рады работать до последнего вздоха.

54. Вместо послесловия

Однажды на кладбище я видела могилу А. Фадеева. Уже многих моих сверстников не было тогда, поднимались новые писатели, новая шумела жизнь. Словно для них расчистили площадку, один за другим возникали молодые поэты, прозаики, драматурги, переводчики. Помню, в первые годы моей жизни в Ленинграде был принят в Союз один-единственный молодой писатель — Сергей Петрович Антонов; после XX партсъезда мы принимали молодых в Союз чуть не ежедневно.

Постепенно я полюбила общественную работу в Союзе, охотно участвовала в заседаниях, пленумах, руководстве семинарами. Приятно было видеть, что кому-то эта моя работа приносит пользу, что мы обрастаем новыми талантливыми людьми, что цепочка преемственности тянется из поколения в поколение, что русская литература живет и будет жить.

Помню один семинар в Ленинграде, которым мне выпала честь руководить, слушателями его были такие писатели, как Ю. Казаков, Ричи Достян — вполне уже сложившиеся дарования. Как было не порадоваться их приходу, их успехам. Как отрадно было затем следить за их ростом.

Я вообще думаю, что почти все молодые литераторы, даже безотносительно к их потенциалу, приходя в литературу, непременно что-нибудь в нее приносят — новый ли материал, свежую ли форму, необычную ли интонацию, необычную ли мысль, либо просто какое-то еще непривычное действующее лицо, где-то увиденное. И все это драгоценно, а потому дорог каждый приходящий, привет ему. И потому недобро, вредно поступает тот, кто отталкивает новоявленного литератора от Союза, от издательства, от писательской среды.

А. Нинов. «О МОЕЙ ЖИЗНИ, КНИГАХ И ЧИТАТЕЛЯХ»

Впервые: Нева. 1973. № 4, 5. Под загл.: Из повести моей жизни; Дорогие мои наставницы: Из воспоминаний детства // Костер. 1973. № 4 (более полная редакция главы «Мои учительницы»); Как я писала мои книги // Нева. 1975. № 3; *Панова* В. О моей жизни, книгах и читателях. Л.: Лениздат, 1975 и Л.: Сов. писатель, 1980; Крах (с сокращением). Свидание // Огонек. 1988. № 11. В изданиях 1975 и 1980 гг. печатались с изъятиями, без двух указанных глав и с некоторыми другими, менее значительными сокращениями. В настоящем издании впервые публикуется в полной редакции, уточненной по авторской рукописи.

Для однотомного издания избранных произведений, которые готовились к публикации в конце 1950-х гг., Панова написала краткий очерк «Из автобиографии» (1960), затем он неоднократно перепечатывался с некоторыми дополнениями и поправками под названием «О себе и своей работе» (см. сб.: «Трое мальчишек…»[1] С. 3–18). Этот очерк можно рассматривать как первый набросок большой автобиографической книги, замыкающей жизнь и творчество писательницы. К последней книге Панову вели и ее исторические сюжеты, и поездки в другие страны, и внимательное изучение творчества современников, особенно старших, и пытливый интерес к произведениям молодых. С годами возрастало стремление полнее осознать и передать другим собственный литературный опыт — так в автобиографическую повесть Пановой вошли рассказы об истории создания ее книг («Спутники», «Кружилиха», «Времена года», «Сережа», «Сентиментальный роман»), размышления о работе в историческом жанре, воспоминания о встречах с миром театра и кино.

Все это служило материалом и опорой для «книги жизни», начатой в конце 60-х гг. и завершенной перед самой смертью. Автобиографические главы о детстве и работе в ростовской газете «Трудовой Дон», опубликованные впервые в составе цикла «Из запасников памяти» (Нева. 1971. № 3), вошли теперь в новую книгу как ее составная часть, заняв соответствующее им по хронологии место (см. главы 13–14 — «Мои учительницы», «Гимназия Любимовой»; гл. 20 — «Володя Филов», гл. 23–24 — «Первые заработки», «„Трудовой Дон“ и „Ленинские внучата“»).

Впервые в хронику пережитого Панова ввела историю Бориса

Борисовича Вахтина, молодого комсомольского работника и журналиста из Ленинграда, приехавшего в 1927 г. в Ростов-на-Дону, где он стал специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Тогда же Панова и познакомилась с ним. В 1928–1929 гг. в ее доме собиралась группа начинающих литераторов и деткоров Ростова, читавших друг другу стихи и прозу. В эту группу входили Г. Брегман, Б. Вахтин, С. Деревянченко, В. Дмитревский, И. Коген, И. Покатиловский, А. Старосельский. После развода с первым мужем Панова и Вахтин поженились. «До его гибели было еще почти десять лет, — вспоминала Панова, — и мы успели полюбить друг друга, пожениться, и у нас родилось двое сыновей, названных, по вахтинской семейной традиции, Борисом и Юрием, старший в 1930 году, младший в 1932-м».

В двух главах — «Крах» и «Свидание» — Панова подробно и с большой силой описала обстоятельства ареста Бориса Вахтина в Ростове в 1935 г. по обвинению в связях с «ленинградской оппозицией» и с «врагами народа». Осенью 1936 г. она получила официальное разрешение на свидание с мужем по месту его ссылки на Соловках, где он отбывал свой срок в лагере для заключенных. Душераздирающие подробности этого последнего в их жизни свидания, воссозданные через много лет, — еще одно свидетельство огромной и общей трагедии, пережитой современниками писательницы в годы культа личности Сталина. При издании воспоминаний «О моей жизни, книгах и читателях» в 1975 и 1980 гг. обе указанные главы, вопреки желанию автора и его наследников, были исключены из текста. В настоящем издании купированные главы восстановлены на своих местах.

Важным историческим и литературным свидетельством являются также военные главы воспоминаний Пановой: обстоятельства захвата фашистскими войсками города Пушкина под Ленинградом, долгий путь по оккупированной земле от Пушкина через Нарву до украинского села Шишаки, совершенный Пановой и ее дочерью Наташей лютой зимой 1941 г.; страшные подробности жизни в оккупации на Украине в 1941–1943 гг., где Панова с тремя детьми дождалась освобождения.

Рассказывая о прошлом, Панова правдиво и без умолчаний вошла в драматические обстоятельства и переломы своей судьбы. А таких переломов в жизни у нее было несколько. Слабый человек в подобных обстоятельствах мог бы надломиться, пасть духом, утратить волю и интерес к происходящему. Панова нашла в себе силы преодолеть испытания судьбы, сохранить и развить свой творческий дар.

Панова не успела увидеть созданную ею повесть «О моей

жизни, книгах и читателях» напечатанной в журнале, а затем отдельным изданием. У нее хватило сил лишь дописать эту рукопись до конца, придав ей законченный характер. Книга впервые вышла в свет ровно через два года после смерти автора. Вполне возможно, что последнее авторское решение относительно тех или иных эпизодов, подробностей, может быть, даже некоторых разделов рукописи при ее подготовке к печати могло оказаться иным, чем в посмертной редакции 1975 г., выпущенной в свет Лениздатом (тщательное наблюдение за этой редакцией осуществлял старший сын Пановой писатель Б. Б. Вахтин). Дополнения и поправки, внесенные теперь в эту редакцию, основаны на оригинале рукописи и соответствуют волеизъявлению автора. Панова написала в целом свое произведение так, как хотела, как задумывала, и ее повесть о собственной жизни в полной мере отмечена неповторимой печатью личности и таланта писательницы. Это в значительной мере итог всей прожитой жизни и литературное завещание Веры Федоровны Пановой.

notes

Примечания

1

«Трое мальчишек…» — *Панова В.* Трое мальчишек у ворот и другие рассказы и повести. Л., 1964.